АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

МАСКИ



WILHELM FINK VERLAG

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ • МАСКИ

SLAVISCHE PROPYLÄEN

TEXTE IN NEU- UND NACHDRUCKEN

Herausgegeben von Dmitrij Tschižewskij

in Zusammenarbeit mit Dietrich Gerhardt,

Ludolf Müller, Alfred Rammelmeyer

und Linda Sadnik-Aitzetmüller

Band 46 · 1969

Андрей Белый

МАСКИ

Andrej Belyj

MASKEN

Nachdruck der Ausgabe

Moskau 1932

WILHELM FINK VERLAG MÜNCHEN

VORBEMERKUNG

Andrej Belyj glaubte offenbar, in seinem Roman die Vorgeschichte der Revolution von 1917 geboten zu haben. Dabei entfernt sich seine Darstellung der revolutionären Kreise ebenso weit von der Wirklichkeit wie bei Dostoevskij in den „Dämonen" oder in anderen „antinihilistischen" Romanen derselben Zeit. Das galt auch schon von manchen Seiten von Belyjs „Petersburg", was freilich die dichterischen Qualitäten dieser Werke im ganzen nicht wesentlich beeinträchtigt.

DIE REDAKTION

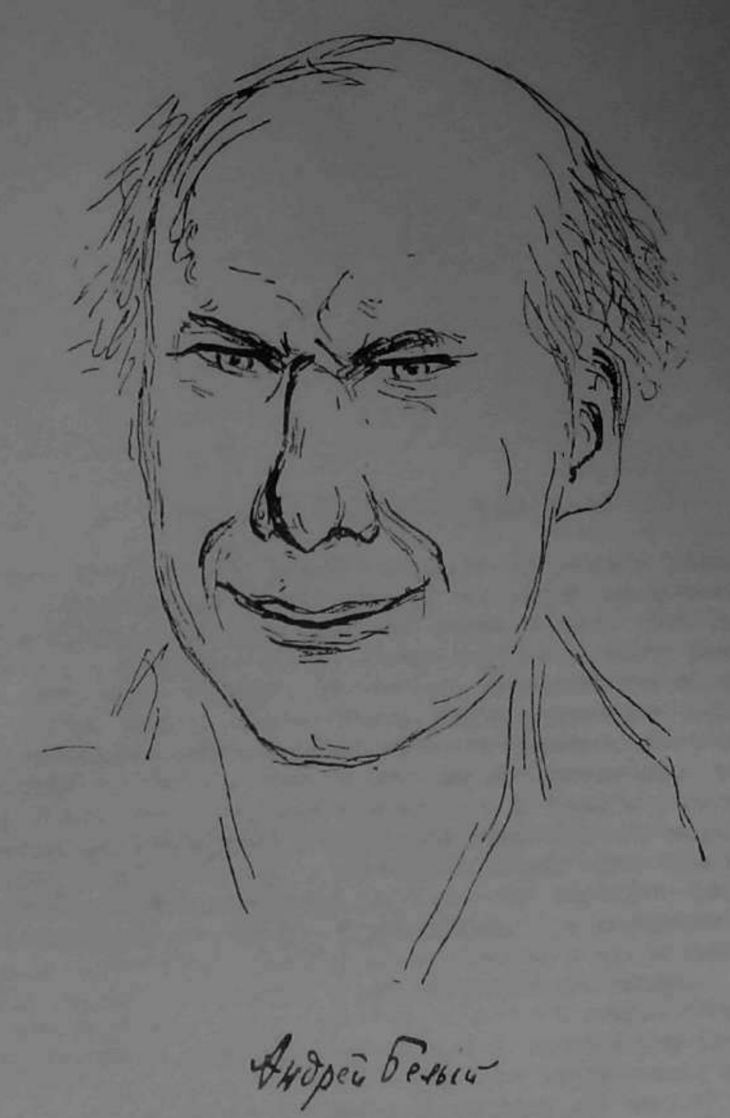
Satz und Druck: Graphischer Betrieb Eder & Poehlmann, München
Buchbindearbeiten: Verlagsbuchbinderei S. Wappes, München

Андрей Белый

МАСКИ

Рисунки Н. В. Кузьмина

ГИХЛ
МОСКВА
1932



Портрет работы
худ. В. А. Милашевского

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Роман «М а с к и» есть второй том романа «М о с к в а», обнимающего в задании автора 4 тома. Второй том рисует предреволюционное разложение русского общества (осень и зима 16-го года); третий том в намерении автора должен нарисовать эпоху революции и часть эпохи военного коммунизма; четвертый том обнимает эпоху конца нэпа и начала нового реконструктивного периода; таково намерение автора, который должен оговориться: намерение— не исполнение; тот, кто намеревается, мыслит механически, рассудочно, квантитативно; процесс написания, т. е. процесс обрастания намерения, как абстрактной конструкции, образами есть выявление тех новых качественностей, в которых квантитативное мышление, так сказать, заново вываривается; мышление образами—квалитативно; мышление в понятиях—квантитативно. Художественное произведение есть синтез обоих родов мышления: и как всякий конкретный синтез, оно является порой сюрпризом для автора.

Таким сюрпризом явился для меня второй том романа «Москва», долженствовавший включить февральскую и октябрьскую революции. Но в процессе организации текста тема разрасталась; и подход к революции автора усложнил значительно для него ту художественную платформу, с которой он хотел показать своих героев в революции; сюжет разросся; и часть второго тома неожиданно

выросла в том; действующие лица, которых истинный характер развертывается лишь в революции, остались в судьбах метаморфозы сюжета второго тома,—в подпольи; они показаны сознательно в задержи, в полумолчании; они заговорят лишь в третьем томе; такова фигура Тителева; лишь в третьем томе определится роль и других действующих лиц в революции: братьев Коробкиных, Серафимы, Лизаши; во втором томе они даны в самопротиворечии; особенно это имеет место относительно профессора Коробкина, который показан, как антитеза первого тома, т. е. как отрицающий свою прежнюю жизнь и как еще не осознавший своего места в событиях, которые властно его вырывают из той среды, в которой он жил.

В третьем и четвертом томах автор надеется показать своих героев в синтезе того диалектического процесса, который протекает в душе каждого: по-своему; второй том—антитеза: как таковой, он есть сознательно заостряемый автором вопрос: как жить в таком гнилом мире? «Быть или не быть» (бытие, небытие), сознательный гамлетизм, размышление над черепом уже сгнившей действительности, морочащей, что жива, есть планомерное заключение второго тома; он—диада без триады: поэтому-то второй том—«М а с к и»; революция уже рвет их с замаскированных; личности, в первом томе показанные в своем самостном эгоизме, уже—личности-личины. Второй том сознательно кончается фразой: «Читатель—пока: продолжение следует». Диада волит триады; антитеза восходит к синтезу.

Что касается до сюжетного содержания, то оно является психологически продолжением первого тома в постоянном повёрте внимания на события первого тома и в новом освещении их (в показе по-новому); но автор старался писать так, чтобы для читателей второго тома «М о с к в ы» роман «М а с к и» был самостоятелен; те из читателей, которые не прочли первого тома, в процессе чтения постепенно ознакомляются с его содержанием, подобно тому, как герои ибсеновских драм постепенно в диалоге вводят зрителя в событие, бывшее до начала драмы; некоторая сюжетная неясность первых глав (для не читавших первого тома) не препятствует чтению второго тома, ибо она введена как интрига, сознательно вздергивающая внимание, чтобы удовлетворить любопытство; пусть не знают о случае с профессором (первый том); остается интригующее: «Что это значит?» Недоумение проясняется; пусть интригуют псевдонимы (Домардэн, Тителевы); маски слетают с них. Напомню, что такой прием закономерен; напомню, что весь роман

Диккенса «Наш взаимный друг» построен на любопытстве, вырастающем из недоумения.

Все же в двух словах восстанавливаю здесь содержание первого тома, фабула которого весьма проста.

Рассеянный чудак-профессор наталкивается на открытие огромной важности, лежащее в той сфере математики, которая соприкасается со сферою теоретической механики; из априорных выводов вытекает абстрактное пока что предположение, что открытие применяемо к технике и, в частности, к военному делу, открывая возможность действия лучам такой разрушительной силы, перед которыми не устоит никакая сила; разумеется, об этом пронюхали военные агенты «великих» держав; действуя через авантюриста Мандро, своего рода маркиза де-Сада и Калиостро XX-го века, они окружают профессора шпионажем; Мандро плетет тонкую паутину вокруг профессора, который замечает слежку, не зная ее подлинных корней; и проникается смутным ужасом, что патриархальные устои быта, вне которого он не мыслит себя,—не защищают его, и что стены его кабинета—дают течь.

Между тем Мандро, пойманный с поличным как немецкий шпион и как развратник, изнасиловавший собственную дочь, Лизашу, вынужден скрыться; припертый к стене, он решается на крайнее средство: силою вырвать у профессора все бумаги, относящиеся к открытию, чтобы их продать куда следует (в этом залог его ненаказуемости); загримированный, он проникает в пустую квартиру профессора, в которой профессор, приехавший с дачи, почует один; последний отказывается выдать бумаги, и с абстрактным донкихотизмом пытается силой своих убеждений бороться с физической силой Мандро, которому ничего не остается, как... прибегнуть к пытке профессора, во время которой он в умоисступлении, почти в безумии, выжигает профессору глаз; но пытаемый выказывает силу воли; он сходит с ума во время пыток, но бумаг, зашитых в жилете, не выдает.

Мандро случайно пойман на месте преступления; он не бежит, как потерявший сознание; его увозят в тюремную больницу, где он и умирает-де не опознанный; профессора везут в сумасшедший дом. Вот основная линия очень простого сюжета.

У профессора есть друг, Николай Николаевич Киерко, тайный революционер, действующий в подпольи и мимикрирующий лукавого шутника, шахматиста, бездельника; Киерко видит драму профессора и понимает, что истинная почва драмы—не аферист Мандро, а весь строй; он случайно узнает об ужасной драме, пережитой дочерью

Мандро, Лизашей, после того, как Мандро использовал ее дочернюю любовь для того, чтобы ее обесчестить; в Лизаше среди хаоса болезненных, чисто декадентских переживаний есть и нечто, роднящее ее с утопиями о социалистическом городе Солнца; приняв участие в несчастии Лизаши, Киерко дружески с ней сближается и старается выпрямить в ней до марксизма ее утопические представления.

Вот все, что нужно знать читателю романа «Маски», чтобы интрига второго тома была понятна без первого; пожалуй, следует ему знать об отношении между профессором и женой, Василисой Сергеевной, фразеркой, имеющей старинный роман с гимназическим товарищем профессора, фразером, академиком Задопятовым; жена Задопятова, узнав об измене мужа, устраивает профессорше скандал, во время которого ее постигает апоплексический удар; и фразер Задопятов, движимый раскаяньем, старается искупить свою вину, ухаживая за больной женой. Профессор знает о связи жены; н—равнодушен к ней, как равнодушен он к дому, равнодушен к обманывающему его сыну; он любит лишь дочь, Наденьку: хрупкое, хилое, милое создание.

Повторяю: суть не в овладении всеми этими деталями фабулы первого тома «Москвы», а в ретроспективном взгляде на первый том из второго; для этого взгляда достаточно усвоить воспроизводимую мною здесь схему фабулы; она восстанавливаема в ходе второго тома.

Предлагая вниманию читателей второй том «Москвы» под заглавием «Маски», я должен в двух словах показать свой художественный паспорт, т. е. поставить читателей в известность относительно того, чего я добивался, как эффекта (добился, или не добился,—другой вопрос). Каждая картина имеет свой фокус: одни картины пишутся для взгляда с близкого расстояния; другие—предполагают дистанцию.

Когда добиваешься новых средств выражения, надо сказать об этом читателю, чтобы не получилась картина всей истории русской литературы, а именно: великого ученого Ломоносова, предварившего открытие закона постоянства материи, твердого азота в небесном куполе и т. д., оплевывает пошляк Сумароков, как непонятного, бессмыслицы пишущего поэта; он-де пишет для звукового грохота, а не для мысли (воображаю мину мыслителя-ученого при эдаком наскоке «пошлячка»); Пушкина, создающего в 35—36-х годах прошлого века лучшие произведения,—не читают, предпочитая

ему зализанную пошлость Бенедиктовых и Кукольников; далее: попеременно оплевывают «современники»—Лермонтова; Гоголя Толстой-американец предлагает сослать в Сибирь; и Гоголь с ревом почти бежит за границу от современных ему изъяснителей его; далее: проплевываются—Достоевский, Гончаров; замалчивается Лесков; плев продолжается весь XIX век,—вплоть до оплевания Брюсова, Блока (в 1900—1910 годах), гогота над Маяковским (1912 г.) и т. д.

Не все рождены быть популяризаторами завоеваний в сфере техники слова; напомню: всегда достается тем, кто в процессе написания романа открывает при романе еще лаборатории, в которых устраиваются опыты с растиранием красок, наложением теней и т. д.

Из этого вовсе не следует, что я себя мню открывателем путей; я, может быть, жалкий Вагнер, фанатик, праздно исчисляющий квадратуру круга; не мне знать, добился ли я новых красок; но, извините пожалуйста,—и не Булгарину XX века, при мне пребывающему, дано это знать; лишь будущее рассудит нас (меня и поплевывающих на мой «стиль», мою технику); допускаю, что я всего-навсего лишь... Тредьяковский, а не Ломоносов; но и Тредьяковские в своих лабораторных опытах нужны; самодельные приборы, весьма неуклюжие, предваряют усовершенствованные приборы будущего. Моя вина в том, что я не иду покупать себе готового прибора слов, а приготовляю свой, пусть нелепый.

Я могу показаться необычным; необычность—не оторванность; необычное сегодня может завтра войти в обиход, как не только понятное, но и как удобное для использования.

Импрессионисты были непонятны до момента, пока кто-то не подсказал: вот как их нужно смотреть; с этого момента—вдруг: непонятные стали понятны; Ломоносов Сумарокову (как и иному из сегодняшних критиков) непонятен без внятного, краткого урока о том, что звуковой жест вот в каком смысле играет роль в культуре художественного слова; теперь всякому понятен термин Шкловского «остраннение»; но применять сознательно принцип «остраннения» (в учении о «далековатости» в выборе сравнений) начал Ломоносов за более чем 150 лет до Шкловского; непонятный в XVIII веке, он ясен—в XX-ом.

Все это—вот к чему: я пишу не для чтения глазами, а для читателя, внутренне произносящего мой текст; и поэтому я сознательно насыщаю смысловую абстракцию не только красками, гамму

которых изучаю при описании любого ничтожного предмета, но и звуками до того, например, что звукозой мотив фамилии Мандро, себя повторяя в «д р», становится одной из главнейших аллитераций всего романа, т. е.: я, как Ломоносов, культивирую—риторику, звук, интонацию, жест; я автор не «пописывающий», а рассказывающий напевно, жестикуляционно; я сознательно навязываю голос свой всеми средствами: звуком слов и расстановкой частей фразы.

Периодическая речь—речь для произнесения; она распадается на своего рода строчки, прерываемые паузами, после которых—голосовой подчерк; произнося, я могу и подчеркнуть союз «и», и слизнуть его; я могу скороговоркой оттенить побочность данной части фразы, как обертона, ассоциации; и могу выделить два слова, если в них—смысловой удар; не одно и то же: «х о р р о̀ ш а я... погода»; и—«хорошая п о г о̀ д а».

Из чисто интонационных соображений там, где мне нужно, моя фраза разорвана так, что придаточное предложение, оторванное от главного, вылетает на середину строки.

Когда я пишу: «И—«б р е н ь-б р е н ь»—отзывались стаканы, то это значит, что звукоподражание «б р е н ь-б р е н ь»—случайная ассоциация авторского языка.

Когда ж я пишу:

«И —

— «брень-брень» —

— отзывались стаканы...» —

— это значит,

что звукоподражание как-то по-особенному задевает того, кто мыслит его; это значит,—автор произносит: «ии» (полное смысла, обращающее внимание «и»), пауза; и «брень-брень», как западающий в сознание звук.

Кто не считается со звуком моих фраз и с интонационной расстановкой, а летит с молниеносной быстротой по строке, тому весь живой рассказ автора (из уха в ухо)—досадная помеха, преткновение, которое создает непонятность; непонятность—не оттого, что непонятен автор, а оттого, что очки, т. е. специальный прибор для ношения на носу, не ведающий о назначении читатель (как читатель Ломоносова Сумароков) начинает нюхать, а не носить на носу.

Мою прозу надо носить «на носу», а не обнюхивать ее по-сумароковски; и тогда она понятна, как понятна нам песня (для жителя Марса, быть может, «п е с н я»—наидичайшая бессмыслица).

Моя проза совсем не проза; она—поэма в стихах (анапест); она напечатана прозой лишь для экономии места; мои строчки прозы слагались мной на прогулках, в лесах, а не записывались за письменным столом; «М а с к и»—очень большая эпическая поэма, написанная прозой для экономии бумаги. Я—поэт, поэмник, а не беллетрист; читайте меня осмысленно; ведь и стихи в бессмысленной скандировке—чепуха; например: «Духо̀т рица̀нья, духсо мнѐнья»; вместо: «Дух отрицанья, дух сомненья».

Любое место «прозы» я слышу в строчках; например:

Бывало—смеркается:

Тени запрыгают черными кошками;

Черною скромницей

Из-за угла

Обнажает Леоночка глаз папироски.

И т. д.

«М а с к и»—огромная по размеру эпическая поэма, написанная экономии ради прозаической расстановкой слов с выделением лишь в строчки главных пауз и главных интонационных ударений.

В-третьих: я очень много работал над жестом героев; жесты даны пантомимически, т. е. сознательно утрированы, как бывают они утрированы, когда сопровождаются музыкой; главное содержание душевной жизни героев дано не в словах, а в жесте, как и в действительности; в действительности интонация, мина, жест важнее слов; я старался, где можно, стереть литературщину с литературного изложения: в целях реализма. Наконец: право автора раскрашивать душевное содержание героев предметами их быта; оговариваюсь: цвета обой, платья, краски закатов,—все это не случайные отступления от смысловой тенденции у меня, а—музыкальные лейтмотивы, кропотливо измеренные и взвешенные. Кто не примет этого во внимание, тот в самом смысле не увидит смысла, ибо я стараюсь и смысл сделать звуковым и красочным, чтобы наоборот звук и краска стали красноречивы.

Кроме того: считаю нужным сказать два слова о сознательно введенных словечках; мне говорят: «Так не говорят». И я согласен, например, что крестьяне не говорят, как мои крестьяне; но это потому, что я сознательно насыщаю их речь, даю квинтэссенцию речи; не говорят в целом, но все элементы народного языка существуют, не выдуманы, а взяты из поговорок, побасенок.

Мое право типизировать, отбирать слова по линии максимального насыщения: «ядреный», «пересыщенный» язык мне тем более нужен в иных сценах, что «М а с к и»—драматичны по содержанию;

а драматические моменты нуждаются в темперировании их нарочито грубою солью народного языка: это—прием, мною взятый у Шекспира (Лир и шут, Гамлет и могильщики и т. д.).

В завершение скажу, что, пишучи «М а с к и», я учился: словесной орнаментике у Гоголя; ритму у Ницше; драматическим приемам—у Шекспира; жесту—у пантомимы; музыка, которую слушало внутреннее ухо,—Шуман; правде же я учился у натуры моих впечатлений от Москвы 1916 года, поразившей меня картиной развала, пляской над бездной, когда я вернулся из-за границы после 4-летнего отсутствия.

Считаю все это нужным сказать, чтобы читатель читал меня, став в слуховом фокусе; если он ему чужд, пусть закроет книгу; очки—для глаз, а не для носа; табак для носа, а не для глаз. Всякое намерение имеет свои средства.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Кучино. 2 июня 1930 года.



ГЛАВА ПЕРВАЯ

БРАТ НИКАНОР

ОСОБНЯК, БЫВШИЙ ХАППИХ-ИППАХЕНА

Козиев Третий с заборами ломится из Гартагалова к Хаппих-Иппахена особняку (куплен Элеонорой Леоновной Ти́телевой); остановимся: вот дрянцеватая стары!

И Солярник-Старчак с Неперепревым думали, что покупалось пространство двора, а не дом: для постройки.

Репейник, да куст, да лысастое место—большой буерачащий двор, обнесенный заборами от Гартагалова, Козиева, Фелефокова и Синюкишенского переулков, которые вместе с Жебривым и Дриковым—головоломка сплошных загогулин, куда скребачи-скропидомы, семьистые люди, за скарбами сели, где улицы нет никакой, и в тупик выпирает перинами толстое собство.

Задергаешь здесь,—чортов с двадцать; и пот оботрешь двадцать раз, как теленок, Макарами загнанный в Козиеву, сказать можно, спираль.

От нее—тупички, точно лапочки сороконожки. Заборчики, крыши; подпрыгивает протуварик; скарячась, пройдешь—кое-как; коли прямо пойдешь,—разлетятся берцовые кости; и будет разбитие носа о дом Неперепрева: красный фундамент на улицу вышел.

Другие дома не доперли; лишь крыши кривые крыжовниковых красноржавых цветов, в глубине тупиков поваляся, трухлеют под небом; а дом Неперепрева прет за заборик; из сизосеризовой вышины «сам» с пятипалой рукою и с блюдечком чайным, из окон своих рассуждает.

Напротив заборчик, глухой, осклабляяся ржавыми зубьями; сурики, листья сметает; подумаешь—сад.

Здесь когда-то стояла и кадка-дождейка; и, куст подрезной был; латук, лакфиоль разводили; цвела центифолия; ныне же тополь рябою листвою шумит да склоняется липа прощепом—сучыстое, мшистое и заструпелое дерево; коли кору оторвешь,—запах прели; скамеечка: «Х а п п и х-И п п а х е н, И п а т»—на ней вырезано.

Домик, —

— весь в отколуплинах, ржавооранжевый, одноэтажный, с известкой обтресканной, с выхватом, красный кирпич обнажающим, —

— нет, неказист этот дом, щегольнувший бы кремовобледным веночком фронтона, кабы не огадила птица его; с журавлем, без синиц, — невозможное дело ремонт! Неперепрев тебе отслюнявит синиц этих, синих, а Ти́телев—и не семьяк, и не скарбник: на книге без денег сидит, а какая-нибудь неприметная личность стоит под воротами, ждет, чтобы дворник, Акакий Икавшев, пошел на звонок.

Бледнокремовый, очень высокий фундамент с нестертою рожей, Ипатом примазанной; надпись подтерли бы; видно, соседи-то—зубры: Психопержицкая, домовладелица; с ней—Гнидоедов, Егор.

Вышел дом в полтора этажа: с причердачным окном; крыша, серозеленого выцвета, ржавая, как кружевная,—труха; а синь дымная гонит свое перегонное облако на эту крышу: под ропотень капелек. Так же оранжевы: дворницкая, помещенье конюшенное средь бурьянов, уже деревянных (у Хаппих-Иппахена и у Зербадиной лошади были; у этого—нет лошадей); крытый дерном ледник—при сарае для дряни с приваленной тачкой, гнильцом, с корневищем: торчит в буераке.

А далее—флигель оранжевый, сданенный Хаппих-Иппахенами Щелдачку, Родиону Ионычу, за Таганрог уезжавшему и привозившему груши да дули,—замоклый; и рябь расколуплин, как сыпь.

Дальше—встало лысастое место, откуда неслись сухоплясы пылей и откуда смотрели за город: на пригород, как перехвачен он балками, как, еле видная, искренью светит река; тут и скат буерачащий, сростени кустиков, вплоть до забора.

А наискось —

дом Непососько —

— торчит с Фелефокова.

. . . .

Если же дальше итти, будет сверт и расперстный заборик: с подпором: крылечко—с пошатом, в репьях, выходящее в дворик, где бревна, раскольчатые, крепко рублены: в угол и в лапу; плеснеет фундамент; с протрухой стена, где—протек на кофейной, оржавленной крыше; рудеет под нею земля; и—веревка: на ней—платье репсовое.

Еще дальше—еще тебе будет заборик, себя повторяющий желтым столбом (через десять жердей), с начертанием, углем прописанным: «Голубоглазова Лидия—не Листолапова, Лиза»; недавно еще доцветали подсолнухи желтые там с георгиною синею; кладка березовых и белорозовых, еще не сложенных дров, где молочного цвета коза забодалась с щенятами и где свинья походила на муху. Колодезек, но без воды, ехал набок года, принижаяся вышкою, как часовой, задремавший с ружьем и обнюханный кошкою.

Из-за заборика приподнималась порой голова, чтобы бросить: в пространство соседского домика:

— «Я те кулак-то приляпаю к морде; дугой согну спину; заставлю копать носом хрен: да еще—пришью к пятке нос; да еще—взбочь: вперевѐрт, коловертом».

И—пряталась.

И—наступало молчание.

И—голова, уж другая, в ответ подымалася:

— «Пой, пустослов,—пой; кусаются и комары: до поры!.. Сам бью больно!»

И—пряталась.

Это Егор Гнидоедов, хозяин, с жильцами соседнего дома беседовал.

. . . .

По вечерам здесь под лепет деревьев какое-то — «пл-пл-пл» — влеплено в ухо, как тление, —

— как оплевание,

как оскорбление,—

—и как

удары дубины по пыли!

И ветер,—как вырыв песков сизосивых.

Какое здесь все—деревянное, дрянное, пересерелое и перепрелое: перераздряпано и расцарапано; серые смеси навесов всех

колеров,—перепелиных и пепельных,—пялятся в пыли и валятся в плевелы, как перепоицы, —

— сизые, сивые,

вшивые, —

— валятся —

— в дизентерии и тифы!

. . . .

И—дом: цвета перца; и—дом: цвета персика; пепельны плевелы; клейкого берега красные глины; заречные песни; и встречные встрепеты ветра.

И домик Клеоклева —

— в пепельных плевелах, пепельно влепленный в пепельном воздухе!

ТИ́ТЕЛЕВ

— «Ти́телев, Ти́телев!»—у Никанора Иваныча вырвется —«Этот не то, что другие: он —вывод загнет».

Его комната—строгая очень: здесь дерево—дикого цвета; сукно—сизосерое: кресла, стола; на нем дикие, пятнами, папки; такого же дикого, сизого цвета процветы обой; задерябленный, карий ковер темносиними каймами пол закрывает; и книжные полки; и—штор-ная штопань; колпак ремингтона; с пружиною сломанной, кожаный, старый диван; под него туфли втоптаны.

Наисветлейшее, передвигающееся пятно в дикосизом своем кабинетике,—Ти́телев.

С голубоватым отливом короткая курточка-спенсер, с износами: в зелень и в желчь; брюки—дымного цвета, а галстук, носки и подтяжки с блестящими пряжками—сиверко сини; малиновый, яркий жилет.

Тюбетейка, в которую лысину прячет,—зеленая, с золотцем.

Желтая, жесткая очень его борода, как лопата; недавно ее отпустил; лицо с правильным носом, с глазами, стреляющими из прищура, когда просекаемый черной морщиною лоб передрогами дернется; юркие юморы из-за ресницы; но в криво поджатом, сухом очень редко растиснутом, скрытом усищами рте,—оскорбленная горечь.

Все то выявляло в Терентии Титовиче человека загадочного

Он, бывало, взяв трубку из желтых усов,—на окно: в буерачищи:

« — «Душемутительно это: смотрите...»

— «В глаза не глядят: износились; мещане материи щупают».

— «Как им иначе, коли подтиральная тряпка—не юбка; штанина—дранина; как зеркало, локоть».

— «И задница даже зеркальная: вся!»

Перелуплен карниз; мостовая—колдобина; в воздухе—многоэтажные брани; двор—дребездень; пригород же—гниловище; в изроинах поле; фронт—фронда.

Россия!

И жители Дрикова, или Жебривого уж не глядели друг другу в глаза.

— «Зато фортку в Европу открыли в редакции «Р у с с к и е В е д о м о с т и»: это все—для Европы-де, в пику Атилле и гуннам; зеркальная задница—против немецких манишек!»

Взглянув на Терентия Титовича, становилось понятным, что—штука, что птицу в лет бьет:

— «Приусиливать надо себя!»

Укрывает усищами сталь, а не рот; но пускает, как блошек, свои фигли-мигли; и делает вид, что—калина-малина.

При этом он скрыть не старается вовсе, что эта малина есть мигля, а вовсе не корень:

— «Эге!»

— «Ну-те!»

— «Вылечи!»

— «Тут—операция: и—тяжелейшая..»

Видно готовился он оперировать что-то, без речи над всей безмозгляиной перетирал сухие ладошки: до остервенения.

Раз с инвалидом, на дворике он рассуждал:

— «Лошадина! Поди,—десять немцев убил своим видом; а вышел глазами в оленя... Обратно Варшаву возьмешь?»

— «Из Москвы-то легко брать Аршаву; вот нам было близко, да—склизко; да—ух!..»

— «Ты, послушай,—не ухай, а пушкою бухай!»

На что инвалид (глаза—ланьи, а с пуд—кулаковина):

— «Чортову куклу, Распутина, мы—улалакаем!..»

Ти́телев:

— «В плеточки плеть расплетаете: обуха ими не сломите; обух на обух; таран на таран».

И уж песенка слышалась:

«Дилим-булит пулемет:
Корпус на Москву идет».

Все, бывало, сидит; тарарыкает громко диванной пружиною, прилокотнувшись к столу.

Что-то вымыслив, выскочит.

Чем промышляет?

Скорее откусишь язык и скорей тебе нос оторвет, как от красного перца, чем промысел этот поймешь; доживает достаток, ухлопанный в розваль,—не в дом; в кошеле—не ремонт; там накуксились кукиши; пляшет язык трепаком приговорочным; фертиком руки; словами, как пулей, садит: убивает—без промаха: экономический, шахматный, или логический это вопрос; а Карл Маркс, Вернер Зомбарт со Штаммлером, с Мерингом (четыре тома)—томищами пыжатся с полок.

И сам Фейербах, уже листанный,—там.

Подменяет дебатами книжными он материальный вопрос о домовом ремонте, о том, сколько он ассигнаций тебе отслюнявит.

КОРОБКИН

Бывало сухие ладошки свои перетрет:

— «Этот культ ощущенья под вывеской опыта,—мистика».

И бородою нестриженой—под потолок, где журавль, паутина, повешен; карман—без синиц.

Никанор же Иваныч ладонь—под пиджак.

— «А по-вашему—чч-тó есть материя?»

Весь в паутиночках: тоже—материя.

Ти́телев снимет «материю» эту.

— «Да вы не сигайте под угол: его баба-Агния не обмела».

— «Сформулируйте-с!»

Ти́телев в бороду смотрит, в лопату свою; ее цвет—фермамбуковый: желтый; ответит резоном:

— «Немыслимо определить материальную сущность в понятиях, ибо понятия—ну-те—продукты вещей».

Никанор же Иваныч оспаривает:

— «Это ж Кант говорит,—с тою разницей, чч-тò: он считает понятием, точно таким же, причинность; материя, определимая эдак,—идея».

Но Ти́телев спину подставил: блестит тюбетейка зеленая: золотцем; вдруг—впереверт: пальцы бросив за вырез жилета, схватясь за него, ими бьется:

— «Материя? Это ж—понятие базиса экономического: с диалектикой спутали идеализм, сударь мой».

Указательным пальцем, как пулею, тычет:

— «У вас—диалектика: где?»

— «Диалектика,—пляска превратностей смысла».

И—в бороду:

— «Пфф!»

Но и Ти́телев—в бороду: с «пфф».

— «Снова в Канта-с заехали: бросьте,—стоялая мысль; поп Берклей вас прямее».

Как мяч, языком отбивает слова: и смешно, и уютно, и—за душу дергает; фертиком руки:

— «Ишь—вскипчивый; ну и скакало же, и—хорохóр же: устроил мне вскоку... Опять, сударь мой, перегусты»—табачную пюхает синь—«тут развесили».

Вдруг:

— «Сядем в шахматы?»

Или: рукою взмахнет—щелкануть; но—растиснутся пальцы; затиснется рот:

— «Да,—дела...»

А какие?

Стоит «Ундервуд»; раздается звонок; появляется в шарфе небесного цвета расклоченный дядя с огромной калошей, таращась очком,—Каракаллов, Корнилий Корнеевич: кооператор.

Являлись: какой-то Зеронский, иль —

— Брюков, Борис, —

— иль

— Трекашкина-Щевлих,

— Мардарий Муфлончик,

— Бецович,—

— иль —

—доктор Пецос: со статьей Химияклича.

И перекуры растили.

Статистики, люди легальные, к интеллигенту и домовладельцу ходили; такие, провея укладом, становятся желчными от перссида и заболевания нерва глазного; держа Уховухова в дворниках, куксятся над сочинением Штирнера; это от желчи.

Сюда ж—каждодневный заход Никанора Коробкина, брата профессора, севшего в дом сумасшедших; ужаснейший случай (в газетах писали о нем): покушение на ограбленье, бессмысленно-дикое, дико-жестокое, с выжигом глаза; грабитель же был полоумный.

Так—братец: все юркает, спорит, юлит, рассуждает о брате; занятен весьма: пиджачок—коротенек: с протерами,—серенький, реденький, рябенький; штаники в пятнах, в морщинах, с коленной заплатой: сам штопал; серявый, дырявый носок на ноге: лучше даже заметить,—над каменным ботиком, а не штиблетом-гигантом, в котором нога замурована прочно; пролысый, с клокастым ершом; и проседый; ерошит бородку: ерш, ежик—колючий, очкастый и вскидчивый.

Вскочит, встав взаверть, ногами восьмерку легчайшую вывинтит, выпятив левую сторону груди и правой рукою заехавши за-спину: с видом протеста:

— По-моему брата, Ивана,—так чч-то́—из лечебницы брать: но—домой ли? Домой, обстановка такая, что... Яд для больного».

И ногу поставит на стул сапогом:

— «Впрочем—непритязателен брат: брат Иван! Мы, Коробкины, так сказать, без предрассудков...»

Брыкнувши ногою (со стула)—пойдет писать: диагоналями: все-де полны предрассудками,—только не мы, не Коробкины: не брат, Иван.

Никанор был во многом, как брат, брат Иван; только: вместо ершей тормошащихся—пролысь с хохлом: верно годы да горе лысят человека.

Он был леворуким; и был левобоким; все левое вылезло: клетка грудная, плечо; и—вломилось все правое; шея не вшлепнута, как у Ивана, у брата; на ширококостом лице из-под лбины, как пуговка,—носик.

А впрочем—как брат: брат, Иван.

Те же фыки и брыки, но—едче и метче: стремительней; ежели брат—

— брат, Иван,—

— сиганет, все—грохочет: как гиппопотам; Никанор, хоть сигает, а—не зацепляется, напоминая морского конька, предающегося переюркам средь водных стихий: он, как рыба в воде, средь предметного мира, иль как... балерина: в припрыжку живет.

Но и Ти́телев—тоже чудак: десять месяцев высидел в собственном домике наперекор Неперепреву; наискось сел Непососько.

Сидят—очень многие, но—в разных смыслах; кому это—задние мысли.

Кому—заключение.

ЭЛЕОНОРОЧКА

Брат, Никанор, ежедневно являлся к Терентию Титычу.

Этот рассеянно встретит бывало:

— «Скачите себе: я-то—занят...»

Фальцет «Ундервуда» дрежжит.

Или,—хлоп по спине его: к Элеоноре Леоновне, в голубоватое поле стены, где повешено зеркало с круглой каштановой рамой; стекло, туалетик облещивая, отражает гребёночки, белые щеточки, зеркальце в сереньком кружевце, густо осыпанном меленьким пятнышком, точно снежинкой; за сереньком ширмой, усеянной крапом,—постель.

А с постели, бывало, всклокочится дамочка: в желтом халатике, с крапом—и серым, и черным; на стриженой шапке каштановых мягких волос полосатая шапочка цвета каштанов, растертых на пепле; а черт—не видать, потому что из ротика выфукнет дым перевивчатый: срослые брови увидишь из дыма; а вместо лица—сизоватое облачко в сиверкой комнате.

Слушаешь струнчатый голос:

— «Ты, Тира?»

— «Леоночка,—я: с Никанором Иванычем; он там сигал: ты бы с ним!»

— «Извините: такая я спаха».

И ручкой покажет на старое, черное креслице в серых, как дым, перевивчатых кольцах.

Дивана же нет; лишь подушка зеленая брошена в сизые, синие крапы ковра; ковер—карий; усаживаясь на ковер, локоточком продавит подушку; калачиком ножки.

И юбочкой кроется.

— «Ляжет с опущенной шторой: валяется день; после бродит себе неумытой зашлепой; а то проработает сутки, без отдыха»,—Ти́телев скажет.

И после:

— «Сигайте же с ней!..»

И—бежит.



Никанор же Иванович вместо того, чтобы сесть, ногу бросив, подтяжку подтянет; и вдруг пролетев мимо пепельницы, мимо кресел, в прощелок, и не зацепившись никак,—к подоконнику: в чахлую пальму окурком:

— «Вот пепельница!»

— «Не трудитесь,—так что̀: я и—так!»

И воткнувши окурок, поправив подтяжку, обратно выюркнет.

. . . .

Никанора Ивановича поразила она с первой встречи же: выслушав что-то, без предупрежденья, меж ножками юбочку стиснула, чтоб не отвесилась, тотчас же—взвесила в воздухе: ножки (головкой в подушку).

— «Я вот что умею».

И вновь запахнувшись,—в пунцовую тальму:

— «*Она—неизносная: с детства!*»—в позевы свои, свесив голову: сухенькой ручкою в сухенький ротик, зажмуриваясь, папироску засунет; и—ручкой к берету, другую—в подушечку:

— «Текера, американского анархиста,—читали?»

И—трезво, и—дельно.

Привздернувши ногу на ногу и ногу ногой обхватив, балансирует стулом, поставленным на одну всего ножку, весьма ужасая, что хлопнется на́-пол со стулом.

Не падал.

Пускалась с ним в споры; но не отрываясь от спора, за полуторагодовалым младенцем своим, Владиславом, бывало, следит.

Так с ней встретился.

ТОЧНО РЫДВАН ОПРОКИНУТЫЙ

Элеонора Леоновна—очень забавна.

Почти еще девочка; верить—нельзя: развивала двумыслие; рот—про одно, а глаза—про другое совсем.

То—дикуша; то—тихая.

Очень немногие терпят стяженье подтяжек с отбросом ноги, сбросы пепла в штаны, притыканье окурков, прожжение скатерти, ну и так далее,—то, без чего Никанору Ивановичу невозможно общенье с застенчивым полом.

И мало его он имел.

Но в Ташкенте сходился с девицею без предрассудков,—в штанах и в очках,—рассоряющей пепел себе на штаны; он на этом

на всем собирался жениться; но раз доказала девица зависимость органов деторожденья от фактора экономического; тогда с фырком ужасным поднялся на это на все; с «извините пожалуйста» сел, грань увидя меж пеплом, очками, штанами — ее и своими; с подъерзом на цыпочках, чтоб не скрипеть сапожищем, ушел; его ждали: заканчивать спор.



Человек с убеждением, — исчез он навеки.

С немногими ладилось.

С Элеонорой Леоновной ладилось — очень: дымила сама за троих; на подтяжки, на скок с перерюрками, свесится личиком в вечном берете, прикурит и стелит дымок по волосикам сизеньким юбочки сизой, иль пальцами дергает пуговку очень уютно, но зло: юмор — сам по себе, грусть — сама по себе; неувязка какая-то: мысль, оковавши ей чувство, несла ее к цифрам статистики.

Осоловелый сыченыш ее, Владислав, — не сосал: откормила сама.

Ну а прочее, — как на луне: освещает, бывало, лучами своей юмористики злой все земное, на все отзываясь хохотом, с диким привзвизгом: до кашля, до слез; перегорклого ротика перегорелое горе бросалось; и ротик свой красила, чтобы не видели: маленький, горький.

А крашеный — маской вспухал на лице.

В плечах — зябль; руки — при́держи; глазки же — с искрами: перебегунчики; поступи туфелек кошьи, — до бархата.

А топоток каблучков — не поступочки ль аховые?

Но добряш Никанор любил злость, юмористику: Ти́телевы были злые (хоть... добрые).

Было в обоих — свое, недосказанное и смущающее, переглядное слово; и даже — не слово, а блеск красок радуги, но... без луча; точно азбука глухонемых: дразнит знаками.

Осоловелый младенец — нисколько не влек: такой черный и плотный; глядел исподлобья; не плакал, а трясся, сопя, сжав свои кулачоночки; Элеонора Леоновна:

— «Тира, — боюсь я».

Отец, сам светляк, кинув на̀-спину, с ним притопатывал, точно кошец; оборвавши игру, ставил на̀-пол, бежал к своим цифрам.

Обязанность матери Элеонору Леоновну не увлекала: без ласки несла.

. . . .

И бывало: из фортки, с лысастого места, бьет песней.

Часами сидят они с Охленьким, гостем, когда-то бомбистом, себе самому отрезавшим мороженый палец; дымочек, клочася синька̀ми в спокойно висящие волны, объятьем распахнутым вьется.

И — слушают песню.

Бывало —

— смеркается: —

— тени запрыгают черными кошками; черною скромницей из-за угла обнажает «Леоночка» глаз папироски; блеснет золотая браслетка; лицо, как клопиная шкурка: сквозное оно; черноглазый сыченыш сидит на коленях.

И Охленький — с нечего делать:

— «Мы сделались немцами».

Он — оборонoвец.

Ти́телев, переблеснув тюбетеечкой, выставит верткие глазики из кабинета; и — выкрикнет: прочное, жуткое слово.

— «Русь — Рюрика? Что?.. Не неметчина?.. Самая... Штюрмер, Распутин — двуглавье стервятника».

В ряби тетеричные коридорчика — с «нет, я не русский» — вон вылетит.

Элеонора Леоновна — Владе: а пальцем — в окно:

— «Штюрмер съест!»

Из окошка же — оранжеватый косяк, расколупленный красною сыпью, в синь сумерок снится.

И снится —

— Россия, —

— застылая, синяя, —

— там грохотнула губер-
ниями, как рыдван, косогорами сброшенный.

Ветер по жести пройдет: в коловѐрть!

. . . .

Перед ти́телевским домочком являлось сомнение: есть ли еще все, что есть здесь: Москва—не мираж? Под ней вырыта яма; губерния держится на скорлупе; грузы зданий проломят ее; Никанор же Иванович с Элеонорой Леоновной, с Ти́телевым, с Василисой Сергевной и с братом, Иваном, —

— провалится —

— в яму!

И креп грохоточек пролетки.

Но дворник, Икавшев, всем видом гласил, что он—то, чем он выглядит: стало быть все, что есть—есть-таки?

ВЕТЕР СИГАЕТ ОВРАГАМИ

Ты о весне проще́бечешь ли мне, синегузая пташечка?

Небо—сермяжина; середозимок—не осень, а сурики, листья,—висят: в сини сиверкие; туч оплывы,—свечные, серявые,—в голубоватом нахмуре; туда—сукодрал, листочес, перевертнем уносится, из-за заборика взвеявши пыль.

Надломилась известка, а где—села наискось крыша; и ломаной жестью, и дребезгом скляшек осыпалось место, где строился дом; поднялись только грязи; и снизилось прочее все.

Никанору Иванычу делалось жутко, когда он, бывало, бросался отсюда домой, лупя—

— свертами,

— свертами; —

— плещет полою пальто разлетное;

потеют очки; скачет борзо под выезд пролеток и под мимоезды трамвая; цепляет зонтом, так не кстати кусающим, за́-руку: чудаковато, не больно; обертывались, провожали глазами его: гоголек, лекаришка уездный!

Расклоченный лет бороденочки — в ветер!

На лицах — тревога и белый испуг; и —

— шаги:—

— шапка поль-

ская: конфедератка; рот — стиснут (его не растиснешь до сроку); и с ним —

— раздерганец —

— летит с реготаньем; пола с бахромой; лицо — желтое, точно имбирь; в кулачине излапана шапка; — и — серь: скрыла рот разодранством платка; —

— и —

— под дом: почтальон:

— «Тут у вас...»

А ему:

— «Ты скажи-ка,—Россию на сруб?»

Почтальон:

— «Тут у вас проживает Захарий Бодатум?»

— «Нет, ты нам скажи-ка,—на сруб?»

— «На обмен: расторгуемся!..»

— «Нечего даже продать...»

Почтальон,—не стерпев, шваркнув сумкою:

— «Души свои продавайте, шпионы ерманские: души еще покупают!»

И шмыг под воротами...

. . . .

Высверки вывесок; искорки первые; льет молоко, а не дым, дымовая труба; слышно: издали плачет трамвай карекрасными рельсами; в облаке у горизонта—расщепина; ясность,—предельная; даль—беспредельна.

Сверт: —

— уличный угол, где булочный козлоголосит хвостище:

— «Нет булок: война».

— «Не пора ли?»

— «А что?»

— «Знаешь сам!»

Поднималась безглазая смута —

— от очереди черным чертом растущих хвостов:

— «Рот-от—не огород: не затворишь; сорока—вороне; та—курице; курица—улице; и ни запять, ни унять! Когда баба забрешет, тогда и ворота затявкают».

Бабы чрез улицу слухи ухватами передавали; как ржа ест железо, Россию ел слух:

— «Нет России!»

. . . .

Трарр —

— раррр —

— барабан бил враздроб перегромами: прапорщик вел переулком отряд пехотинцев —

— раз, здрав, равв, рвв, ррр!

В пуп буржуя, лилимбей, —
Пулей, а не дулом бей!

Улица, точно ее очищали от пыли, замглев, просветилась; а пыль—в переулочный свертыш; и свивок, винтяся, бумажкой заигрывал; месяц, оранжевый шар, тяготеющий в небе, не падая с неба на землю,—висел.

Никанор в перебеги прохожих нырял, и выныривал: носом же—в шарф; шляпа—сплющена: срезала лоб; два стеклянных очка, как огни паровозика; под рукавами рука в руке—лед; сзади — кто-то несется очками

за ним

в перепыхе: затиснуты пальцами пальцы; и — запоминает.

Ему невдомек, что он память свою потерял!

Свертом: —

— первый заборик, второй, третий, пятый; и выкрупил первый снежишко; и нет ни души!

Гнилозубов второй, Табачихинский; дом номер шесть, с трехоконной надстройкою, с фризом, с крылечком, откуда Иван, брат, бывало, бросался на лекцию.

Грибиков, распространяя воняние рыбной гнилятины, там с головизною бледной прошел.

. . . .

Еле помнили: бит был профессор Коробкин два года назад,— сумасшедшим, который музей поджигал; и тогда же обоих свезли на Канатчикову; а сама проходила под окнами: серое кружево на сероперлевом; синяя шляпа, обвязанная серой шалью, зонт серосиреневый, сак.

И какой-то старик к ней таскался.

Все пялили глаз на проезды купца Правдобрадина, Павла Парфеныча; штука: под видом консервов заваливает астраханскими перцами он интендантство; а брюхо? Так дуется клещ.

Кони—бледножелезистые, с бледномедным отливом; раздутые ноздри; и—ланьи глаза.

Интересом своим переулочек жил, став спиной к допотопному дому, к которому раз проявил интерес: хоронили профессора дочку, Надежду Ивановну: от скоротечной чахотки скончалась.

Во всяком семействе—свое.

А в окопах-то?

То-то: не плачь!

Так и ломит заборами ветер, летя на Москву; плющит крыши: Плющихой, Пречистенкой, Пресней —

— сигает оврагами!

ТЕ Ж СТАТУЭТКИ

Те ж статуэтки.

И точно лепной истукан Задопятов, Никита Васильевич, наш академик известнейший, в сереньком,—с вечной улыбкой добра возвышался из кресла и ухо котенку чесал: не несут ли ему манной кашки? И с уса висела калашная крошка.

Он к дому привадился после кончины жены.

Те ж коричневожелтые книги пылились; с поверхности старых убранств кто-то налицемерил жилье: не профессора; пепельницы содержали окурки; за шкафом—пятно бурочерное; видно, что терли, скоблили; и нет—не затерли.

Что?

Кровь.

Тот же кожаный, старый шлепок на углу подоконника: им бил по мухе профессор.

Мух—нет.

— «Ну куда его брать?»—мотивировала Василиса Сергевна; во-первых: Никита Васильич ходил; и—так далее:

— «Ему спокойнее там».

И скучающе забормотав голубыми губами, шла к зеркалу: ей не носить ли шиньон? И косицу увертывала (это—лысинка ширилась).

— «Ну, а по-моему—брать: эдак, так!»—мотивировал брат Никанор.

— «Он же там с Серафимой своей: как за пазухой!»

У Никанора Иваныча мысль, как морской конек, ерзала:

— «Поговорите-ка с Ти́телевым!»

И пошел писать: диагоналями.

Ти́телев этот вынырнул в разговор неожиданно; но Василиса Сергеевна думала: «Ти́телев» выдуман им в знак протеста, как фразы, которыми больно кололся он:—

— «Лоб иметь — еще не значит: быть умным...»

— «Кирпич написать, или — сделать из глины, — нет разницы...»

— «Раз бы пришел этот Ти́телев к вам; а то — «Ти́телев, Ти́телев»; что-то не видно его...»

— «А зачем ему праздно таскаться?»

Тут пальцем мотая пенснэ, Задопятов восстал, захромавши из кресла: он ногу себе отсидел за листанием иллюстрированного приложения:

— «Довольно, друзья» — и хромал от залистанной книги к еще недолистанной; но Василиса Сергевна его увела; вслух читала ему его собственное сочиненье: «Бальзак».

И Никита Васильич забыл, что он — автор: не вынес себя; встал: простерши ладони, как Лир над Корделией, он возопил:

— «Что за дрянь вы читаете?»

А вечерами они благодушно садились за карты; и резались в мельники: сам академик семидесятилетний с ташкентским, заштатным учителем: но из-за карт вспоминали жильца этих комнат:

— «Я Смайльса ему приносил!»

— «Незадачником был брат, Иван!»

. . . .

Получивши в Ташкенте письмо с извещеньем о «с л у ч а е» с братом за подписью «Т и́ т е л е в», брат Никанор с этим Ти́телевым переписку завел; из нее вырастал его долг, бросив службу, явиться в Москву; и сюрприз за сюрпризом открылся: заботы-де и обстоятельная информация принадлежали не Ти́телеву, а весьма состоятельным чтителям брата, профессора, не пожелавшим открыться; он, Ти́телев, есть подставное лицо для сношений: в Ташкент были высланы средства; мотивы же вызова — тайна открытия брата и связанные с ней заботы, которые и поручались: Терентию Титычу и Никанору, ему.

Телеграммою вызванный, он появился: полгода назад; но узнав кое-что об ужасных подробностях случая с братом, блеснувши очком, резанул:

— «Так...»

— «Чч-то...»

Перевернулся, подставил лопатки; и — трясся, стараясь скрыть слезы; но тут же, собой овладев, неожиданно:

— «Дифференцировать, еще не значит...»

Очками блеснул он; себя оборвал; и ходил гогольком, будто случай его не касается; он объяснял всем домашним — профессорше, Ксане Босуле, курсистке, поэтке заумнице, Застрой-Копыто, что-де собирается в банке служить, ждет вакансии, и пока что — околачивается.

Босуля, Копыто, — жилички профессорши.

Ти́телев взвинчивал:

— «Вы уж до сроку держите язык за зубами: коли посягательство на мировое открытие, — что тут...»

Сразил Никанора!

Последний, аршин проглотив, был готов заговаривать зубы себе самому; но заметим же: он, выбирая моменты, обшаривал пыльные полки, расхлопывал толстые томы и листики, в них находимые, тайно к Терентию Титычу стаскивал, но не вводил Василису Сергевну в занятия эти; он ждал, когда следствию собранная им коллекция листиков будет дана; это будет тогда, когда брат, — брат, Иван, — с восстановленной силою явится первым свидетелем.

Он — выздоравливал; и Никанор приставал к Василисе Сергевне:

— «В лечебнице брат, — брат, Иван, — как бумага на складе: сгорит».

Раз придрался:

— «Бумаги — сгорели ж!»

Свалили бумаги наверх; они — вспыхнули: сами собою; пожар потушили.

— «Поджог!»

— ««А кому есть охота палить — антр ну суа ди — эту пыль!»

Неприятною дамою стала профессорша.

Скажем: «п о д ж о г» относился к подробностям, — тем, о которых:

— «Держите язык за зубами: до сроку».

А он не сдержал языка.

И поэтому за Никанором Ивановичем в этом пункте последует автор.

У ЗИНКИ, УФИМКИ...

Где сверт перед площадью, сеном соримый, шарами горит Гурчиксона аптека; и рядом грек Ка́ки года продавал деревянное масло и губки, лет двадцать гласит: —

— «ЕЛЕОНСТВО» —

— почтенная вывеска с места того: «М ы л о, с в е ч и, л а м п а д н о е м а с л о, к р а х м а л»; и само Елеонство сидит за прилавком, пьет чай с по-

стным сахаром, мажет сапог русским маслом и дочь выдает за купца Камилавкина (сын тысяч семьдесят за Христомучиной взял); Елеонство недавно еще подписался с купцами соседнего ряда (Дреолиным, Брисовым, Катенькиным, Желтоквасовым) под монархическим адресом.

Далее, свертом,—заборик; и—двор, где жил форточник и видел фортку из дома, стоящего задом к забору; к ней крыша вела; от нее—ход к забору на свалени дров; дряни форточник тибрил; но тибрить в районе прописки нельзя, потому что здесь тибрит захожий.

Но мучили зубы; ходить—далеко; фортка—рядом: от дров—по забору, по крыше, к окну; кладовая для всякого хлама—лафа (многоценные вещи—грабителю); вылез, пролез, перелез, заглянул; и увидел, что—дряни.

Как вдруг отворяется дверь; и—в исподней сорочке какая-то: в комнату; он же—под фортку; едва прищепяся, выглядывает: что же? Барышня, соры полив, спичкой—чирк!

Человек, на такие дела не способный, он чуть было не:

— «Караул,—поджигательница!»

С крыши—в садик чужой; и—под куст; дым из фортки, свет, голоса; а назад—не улезешь: народ; по чужому двору, в Табачихинский; дом тот заметил: дом шесть; прямо за̀-угол; так в палестины родные вернулся; весьма не мешало в участок сходить, где он числился добропорядочным, с правом прохода сквозь фортки,—в районе от Крымского Моста.

Коли донести, пристав скажет:

— «Такой-сякой: значит под форткой в районе моем ты сидел; так и быть уже: у Нафталинника лазай, в кондитерской; чтоб у меня!..»

Все же справился: что и какие... Сама (сам сидит в желтом доме), да шурин, да барышни (комнату сняли, мудреный народ).

— «Поджигательницы!»

. . . .

Коли встать на дрова, виден садик, террасочка, форточка и мостовая с напротив домочком, откуда два года назад к Селисвицыну в угол вселился известнейший всем карлик Яша, рехнувшийся.

Все-то с рукою стоит на Сенной.

Вечерами же песни немецкие жарит; за песни такие народ убивал, а с блажного не спрашивали; передразниватель, Фрол Муршилов, на свой, иной лад, переигрывал песни.

In Sünde und in den
Genuss gehn wir ab
Zum sinken, zum finden
Den traurigen Grab.

Муршилов—сейчас же:

Изюму да синьки
За узенький драп —
У Зинки, уфимки,
Татарченко: грабь!

— «Жарь, Муршилов!»

. . . .

С карлишкою форточник в дружбе; ему и открыл этот случай; карлишка же:

— «Готт!»

Да и Жонничке, горничной Фразы, «мадамы» сенатора Бакена (наискось от Гурчиксона жила); Фраза-ж...—

Словом забрали, допрашивали, собирались упечь, отпустили:

— «Помалкивай: не твоего ума дела».

Карлишка исчез. Слух пошел, что он служит в разведке.

Неясно: как Ти́телев это узнал и какие такие сношения с жуликом?

ВЫХОД ЕДИНСТВЕННЫЙ

Ти́телев смачно замазывал окна: стаканчики с ядом, замазка и вата.

— «С чем скачете?»

Выложил: брать, а—куда? На квартиру? Никите Васильевичу на колени? В отдельную комнату?

Ти́телев с перетираньем ладош плеском пяток затейливое винтовое движение вычертил, а Никанор сапожищами диагонали выскрипывал.

Снять,—так два случая: неподходящая комната; и—подходящая комната; коли не снять, тоже—два; значит: шесть вероятных возможностей.

— «Неподходящая комната»—пяткою вышлепал Ти́телев—«и—подходящая комната».

Твердо на локти упал, подчеркнув невозможность найти помещенье; и—светлым пятном, точно солнечный зайчик по стенке,

он вылетел; с папкой обратно влетел, бросил папку,—чертил, херил, бил и хлестал по ней пальцами; вдруг оборвал; и жилетом малиновым бросился:

— «Ну, а по-моему, коли снимать—у меня: флигель пуст».

И повел прямоходом чрез ко́пань: под флигель, к охлопочкам пакли; и—видели: лаком флецуют, фанерочками обивают; и есть электричество.

Ти́телев что-то рабочим твердил, по фанерам ладонью ведя; Никанор же Иванович думал:

— «Три!.. Но—сыроваты, без мебели; всякие—ну там—харчимарчи выйдут; да и: крышка гроба,—не рама: при двери».

Как хины лизнул!

Видно, Ти́телев это весьма деликатное дело простряпал давно в голове, потому что обмолвился им, как решенным:

— «Мне—что: даровые; не я оплачу: поручители; я получаю работки: статистику всякую,—ну-те!..»

Какие работки, коль сиднем живет!

— «Поручители—препоручили: эге! Мне и некогда».

Вдруг:

— «Церемонии—в сторону; выход единственный—дан: шах и мат!»

Никанор же Иванович двинулся армией доводов: пенсии явно не хватит; квартира, прожитие: при Василисе Сергевне; да—здесь; да—сиделка. Все духом единым, чут-чуть обоняемым, луковым, выпалил: сесть на шеях у вполне благородных, допустим-таки, псевдонимов...; всучившись в карманы, и ногу отставив, его доканал независимым видом.

Но Ти́телев крепкие зубы показывал:

— Гили-то, пыли—на сколько пудов разбросаете мне, Никанор?»

И как плетью огрел:

— «Коли выписал вас из Ташкента и высказал ряд оснований несчастие с братом считать угрожающим—есть основания мне поступать—так, как я поступаю, а вам поступать—так, как я предлагаю... Пошли?»

Разрываяся трубочным дымом, как пушечным,—в ко́пань шагал; Никанор же—в протесты.

И липа у дома оплакала: каплями.

Когда вернулися, Ти́телев о переезде—ни звука; он чистил бензином свои рукава: переерзаны.

Тупо в гостиной забили тюками; а—нет никого.

— «Вы—не слушайте: дом с резонансами...»—Ти́телев морщился—«Сядемте в шахматы?»

Вдруг, отзываясь себе: в рукава:

— «Основательная перегранка нужна: переверстка масштабов... Так,—брат, Харахор?»

«Харахор», вставши взаверть, и вынюхав кончик бородки, пихаемой в носик,—восьмерку ногами легчайшую вывинтил, пятя всю левую сторону груди и правой рукою заехавши за̀-спину; бросился из-дому—

— свертами!

Бросив курсисточку, кинулся он под трамвай: сам едва не погиб, пролетевшись по свертам, кидался сквозь уличный ряд; и кидался за ним через уличный ряд —

—кто-то—

— свертами,

свертами!

МИТЕНЬКА

Горничная, Анна Бабова, дверь отворила корнету, его пропустив в локтевой коридор, дрябене́вший заплатою:

— «А?»

— «Ездуневич!»

— «Го!»

— «Ты-брат?»

— «Чорт!»

— «Я-брат!»

— «Гого!»

— «Брт... Чрт!»

Так, чертыхался в верблюжьего цвета исподних штанах, под подмышку подтянутых (видно изделия из офицерского общества, что на Воздвиженке),—Митя, профессоров сын, здоровяк: рожа ражая; дернул рукой на верблюжьего цвета штаны свои:

— «Так вот на фронте мы!»

И—за сапог.

На побывку вернулся с корнетом, с приятелем: «и́гогого́, Ездуневич» да «и́гогого́, Ездуневич»; и пахнул весьма: сапогом, табаком; неуверенно громким баском еготал о проливах, о чести военной; совсем трубадур! Из корнет-а̀-пистона, который с собою возил, вечерами выстреливал—режущим скрежетом; а Ездуневич пощел-

кивал шпорой,—пришпоривал шутками; он же стихи писал (но— потихонечку) вроде подобных:

Невинно розов и влюблен
Над мраморною лестницей
Отщелкает мазурку он
С веселою прелестницей.

Здесь поселившись, пришпорил за Ксаной Босулей, курсисткой, подругою Нади, которая после кончины последней, сняла ее комнату вместе с подругой, поэткой-заумницей, Застрой-Копыто; и можно сказать, что профессорша с Анною Бабовой, толстой прислугой, укупорились—кое-как; Митя с другом—сам-друг; с Никанором Ивановичем заночевывал дряхлый Никита Васильич порою.

Хотя б один Митя: походкой урывистой все-то бродил, затолкав их; он производил такой грохот, как будто четыре копыта тут били; передние—в пол; а два задних—о стены; и все от него: в нос несло табачищами; в глаз лез погон; в ухо била армейщина.

Рапортовал он—о полечке с фронта, с которой он будто бы...

— «Чрт!»

— «Брт!»

— «Гого!»

— «Игого̀!»

И выстреливал режущим скрежетом под потолок из корнет-а̀-пистона.

— «Патриотизмы, рромантика!.. Армия наша сопрела в окопах... Все—полечка: с фронта»—ему Ездуневич.

— «Гого!»

— «Игого̀!»

— «Рррв... ррра... ррра̀вый»—в окне раздавалась какая-то рваная часть: неохотой шагать двумя стами тяжелых своих сапогов.

. . . .

Никанор же, на все насмотревшись:

— «Сюда брата брать,—дико; даже—немыслимо!»

•

ШАМКАНЬЕ

Первые дни октября; мукомолит, винтит; буераки обметаны инеем; странно торчат в свинцоватую серь.

Почтальон—из ворот; он—в ворота; и—видит он: Элеонора Леоновна бегает по́-леду в тоненьких туфельках, носом—в конверт василькового цвета, с печатью; и юбочку темную с розовым отсветом выше колен подобрав,—озирается; в очень цветистенькой кофточке сизосеризовой: с пятнами рыжими, с крапом; она, как цейлонская бабочка,—в крапе снежинок.

Но как же размазались губы?

— «Эк!.. С гриппиком вас поздравляю: простудитесь!»

Ти́телев, в шапке-рысинке, в своей поколенной шубеночке,—вырос в подъезде— с «Леоночка,—ты бы обулась!»

Тут, —

— синие листики в ско́мок: за юбочку; —

— два пальца в рот, как мальчишка, махающий через забор за соседскою репой; и — свистнула.

А—про письмо-то, письмо ему?

Ти́телев мимо прошел.

Тогда вынула листики, на буерак ткнула глазками: в спину:

— «Ему—ни гугу!»

Безо всякого—юбочкой: фрр! По ступенькам; и прежде, чем он,—обернулась, язык показала: такая «м а л ь ч и ш к а»!

Такая коза!

. . . .

Серебѐрны!

И как шапками сахарными, пообвисли заборы.

С Икавшевым, мырзавшим носом, они, взяв по ломику, в руки себе поплевав,—с удареньем, враскачку: о лед! А подумалось: мужу она про письмо—хоть бы что! Без стыда! Она—дикая кошка, но с бархатной лапкой.

Набросит на сталь лезвия, чего доброго, тальму свою; и предложит ему посидеть на ней.

Вскочишь!

. . . .

— «Работа славнецкая!»—Ти́телев ломик подкинул.

В испарину бросило.

Вдруг ему Ти́телев:

— «Мебель заказана: можете переезжать; харахорику бросьте; смахайте домой; и—валите сюда с чемоданчиком; пока ремонт—забирайтесь ко мне: на чердак; он, чердак,—не дурак».

И запрыгал с захожей собакою: щелк да пощелк!

— «Собача̀!»

Собакарь!

. . . .

Это место—лысастое!

Осенью не городской, не людской—деревенский здесь шум от деревьев, чуть тронутых, или—еще от чего? И уже—вырывается: и выше выспри глаголет, как... шамканье страшных старух.

Это — шаркает шаг с бесполезным бесстрашием сердцебиенья,—

шаг —

— смерти, —

— в давно не сметенные листья, в давно безглагольное сердце: под вывизги рыва планеты швыряемой.

И,—с бесполезной жестокостью больно катаемое и усталое сердце,—разрывчато бьется.

Ты ищешь чего же, душа моя? И ты чего надрываешься, под колесом Зодиака, песком засыпаемая? Здесь все то, чего ищешь,—костнеет.

Здесь —

— домовладелица,—

— Психопержицкая —

— и Непососько —

— отслюнивают ассигнации.

Шелест их слушаешь ты.

Успокойся, душа моя, что тебя нет в том, чего тоже нет, что в деревьях, чуть тронутых, шаркает шаг пешехода на Козиев Третий,что ветер с возвышенной лысн отчесывает взвивы пыли, охлестывает пустоплясом песков, вырываемых из буераков —

— плешивую площадь —

— с заржавшим трамваем!

. . . .

Так—что!

Не попрешь на рожон: с чемоданчиком притарарыкал; и—сел к ним на харч.

«ПЕРЕВЁЗЕНЕЦ НАШ»

— «Перевѐзенец наш!»

Повели на лысастое место, откуда винтил пустопляс дуновеньем окраин; смотрели на пригород; как перехвачен он балками; слой пылевой, где обоз ползал издали; медное небо и бледное поле.

И сирая, синяя Русь!

. . . .

Отобедали: луком томленым несло.

Позвонил Тиссертацкий: с короткой бородкою, но без усов; обвел каменным глазом; и выбритый череп пронес монотонно в гостиную.

Сколькое было здесь, именно здесь, пережито впоследствии!

Входишь, — и тотчас снимаешь очки, потому что — рябит: рои черненьких мух, как охлопочки жженной бумаги, на кареоранжевом выцвете — вьются винтами в глазах.

Это—крапы обой и горошины желтых протертых кретончиков креселыных; ржаворыжавые шторы; их карие крапы; и—пляска предметов: дешевеньких, ношенных, зàмути зеркала; скос его рамы; растреск потолка обвисает лохмотьями сметанной копоти; ящик под лапистым ситцем; китаец качает фарфоровою головою на яркий пестрец, на китайские лаки, на синие птицы, на всю эту стàрбень; пол—крашен под рваным ковром, на котором затерты рябиновые, голубые и ярко-зеленые лапочки.

Элеонора Леоновна аховым взглядом следит (с раздраженьем) за действиями Никанора Иваныча, севшего к пепельнице и копающего пережиги листков, не дожженных до тла; вот он вытащил синий задирыш; и силится буквы прочесть.

Любопытно: «пше-вже» получается.

Тут он глазами наткнулся на глазки: как радуги!

Пальчик она приложила ко рту; и—пустила дымок, перевивчатый, легкий; прошла сквозь него; повернулась,—какая-то вся возбужденная.

Вдруг, ухватив рукоять разрезального ножика, вытянув шею и вытянув руку, она острием проколола пространство пред носом подпрыгнувшего Никанора Ивановича.

Разумеется,—в шутку.

— «Леоночка, брось-ка ты ножик!»

. . . .

Бубнил Тиссертацкий про синие лица солдат, про трахомы, которые распространяются противогазовой маской; а черные крапы садились мушиною стаей на стекла очков Никанора Ивановича; по каким-то своим перемигам между Тиссертацким и Тѝтелевым, выяснялось, что он, Никанор, им мешает, что именно в пятницу частное здесь заседанье статистиков; и зазвонились: Зеронский, Трекашкина-Щевлих, Мардарий Муфлончик и доктор Цецос.

Никанор же Иваныч пошел: затвориться; постельной пружи-

ной скрипел: без огня; кавардачило; мухи летали в глазах», а сквозь них—синелицый солдат в черном шлеме расстреливал облако хлора.

— «Ну и разговорчики же!»

Сон укачивал.

И, —

— как —

— под ухами бухавших пушек, — привзвизги разбитых дивизий!

Но это пыхтело и фыркало: по́д-полом; и, разбиваясь на дрызги —

— дивизий, —

— дрезжал: «Ундервуд».

— «Непокойный дом: дом с резонансами!»

ДОМ С РЕЗОНАНСАМИ

Бита мастистая карта, которой рука Никанора Ивановича собиралась ударить...

Как?

— «Ти́телев, Ти́телев!»

А переехал, и Ти́телев стал—«т и л и л и́ к»; чудеса в решете, как сказал духовидец!

Воспитанный Бюхнером, сам нигилист, невесомостям сим в решете он не верил, а яйцам, в нем спрятанным; как они сквозь решето могли просто утечь в его мозг головными абстракциями, чтоб из уха вторично родиться?

Он слышал:

— «Тили́к... Тилили́к!»

Стрекотало, тиликало.

Элеонора Леоновна на̀-ночь умеркла; Терентий же Титыч, в халат запахнувшись, со свечкой стал «ничто», с той минуты, как он пожелал доброй ночи под лесенкой; Агния-баба—храпела.

Не червь древоточец ли?

Ухом прилипши к стене, он открыл слуховую вторую действительность; есть ведь в домах аберрации, приоткрывающие разворохи далекой квартиры, коль ухом случайно коснешься стены.

Как ударится:

— «С кем ты спала?»

И в семейную драму уткнешься: вопрос только—в чью?

. . . .

Мой вопрос к архитектору:

— «Вы, гражданин, понимаете-ли, что у вас—телефонное место, откуда все то, что страдает и любит, проходит в ушную дыру через пар отопления? Взяли ли вы на учет этот факт, гражданин?»

. . . .

Переюркивая по стене, ловил звуки он: перебитные, с прохватом молчанья; и ухом нащупал он центр звуковой: голос, перебиваемый сипами, шлепом шагов, дрекотаньем машины, жужжанием валиков, передвиганием косных тюков; вместе взятое—ревы далекого мамонта, бьющего хоботом в камень веков.

Сердце ёкнуло в нем, когда эта действительность стала поступками, если не шкурой одетых людей, обитающих в каменном веке, то шайки отпетых мошенников, вышедших из-за репейников.

Тут он —

— в исподней сорочке, —

— босыми ногами, —

— на пол, чтоб осиливать лестничный винт над ничто́, о которое нос обломаешь,—ползком, как оранг, помогающий в беге себе парой верхних конечностей.

Слушал густое молчание, перебиваемое всхрапом Агнии.

Так он вторично влип в стену, чтоб выслушать ревы с пилением ребер Терентию Титовичу; и не выдержав этого, ринулся с лестницы, пав, как на меч, охвативший его броским светом, стреляющим из приоткрытой гостиной, откуда услышал—падение попеременное гирь, —

— а не —

— треск половиц под подошвами тяпавшими: —

— пуча каменное, налитое страданием око, и бросив пред пузищем ярко кровавую кисть, из которой клевала зажженная свечка в проход —

— прочесал толстопятый толстяк; лицо с зобом, болтавшимся, перекосилось от муки бросания толстого брюха; скакала в плечах седина, когда он прочесал коридором; и сообразилось: взгляд — умницы; вид — композитора, может быть: выбритый, розоволицый, в коричневой паре.

Чернило, не кровь,—на руках!

Никанор же Иванович—в угол, чтоб срам голоножия скрыть: еще скажут, что крадется он с ферлакурами к бабушке Агнии.

Тут же был пойман с поличным Терентием Титовичем: пятно голубоватого спенсера бросилось прямо из двери, со свечкой в руках; и—с тючком перевязанных на́крест бумаг.

— «Вы?»

— «Я».

И с перепугу он выпалил: просто неправду:

— «Желудочный кризис».

И пяткой прошлепал в уборную.

Ти́телев выждал, укрыв выражение глаз в разворошенно желтую, бразилианскую бороду.

— «Попридержите язык пока... Шероховатости»,— верткие глазки проехались в рябь коридорчика—«шероховатости всюду».

И, перевернувшись, бежал в кабинет.

И бежали за свечкою зги.

И стопа толстопятая: тяпала.

. . . .

Еле осиливши лестничный винт, кое-как влез в штаны; мозг—враскоп: муравейник; дерг жил, дроби пальцев; и—туки сердечные; этот страдавший толстяк, пробежавший из стен и ножищей своей трепака отчесавший как бы в тарарыке машинного грохота—

— сон, отщербленный от смысла?

А Ти́телев — сон?

— «Придержите язык» —

— было сказано, было воспринято твердою памятью, трезвым умом; кто он? В прах перетертый, чтоб с пылью московскою — выметнуться: из ума и из памяти?

Топы: он — в дверь; и — над лестницей свесился: это — толстяк, прочесавший в уборную.

. . . .

К фортке,—проветрить себя.

Переискры огней из молчанья: вдали.

И,—как перепелиные крики—куда-то, откуда-то: в ночь.

Взлопоталася липа: под домом.

Шаги; фонарек закачался; Акакий Икавшев под ним; и—Мардарий Муфлончик; в руках у него чемоданчик; к глухому забору пошли—буерачником; там фонарек постоял; и—вернулся; Акакий Икавшев вернулся; Мардарий Муфлончик исчез с чемоданчиком.

Чудо?

Где яйца? Спрятаны!

Вновь, как перепелиные крики, из ночи в ночь за переискрами слышались.

. . . .

Утром пролеточка, затараракавши, встала в воротах; он слышал два голоса: доктор Цецос и Трекашкина; стало быть,—заночевали: где?

ЧТО ОНИ ДЕЛАЛИ?

Ти́телев—темная личность, скрывающая атамана фальшивомонетчиков и приложившая руку: к чему?

И себя оборвал: усомнился.

Как, Ти́телев?

Ти́телев—умница: полки, набитые Марксом; за шиворот выволок из Туркестана; глаза открывал на шпионскую организацию; все это—так; и однако: в компании с этим отпетым мошенником.

Вспомнилось,—у Честертона описано, как анархисты ловили себя, став шпиками; и как полицейские, бросившись в бегство от ими ловимых персон,—настигали: бежали, все вместе,—по линии круга.

Что ж, мина доверия, — крап, передержка, чтобы, усадивши в репейники брата, Ивана, с открытием, —

— брата, Ивана, —

— похерить: открытие, — брата, Ивана; и — брата, Ивана!

Тут—корень всего!

А насильственно вырванное обещанье молчать—паутина, которую выплел толстяк.

Осторожнее, брат, примечай!

Остается единственно: бегство—раз! С братом, с Иваном,—два!

Повод? Его подыскать. А Ивану в виду обстоятельств подобного рода—продлить пребыванье в больнице; пускай там сидит; Никанор—сядет здесь: усыплять подозрения; вот положение: преподавателю русской словесности—сыщиком сделаться!

Что это значит?

Разыскивать след толстяка из гостиной; и—стало быть: эту загостиную взять под обстрел; во-вторых: изучить тот участок забора, куда уводил фонарек, где Мардарий Муфлончик из твердого тела стал—газ испарившийся; и в голове—рой стремглавых решений; вот только: харчи-то марчи; он на нихних сидит; и за

ними ж подглядывает? Как же может он эдакую негодяину вымочить?

Вымочит: долг в отношении к брату ведь—есть?

Есть.

Так — вымочит!

. . . .

Сухость сказалась с катанием вориков-глазок, когда поздоровался с Элеонорой Леоновной и отошел полистать преддиванный альбомчик; сигнув коридорчиком, носом—в гостиную: там—не толстяк?

Не толстяк.

Ну-те!

Элеонора Леоновна шла одеваться; Терентия Титыча не было: ерзает видно с фальшивой монетой своей.

Сиганул он в гостиную, странно оглядываясь; и рой мушек, как хлопья, на фоне рыжавого выцвета вился, так докучно жужжа, пока комнату он на коленях не выползал; носом—под ящик, под кресла; исследовать нечего; след негодяя—не видим; следы таракана открыл; неприятная комната—с мухами, с копотями над рыжавым кретоном.

Вдруг—шарк.

Пристыдил карапуз, Владислав: он приполз на карачках и трясся перед тараканом в пороге.

Едва ли не стал объяснять карапузу, зачем он тут ползает, но успокоился; этому не до него: что за гадости,—он придавил таракана!

Теперь—в буерак!

ПЕРЕЮРК

И закапали желчи на смоклую крышу: под оттепель; свистами сносятся сурики, листья; и крякает воздух сырой: воронье улетает над сиплой осиной сквозь синюю проснь: неясною чернью—в неясные черни.

На лысый подхолмок привстав, опустился в колючие кучи репейников, в срóстени кустиков; цапкие лапки раздвинув, ощупывал доски забора: высок; и ясно, что не осилил Мардарий Муфлончик железные зубья; здесь след; здесь стояло весомое, твердое тело; здесь стало оно невесомым и газообразным; ага,—доски спилены: на перегибах гвоздей еле держатся,—две; отогнув, обнаружил проход в переулочек:

— «Ловко!»

И—нос в Гартагалов: пустой, так что можно нос выставить:—

— юрк,

— переюрк,

— выюрк,

— вьюрк, —

— под защиту доски, потому что пред тумбой, спиной на нее, лицом — в прóрезь, стоял офицер с бороденочкой рыженькой, с прúсморком, при эксельбанте; и шпорой бренча, свежей лайкой, белей молока, папиросу выбрасывал; глазки, как рожки улитки, наставились на Никанора Иваныча с юмором: интеллигент на волне европейских событий в дыру за «проливами» лезет; что ж, — стреляной дичи не мало.

Ага,—не пролезешь!

А знать интересно, как выглядит эта лазейка снаружи; и гвоздь повернув,—

— через Козиев Третий:—

— не сыщик —

— артист!

Но у входных ворот—в офицера, того же,—шляпенкой своей:

— «Извиняюсь!»

Опять офицер усмехнулся: де интеллигент—куда прет? Да и многие пёрли: за Львовыми, за Милюковыми: выйдут в тиражи, за Врангелем,—в Константинополе!

— «Вовсе не стоит переть»—упрекнули глаза офицера; он носиком, с прúсморком, вынюхал: к Фефову перевозили капусту.

Всей стàтью знаком офицер.

И еще раз сцепились глазами:

— «Вы ль это, Иван Никанорович?»

Сухо Иван Никанорович скажет в ответ Никанору Ивановичу:

— «Извиняюсь, — какой я Иван Никанорович!» —

— чтоб не случилось подобного казуса, частого в практике встреч с незнакомцами, принятыми за знакомцев, он — прочь, гребанувши рукой, на крутейшем винте переулка за изгородь, — дернулся на Гартагалов; и там под лазейкой поюркал, косясь на нее: доски — здóрово пригнаны.

Вновь, загребая рукой пустоту, на крутейшем винте несся в Козиев Третий; за ним, загребая рукой пустоту, кто-то несся, о ком мне не стоило б упоминать: паразитики, таксой оплаченные, или — шубная моль; вьется, — хлоп ее: нет; только желчь золотится на пальцах!



Где винт загибает на дом, номер два, из ворот—разодетая дамочка; широкополая шляпа грачиного цвета с полями распластанными, как грачиные крылья; и—черное, током, перо; и закрытое черною мушкой вуали лицо; офицер, цокнув шпорами, локти расставивши,—к ручке: мазурку отшпорить.

— «От нас, а у нас—никого; я же, — только что и́з-дому!»

Холмсом: за ними; —

— и кто-то — за ним —

— разглядеть эту дамочку!

Стриженая; волоса цвета темных каштанов; как в масочке;

губы на полулице ее слишком знакомо припухли; безглазо разъехались.

— «Как-с?»

С этой «к а к с о й» — назад, меж собою и нею, поставив заборик, — шагах в сорока: и — шагах в сорока от него, точно так же, назад, между ними поставив заборик — очки: без лица; носом — в шарф, задвигаясь полями — без «к а к с ы, но —

— с «таксою».

БЕЗЫМЕНЬ

— «Как-с?»—относилось к открытию в дамочке Элеоноры Леоновны.

Степку-Растрепку ломала она из себя; а, скажите пожалуйста,—в эдаком блеске!

Следя за супругами, он не сказал бы, что спрятан в репьях, офицер, что он ходит торчать под забором, что так вылетают к нему: удаляться куда-то; и—при-пере-при-оттопа́тывать:—

— при́-пере

— при́-пере —

— прр

— фрр — !

И—вывинтили в Гартагалов; пошли писать; задроботал офицер, точно щелком мазурочным; и с топоточками, выпятив грудь, пируэтцем бойчил Никанор; и бахромышем, точно репейником, перецеплялся он.

Смутные смыслы рвались в подсознанье танцующей ассоциацией над здравой правдой, чтоб жуткими пульсами тукать—так точно, как бледная светлость редевших дерев самосветом выхватывалась и растрепывалась, чтобы дождики листьев танцующих все покрывали, и всюду сквозь ноги прохожих летели взвеваемой желтою массою.

Рывом в скорозлые слякоти, в скоропись листьев помчались все трое под домиком дикого камня; церковная, белоголовая башенка: улица первая.

Вот галлопада!

Ездишка; бежит безалтынный голыш; битюга бьют в ноздрю; и—селедочный запах.

«О н и»—впереди: в перетолк; офицер перед дамою локтя не выпятил: не офицер с ферлакурами; дама—не цель; оба—средства.

Сверт:—

— вляпан в пихач, берендейкой, локтями пихаемой; все — скоробранцы: они — стародранцы; и краповый ситец, и пестрый миткаль; и — столб башни; взболтнулось шагами, подгрохотом, шарками, ржаньем коней и трамваями; автомобиль, точно бык бзырил[1] издали.

Как останавливались друг пред другом с поджатием и распрямлением рук, как неслись в перетолки потом: не интрига хорошенькой дамы, не флирт офицера, а дело, связавшее их: против воли!

Отстал, снял очки, став таким слепооким, усталым; и тут, их утративши,—

— эк, слепендряй —

— вваверть,

— в цыпочки —

— боком, — проюркивал: легкими скоками.

Улица третья!

Свернули в кафе под огромною вывеской: «У Сивелисия»; ожесточаясь очками, он—к стеклам; свет—пущен: вот старец безвласый—за столик: пальто—цвет сигар; вот—к ближайшему столику Элеонору Леоновну рывом ведет офицер; и навстречу им рывом встает сухощавая барышня в великолепиях: с плеч—соболя в кошках, с хвостиками; а стеклярусы бьют—водопадами; волосы—белые; стрижка—короткая; вздернутый носик; повидимому,—иностранка.

И — Элеонору Леоновну ручкой усаживает.

Офицер с эксельбантами, слева не сев, а сломавшись, на столик руками упал, чтобы слушать, как барышня эта чеканит головкой и сжатыми бровками (крепко, должно быть).

Вдруг Элеонора Леоновна —

— с перекосившимся диким испугом, с оскаленным ротиком — вскакивает! .—

Тут он носом — в блистающий лаком «т а к с и́»: столб бензинового дыма, как тяпнет скрежещущим щипом; подпрыгивает и выписывает легкий росчерк ногой — перепуганный брат Никанор.

А? Машина?

Для барышни?

---

[1] «Бзырить» — раздраженно мычать (про быка).

Новая, чищенная; и шофер парикмахерской куклой сидит, обвисая рысиной; из сизобагрового облака лепится хмурь; сухо сумеречит; синей видится сивая лошадь с угла.

Куда деться?

И шарки, и бряки; топочут в притоны: там песнями сипнуть; безгласные бряки; и мир—безвременствует; все—сели в пропасть!

Беспроким галопом несется обратно:—

— беспроко бежит за ним —

— бе́зымень!

СУДЬБА ТОЛСТОПЯТАЯ

Под изгородливым местом дворная собака, вцепившись зубами, ему лепестила пальто; едва вырвался в Козиев он.

Вышел Ти́телев, став узкоглазым и бросивши в воздух ладонь.

Никанор же Иванович, ожесточаясь очками,—к ладони ладонью—с отвёртом, с поджимом, с прохватом молчания, без «т а р а р ы», возникавшей меж ними,—с посапом: в усы!

Друг от друга они—наутек; этот—на чердачок; этот, с кепкой в руке,—в буерак, в теменец, в темнобурую ночь.

Как медведь, она—лапит.

. . . .

Везде людогрыз!

Отношенья людские—измарчивы; и—как зыбучий песок; то насыплется куча, то—вытечет: сквозь решето!

Отбивал чердачок каблуком; жить приходится—с татями! Что ж,—коли надо: для брата, Ивана; Иван, брат,—беспомощен.

И в толстолобые стены раскашлялся он: до привзвизга; стой, брат, Никанор, под судьбой толстопятой, свой пост защищая от потов ночных! Видно,—туберкулез вскрыт кавернами; це застукало: ту́-туту.

Топала —

— туком —

— судьба толстопятая!

. . . .

Элеонора Леоновна! Вы ли?

Леоночка! Ты ли?

Перо шляпы—на̀бок: растрепанная; весь изыск, как на палке

повис; не нарядная дамочка,—выряженный шут гороховый, с личиком, точно с клеймом, раскривленным следами позора и злобы, и пересинелым, с губами, размазанными красной краской, глотавшей слезинки.

— «Ты, Тирочка?»

Ти́телев из табаковки набитой щепоть табаку урывнул, свирепейше вдавнул ее в трубочку; трубочку—в рот; и- в разрывы табачного дыма:

— «Леоночка!»

А из-за дыма не глазиком—глазом расплавленным: тяжеловесным топазом:

— «Ты что?»

Она ручками, как не своими, а краденными, искромсала перо снятой шляпы; и—переюркнула: на ключ; головою— в подушку: медведь темнобурый, как мгла косолапая, лапил.

В темки́ заиграли: все трое!

. . . .

Ночь, полная собственным словом, которого днем не услышишь, — слепцово безо́чье, — разорвана в клочья!

Тень,—в день обледненно смаляяся, села в щелях: косяками; уже выглавлялись беспрокие сутолочи всех предметов: из слабых объятий склоненных теней; выглавлялась постель белоснежной подушечкой;—

— личико синее —

— с ручкой, воздетой и выбросившей лезвие, засверкавшее над занавесочкой в сивые рыжины туч.

Лезвие разрезального ножика сверком своим прокололо подушечку смятую.

ЧОРТ ВАС ДЕРИ!

Утром выскочила разбитной и вертлявою девочкой, смехом икливым стараясь стереть впечатления.

Ти́телев неоткровенно борзил перебегами глазок с очков Никанора Иваныча на безответицу... даже не глаз ее; видел в себя убежавшую бель да круги синезеленоватого личика с ярким раздергом безглазого рта.

Никанор же Иванович, на̀вись сев, сеял табачные встрехи, смекая, что Элеонора Леоновна —

— тайно была на свидание с барышней

приведена офицером; и это — комплот против, может быть, мужа; и — каверз его; ей, пожалуй, довериться можно, чтобы ей —

— эдак-так, —

— приоткрыть!

И—так далее.

Ти́телев, от двоемыслия,—в дверь.

Никанор,—

— эдак, так:—

— де болезни есть разные; зоб-де растет; толстякам неудобно — и эдак, и так,—коль утек под заборы от глаз полицейского— жизненный модус фальшивомонетчиков; —

— все, разумеется, тонко: намеками!..—

— Элеонора из желтой, сквозной своей шали подбросила ручку в берет, и вертела своей папиросочкой; ткнулась со смехом икливым: в пестрятинку.

— Вы посмотрите... Узорики—в клетку: зеленое, красное... Шашечки... В каждой, как солнечный зайчик,—желток... Поле—дикое... Это—материя кресел и штор брату, вашему: в комнату!»

В рот папироску, за дым облетающий и перевивчато легкий прошла, как в свой сон.

И—оттуда: в дымочек:

— «Не стоит, голубчик, допытываться!»

Да, слова—арабески: дымки—занавески; как чертики в форточку, в Козиев Третий взвиваются; Козиев Третий взвивается— — в рок!

Все—взвилось!

Глазки,—как лезвия: блески резкие! Не доверяйтесь: предательница!

. . . .

— Едва сели за стол они, Ти́телев, бросив салфетку, откинулся; и в Никанора Иваныча глазом, как тяжеловесным топазом—

—ударился—

—яростно!

— «Чорт вас дери!»

КАТАСТРОФА

Взяв кепку и очень жестокую трость, его вывлек он:

— «Слушайте!»—трубочкой: а харахорик, ведомый в репейник, кусался словами.

— «Садитесь!»

Ткнул тростью в бревнину:

— «Не перебивайте меня!»

Усмири!

— «Я не сяду,—так чч-тò!.. И не стану...»—хлоп, хвать: скорохватная лапа какая!

— «Не спроста во мне катастрофа с Иваном Иванычем»—силой усаживал Ти́телев—«вызвала мысли о вас: зная ваши прекрасные»—бил по подтяжке, привздернувши бороду,—«свойства, естественно, я...»

Харахорик, сорвавшись, писал по колдобинам витиеватые скорописи, чтобы свойства такие отвергнуть.

И гулькали сивоголовые голуби.

— «Дайте сказать... Ну-те: мог положиться на вас!»

— «Перебью!»—сиганул Никанор, и руками в карманы всучился—«Во первых: вы с братом, Иваном,—знакомы?»

Мелькнуло, как издали: «Не удержусь и все карты открою!» И—выехав левым плечом, но отъехавши правым: взапых—«Во-вторых: вы утаивали много данных, их мне обещав: вышла ж—фига со сливками!»

— «Эк!.. Сколоколили!..»

— «В-третьих»,—и палец загнув ему в бороду—«вы-то откуда узнали, чч-тò... факт нападенья на брата, Ивана, еще неизвестен полиции в ряде подробностей... Вы-то кто?.. Сыщик?.. В-четвертых»,—расшарк иронический—«где основания думать, что здесь»—бросил руки направо, налево, очками поблескивая—«брат, Иван,—в безопасности?»

Взаверть: оглядывал с победоносной иронией Ти́телева: тот—за вырез жилетика: пальцами бить:

— «И на это отвечу... Но мы отвлекаемся: сядьте... И бросьте саркастику эту...»

Пройдясь:

— «Зная лично...»

— «Да я вас не знал-с!»

— «Мы встречались лет двадцать назад... Ну»—развел он руками—«я ж не виноват, что меня позабыли вы; неудивительно:

я—изменился... Потом надрыгаетесь: слушайте!.. Зная, из братниных слов вплоть до случая с шубой и с клаком, которыми... Дры́ганец бросьте-ка: хò!»

Трубку выхватив, белыми он разблистался зубами; и снова приблизил лицо узкоглазое:

— «Думаете, что подглядки ушибли меня? Да ни капли... Сидите... Мотивы-то были ль подглядывать?»—встал он на цыпочки—«Были»—присел и губами всосался, «пох-пох», дымом в нос.

— «Были,—спрашиваю?»

— «Были...»

— «Я говорю—то же самое...»

И указательным пальцем—в плечо:

— «Стуки слышали?.. Стуки-то—были?..»

Пождал.

— «Так подглядывать право имели... я вас провоцировал. Вы ресуетник; много стреляной дичи валяется; бойтесь стремглавых решений...»—ушел он в усы.—«Пока—все по программе; а что сверх программы,—придите; и—спрашивайте...»

Никанор, рот раскрыв и колено свое обхватив, растирал подбородок с волнением; тяжесть молчания сбросилась; вспыхнула искра доверия.

Вдруг —

— улыбнулся: пленительно!

. . . .

— «Вашего брата я знал; и—Надежду Ивановну... Скрыл же до сроку»—задумался Ти́телев, вскидываясь в передерги мушиные, снежные: с неба зареяли; плечами—в уши, а пальцами—в бòки.

Стоял, вздернув трубочку:

— «Ну-те... Открытие брата,—разрыв всего дела военного, о чем бедняга не думал: другие подумали... Кто—невдомек? Все еще?

Ткнулся пальцем в плечо:

— «Генеральные штабы!»

— «Что: чч-то?!?» —

— Впереборку задренькала где-то струна; голос, перебираемый сипом, задренькал за ней:

— «Пагубб-и́ли...меньн-ня́. .твв-ааи..óчч-хи...»

— «Ляля́... погубили... меня!..»

— «Понимаете, что это значит: не штаб даже,—ш-т-а-б-ы!»—

— «!» —

— «Трындрын!» —

Звуки, перебитные с прохватом мол-

чанья, — взрывались еще; сипом перебиваемый голос:

— «Змэйiаа... падкал-хооо-дд-ная ттхы!»

— «Трынн!» —

— струна вперебор-ку!

Теперь только понял!

. . . .

За братом, Иваном, — охота великих держав!

Тут — в испарину.

Брат, —

— брат Иван, —

в Табачихинском с зонтиком черным, в проломленном, косо надетом своем котелке улепетывает; а за ним —

— Китченер,

— Фош, —

— грохочут тяжелыми танками; падают с треском заборы за братом, Иваном!

И все занавески взвились: Гартагалов, взвитой с Фелефоковым в небо, — лишь хохлины выпуклого, чернобурого дыма из дыр — не Москвы — в высвет красных, занявшихся зарев!

И БЗЫКОМ И МЫКОМ

— «А — брат: брат Иван?»

— «Подозрение — было. Бедняга — догадывался; и листочки распрятывал: в томы свои... Победил — Вашингтон».

— «Вашингтон?»

— «Вашингтон».

— «?»

— «Потому что интрига велась Вашингтоном под флагом Германии; американская организация — ну-те — использовала сеть германских шпионов в России: еще до войны... Удивляетесь? И — удивляйтесь: эге!.. Предложение брату продать им открытие шлоде от частной компании; он — отказал... И... стряслось!

. . . .

И —

— в халате подпрыгивал: под болевыми ударами,

дико истерзанный, брошенный, с выжженным глазом —

— О! —

— О! —

— И —

— «брень-брень»! —

— отзывались стаканы в буфете: в квартире пустой, окровавленной [1].

. . . .

— «Немудрено, что рехнулся... Все ясно: грабитель пришел, мучил, требовал выдачи... Частью, — бумаги пропали; чердак поджигали потом, чтоб скрыть, вероятно, следы... Суть не в этом: грабитель, германский шпиончик, не знал, что работает на Вашингтон; он — надутая кукла... Я, — ну-те, — случайно знавал его в молодости: это — некий Мандро, спекулянт... Имя не говорит — ничего?»

— «Ничего!»

Вдруг дрожа, — с разволнованным шопотом: Тителев:

— «Вы при Леоночке имени эттого — не повторяйте...»

И снова с небрежностью:

— «Суть же не в этом!..»

В воротах, шагах в тридцати, в перепыхе, и прячась под шляпой с полями, — блеснули очки: без лица; носом — в шарф:

— «Извиняюсь...»

— «Вам что?»

— «Комнат нет?»

Носом мырзает: с холоду.

— «Вы объявление читали?.. А?.. Нет его?.. Значит и комнат...»

Спиною к очкам.

— «Извините».

— «Пожалуйста».

И — нет очков под воротами.

— «Суть, повторяю, не в том, что истерик развинченный, схваченный, был не в себе, а суть в том, что его подменили в тюремной больнице, запутавши номер, и похоронивши под номером — да-с: сумасшедшего; где-нибудь прячется он!..»

И увидя, что брат Никанор, подставляя лопатки, трясется от плача:

— «Придите в себя... Вы не маленький... Я ж отвечаю на пункты, на ваши... Второй пункт: откуда я знаю? Ячейки: в России, на западе: всюду-с!»

— «Так вы — политический?»

---

[1] См. Первый том «Москвы» (2-ая часть, глава шестая).

— «Кто же еще? Ну-с, а дом с резонансами? Ну, а—чеканка монет: хохохо!»

Никанор от стыда стал малиновый:

— «Вы—так чч-то: вы—не подумайте!»

— «Я и не думал, а я выяснял, на вас именно, чисто ль работаем; ну-те, допустим, вы—шпик; и, допустим, живете у нас; и, допустим,—не видите, не замечаете... А вы заметили, как Химяклич, в ту ночь ночевал, проезжая из Перми: в Лозанну...»

«Толстяк»—Химияклич? «Толстяк»—псевдоним, знаменитейший,—Якова Яклича Химикова, и больного, и старого, все же гремевшего юно статьями. Да кто ж их не знает? Кто их не читал?

А он-то, он-то?

— «Простите меня!»

— «Мы себя проверяли на вас».

Тут же—с горечью:

— «Здравствуйте»,—руки разбросил—«фальшивомонетчики: милости просим...»—раскланялся, кепку сорвав.—А по-моему,—мы-то и боремся против фальшивых монет всего мира... Пункт пятый: Ивану Иванычу здесь—безопасней всего...»—И рукой охватил буераки он: «Организация будет следить... Око зоркое—тоже появится, как эти самые—из подворотни: являлись сейчас... К тому времени мы ликвидируем стуки: уже типография переезжает: выносится шрифт: прокламации,—не ассигнации... Тоже—хорош! Впрочем,—к этому времени руки шпионов—оторваны будут; и это все»—трубкой в репейники—«рухнет».

— «Что?»

— «Все».

— «?»

— «Ставка, армия, ну-те,—судопроизводство, Россия, Германия, Франция, Англия: все!»

Десять пальцев разинулись:

— «Мы возьмем власть!»—десять пальцев зажалися.

— «Ясно?»

И кепку надвинувши, руку засунув в карман, Никанора Иваныча—носом на землю с луны он швырнул; и—пошел с перевальцем, обидным таким: под ворота.

Тут щелкнул подъезд: точно мыщерка,—

—черная дамочка—

— с плоским листом, как у кобры, конечности, а не с полями увенчанной черным пером черной шляпы, закрыв лицо муфточкой—

— выпизнула,—

—как змея,—

—на змеящемся
хвостике,—а не на шлейфе.

— «Куда, Леонорочка?»

Бледный, как мел, подбородок ее показал—лишь улыбку: безглазую; черным пером черной шляпы боднула, как козочка: преграциозно:

— «Не спрашивайте!..»

— «К офицеру»

—как эхо,—

—в мозгу Никанора мелькнула откуда-то шалая мысль.

— «Муж не знает, куда».

До нее ль?

. . . .

Трески трестов о тресты: под панцырем цифр; мир—растрещина фронта, где армии,—

—черни железного шлема,—

—ор мора:

—в рой хлора;

где дождиком бомб бьет в броню поездов бомбомет; и где в стали корсета одета—планета!

Терентий же Ти́телев, встав с Фелефэковой лысины, перетирая сухие ладошки, все это—в бараний рог выгнет! Как если б из серого неба над серою Сретенкой, ревом моторов и лаем трамваев, отвеявши небо, провесилась над дымовою трубою бычиная морда—

—и бзыком, и мыком!

. . . .

Не вынесши ассоциации, бросился брат Никанор через двор, за забор; но и тот дом дубовый, и этот дом, с розовым колером, угол забора и купол собора, и трубы, и улицы—с окнами, стеклами, с каменной башнею,—вовсе не то, чем молчали, а то, чем вскричали в распухшие уши:

— «Мы рушимся»,—

— ррррууу:—

—это «Скорая помощь»

проехала...

Поздно спасать!

Да и нечего: все—развалилось.

СЕСТРА

Серафима Сергевна Селеги-Седлинзина бедно жила; и ходила на службу: в лечебницу; ростом—малютка; овальное личико—беленькое, с проступающим еле румянцем: цвет персиков!

Ветер—порывистый, шквалистый, шаткий; калошики, зонтик,—пора! И—несется: кой-как, через двор, под воротами,—одолевать серокарий забор, закричавший под ветром, под палевый домик; ух—рвет! Покраснел кончик носа! Винтяся, с бумажкою свитыши пыли играют, ввиваяся зà-угол; от трех колов—рвет рогожу под домом, где писарь лентяит в пустом помещении (часть разошлась по Москве, чтоб висеть на подножках трамвая).

Вот крепкий, как крепость, забор: перезу́бренный; гнется береза в окрапе коричневосером: и—зашебуршало, как стая мышей из бумаги; в воротах сидит инвалид, в прыщах красных: Пупричных: глядит в глубину разметенной дорожки, с которой завеялись с красной гирляндой слетающих листьев—и шали, и полы пальто; лица—краснокоричневы (с ветра); юбчонку охватывает вертохват.

Но яснеет, под небо встав, яркий жарч кровель и крыш; из расхлестанных веток является розовобелый подъезд; два окна; вот—под ветви уныривают; но расхлещутся ветви,—и вновь выплывает карниз с подоконным фронтоном; туда Аведик Дереникович Тер-Препопанц поведет, точно стадо баранов, больных интеллектом людей с исключительно нервными лицами, с жестом, в котором—подчеркнутость брошенной позы.

Сюда приходя, волновалася; там, за воротами,—точно в водянке оплывшие рожи коптителей Девкиного переулка; здесь—мысль в напряжении; здесь—острота, пылкость, смысл!

Но не то полагал Пятифыфрев:

— «И бродят, и бродят!»

Пупричных, привстав, и плечо на костыль положивши, ответствовал:

— «От мозголома... А энтот»,—и он показал на мужчину с заколотым розовым галстухом, в фетровой шляпе и в сером пальто с отворотами,—«тутовый он?»

— «Пертопаткин,—родными посажен за то, что войну отрицает!»

— «Резонно»—Пупричных насытился зрелищем; и - под воротами отколтыхал костылем.

— «Фатализм—очень вредное верозанье, развращающее наши

нравы, как и шовинизм, наступательный патриотизм»—приставал Пертопаткин, Кондратий Петрович, к Пэпэш-Довлиашу.

Пэпэш-Довлиаш, Николай Николаич, профессор, толстяк, психиатр, вид имел добродушного лося; подрагивая и как будто паркет растирая ногою, с приплясочкой, вытянув челюсть и губы напучив, как для поцелуя,—спросил Пертопаткина.

— «Как самочувствие?»

— «Прямо божественное!»

Николай Николаич рукой с карандашиком, глазками и котелком—к Препопанцу:

— «Клистир ему ставили?.. Ставьте!..»—и прочь отбежал, чтобы оцепенеть: глаз—бараний, пустой.

Аведик Дереникович знал: диагноз устанавливает; интуиция действует с молниеносною силой; почтенное имя, профессор:

— «Плох, плох—г у л э в у?»[1]

Поговорку, которой кончались прогнозы,—«п л е т' и л ь[2], «г у л э в у»—говорил ассистенту, больному, себе самому, задрожавши игриво ногою и спрятавши руку в карман; «г у л э в у»—означало: составлен научный прогноз; и теперь место есть для стечения мыслей игривых о ближнем, который и есть—«г у л э в у», потому что нормальная мысль пациента и так, вообще, человека, — блудлива и ветрена. Сам Николай Николаич глумился над ближним, «Т о н к и н у а з» [3] распевая и ровно в двенадцать часов по носам с Львом Михайловичем воскресая в Кружке, где в железку он резался с князем Сумбатовым-Южиным.

Вставив клистир в Пертопаткина, целился он: на кого бы напасть.

— «Вышел за карасями: удить»—говорил Пятифыфрев,—«червя им покажет; разинут рты,—цап: и сидят с пузырем на башке они».

— «Каждый—в позиции»:—мыслил Пупричных—«тот—козырем ходит, а этот сидит с пузырем!»

Николай Николаич—нацелясь на бледного юношу, из-за куста к нему—ястребом:

— «Вы, Болеслав Пантукан,—кто же собственно?»

— «Я—конехвост!»

---

1 Вместо «вуле ву» — по смыслу: не угодно ли.

2 В точном переводе: нравится ли вам; в обычном употреблении — вопросительное «что» с оттенком «не угодно ли», «изволите видеть».

3 Французская шансонетка, бывшая в моде в начале столетия.

Николай Николаич—трусцою, трусцой: в карекрасные листья.

Огромное поле для всяких разглядов; к примеру: Хампауэр старик, в сединах и в халате: крещеный еврей, состоятельный, но—паралитик, влачащийся на костылях, с фронтовой полосы по доносу захваченный, чуть не повешенный,—явно рехнулся; с усилием перевезли его дети в Москву; ходит здесь; проповедует—свое пришествие.

— «Нам хорошо с вами, батюшка: мир-то—во зле!»

Так он овощь откусывая, приговаривал; стибривая несъедобные овощи, их называл «мандрагорами».

— «Бросьте: опять с мандрагором»—его урезонивали.

С сожалением редьку гнилую бросал.

Серафима Сергевна себе улыбалась: осмысленность службы в сравнении с тем, что свершалось за розовым этим забором,—вставала; там—зло; пробежала в подъезд, коридорами, за нарукавничком, за белым фартучком; звали больные снегуркой ее; как повяжется, так день—взапы́х; всюду бегает: чистые скатерти стелит; и знает, что можно окурок просыпать на стол,—не на скатерть: конфузно; и делалось как-то за скатертью крупное дело: больные себя не засаривали.

ОН ГУБАМИ ПИСАЛ, КАК ГУБЕРНИИ

Дым из-за труб; разъясненье, растменье редеющее, синесизое, голубосизое; встали малиновые и оранжевокарие пятна деревьев, не свеявших листья; дом розовый белоколонным подъездом и белою лепкой гирлянд поднимал расширения окон, как очи, вперенные в голубоватый прозор.

Распахнулся оконный квадрат: чье жилье? Штора, веко,—открылась; но—мгла из-за шторы глядела; и кто-то к окну подошел, как зрачок, появившийся в глазе; старик коренастый—в халате: фон—голубосерый, с оранжевокарею, с кубовою игрой пятен; он кистью играл; а на глазе—квадратец заплаты безглазился.

Каждое утро—окно открывалось; и в нем появлялся старик этот пестрый: на черной заплате вселенной стоять.

А позднее больные валили в открытые двери подъезда; их вел Аведик Дереникович Тер-Препопанц, ординатор и доктор по нервным болезням; с ним шли: Плечепляткин, студент, сестра в белом и унтер в отставке, седой Пятифыфрев, с седым инвалидом, - с Пупричных,—влачащимся на костылях.

Новички под окном—старику и халату дивились: расспрашивали:

— «Кто такой?»

— «Он—профессор своей знаменитости: глаз ему жгли, колотили; ум выколотили!»

Неприятный толстяк, шут гороховый, рыло в пуху, параноик,—учил их:

— «Сиди под кустом, за листом: не стучи,—гром убьет!»

— «Да смирней он теленка!..»

— «А били за что?»

— «За открытие видов».

Толстяк, шут гороховый, рыло в пуху, параноик,—подмигивал:

— «Видывал виды!»

— «Кто бил?»

Пятифыфрев:

— «Остались пустые штаны; показали—на труп: в животе...»

— «Труп был?»

— «А не брюки же... Чьи они?.. Воздух в штаны не залезет...»

И Тер-Препопанц, это слыша, поежился:

— «Глуп Пятифыфрев!..»

Раз он Николай Николаевичу про нелепые сплетни скажи; Николай Николаевич слушал протянутой челюстью, вытянутой за тугой воротник, опушенной проседой бородкой, напучивши губы, как для поцелуя; лишь глазки, присевшие в белых, безбровых мясах, стали—тигры малайские; взял котелок, трость; и—в сад; к Пятифыфреву:

— «Клади—метлу, бляху, фартук: готов? И—туда»,—показал головою на улицу—«там: г у л э в у?»

Ему в ноги старик:

— «Ни-ни-ни, чтобы я!..»

— «То-то же...»

А больные—подглядывали: за профессором.

— «Дурень?»

— «С большим рассужденьем, а - без головы: голова только туловище занимает».

— «Она—отрастет: наживная...»

Матвей Несотвеев, солдат,—объяснял:

— «Стоголовою, брат, головою мозгует он; что ему там—без одной головы, без другой: как губерния, пишет словами!..»

Солдаты, Пупричных, толстовец любили больного; его называли: «профессор Иван», «брат Иван»; свой, родной.

Значит,—битый!

. . . .

Став в пару, и парой сходя по ступенькам подъезда, старик одноглазый, распятив венец седины надо лбищем, ловящим морщинами мысль, точно муху, поднявши щетину усов,—точно граблями, ими кидался; и был—вне себя; разрезалку держал он прижатой к груди, как державу.

И шел, как на бой:

— «В корне взять, человек»—поднимал разрезалку.

— «Есть мера вещей!»

Рассекал разрезалкою воздух, плеснув пестроперым халатищем, где разбросалося по голубому, пожухлому полю столпление пятен—оранжевых, кубовых, вишневых и терракотовых; пятна, схватясь, уходили в налет белосерый: в износ.

А с профессором шли: Николай Галзаков и Матвей Несотвеев; все прочие пялили глаз—на изъятие красное, скрытое черной заплатою; глаз же другой,—за троих: огонь выдохнув, сжался, став точкою, искрой; пузырь из плевы—человеческий глаз; так откуда же—огненный фейерверк?

Он говорил—вне себя:

— «На носу неприятель: сидит!»

Николай Галзаков и Матвей Несотвеев—ему:

— «То есть,—в точку: у нас на носу!.. Как возьмут Могилев,—нам могила».

— «Пустая!..»

А в спину им:

— «Волосы дыбом!..»

— «Ум дыбом: от этого—волосы дыбом!..»

Старик, подняв нос, как осетрий (ноздрею жару выдыхал), на кустарники красные и рогорогие, пяткой своей вереща, в сухолистьях,—шел.

СКВОЗНОЙ СВЕТ

Лучезарно встал сад пурпуреющими, просвещенными кленами: в неизъяснимое небо; боярышник яростный—рой леопардовых пятен; лилововишневый—вишневый лист до... золотистого воздуха: яснился, слетом ложась под зеленое золото бледных берез, где

оттенками медными ясени нежили глаз цветом спелого персика, перерождаясь в карь гари.

Присев к Пантукану с охапкою листьев сухих, Серафима Сергевна учила разглядывать колеры:

— «Ясени—красные; вишня—сквозной перелив; посмотрите-ка, что за листок? Но в два дня облетит: колорит; как бумажка сгорающая,—грязью станет».

В сиреневосером своем пальтеце, в разлетевшейся шали, кисельносиреневой, пляшущей в перемельканиях листьев, вся милый задор,—улыбалась; и—сравнивала:

— «Вот—боярышники; лист,—смотрите-ка,—вычерчен точно и прочно; крап—красный, в коричневочерном и в темнозеленом, бледнеющем до перламутрового; как полотна Грюневальда, немецкого мастера! Это ж перловое поле в коричневом мраке—Рембрандт»—отдалила она от себя сухой лист; и, склоняясь головкой, разглядывала:

— «Настоящее масло! Вот ясень—сангвина, а коли желаете без галлерей изучить итальянцев, то, миленький, глазом улавливайте—земляничные листики: легкие листики эти даны нам—в сквозном рафаэлевском свете!»

В глазах закатившихся—только белки от разгляда: себя же—в себе; диагноз устанавливала, на каких колоритах лечить этот глаз, чтобы глаз лечил душу.

— «Романтика: без воли к мысли»,—шутил Николай Николаич,—«вполне безобидная глупость... Работает, больных не портит: п л э т' и л ь?»

Ошибался: раскал добела интеллекта влагала в сознание: играми в листики; личико с мило малиновым ротиком, с очень задорным и розовым носиком тихо скосила; глаза—лазулитами стали:

— «И вот: собирайте, разглядывайте; колориты, в глаза излитые, из глаз разлетаются: наукой видеть, чтобы без истории живописи самому узнавать, что важней, чтобы точно понять, д л я ч е г о н а д о—з н а т ь!»

Не кругла, но не нитка: овальное личико; носик не виделся: прямотою произведенье Праксителя,—правильный, легкий, прямой; прямотою дышала.

Из зелени светлой ожелченных светлых древес, в белосером и в белосеребряном небе—день делался вечером; листьев набухшая пуча: в набухнувших кучах; вон—дерево темнозеленое, с отсверком, серосеребряным, бросило желтооливковый плащ своей тени на вы-

ступ деревьев, ярчеющий, солнечно желтый; за ним—уже розово-ржавое дерево: в сером тумане вставало; оно стало розовым, как запарело от пруда: едва.

НОМЕР СЕМЬ

Серафима Сергевна выслушивала Никанора Ивановича; он прикуривал; наискось виделась комната: склянки, пробирки, пипетки, анализы, записи; кто-то, весь в белом, над банкою с «a c i d u m»[1]; даже—«venena»[2]: из шкапчиков надписи.

— «Что ему нужно? Да комната! Я—нужен: с комнатой; что? Да какая-нибудь обстановка; уход нужен; нужна сестра—что: чч-то?»

Тут улыбнулся, пленительно, севши на стуле верхом, снял очки, чтоб очковою спицею в ухе копаться; казался усталым и вдруг без очков постаревшим архаровцем; вид—протестанта: в очках:

— «Согласились бы вы—за приличную мзду состоять: при Иване, при брате?»

Она—занялась.

Крик:

— «Хампауэр!»

— «Простите...»

На крик—вон из комнаты.

— «Лампу-то, лампу зачем ему дали!»

. . . .

Дверь—настежь: через коридор; там из двери открывшейся—черными хлопьями красный столб ламповой копоти бил; в центре очень неясно стоял кто-то в тихом пожаре, кого унимали, и кто объяснял:

— «Этот остров впал в грех: я его наказал извержением!»

Выяснилось: население острова, или стола,—муравьи: в мешке с сахаром.

Семь номеров на ее попеченьи: хлопот-то,—хлопот!

. . . .

Серафима Сергевна развесила висмут; с лекарствами стол—в световых косяках; ей же в спину глядел коридор; и там слышалось, как выключатели щелкали; в ламповых стеклах выскакивал белый, холодный, отчетливый блеск,—не огонь.

[1] Кислота.
[2] Яды.

Порошочек рассыпала, вздрогнув; и беличье что-то вдруг выступило на лице:

— «Плечепляткин,—меня испугали вы»—личико стало котеночком.

— «Вас—Пантукан зовет: лист он бумаги размазал».

Невидная глазу улыбка:

— «Размазывал прежде он ужасы: красками; и оттого—ночь не спал; я просила его счернить ночь простой тушью, чтоб глаз успокоился...»

Ставши улыбкой самой,—к Пантукану пошла: топоточком.

Предметы прозрачные глазу не видятся; и Серафима не виделась: вовсе: следила за жестом руки, зачерняющей лист:

— «Тушевание—важное дело!»

Нельзя было прямо понять: красота от добра, иль добро красотою рождалось; но то и другое—путем становилось: путем фельдшерицы.

. . . .

Шурк, топоты: ближе и ближе.

И—видели: по коридорам, ломаясь броской походкой, бежал Николай Николаич за пузом своим; за ним—пять ассистентов, подвязанных фартуками, со всех ног удирали; влетев, Серафиму Сергевну,—застигли врасплох.

— «А, рисунки?»—гнусил Николай Николаич—«сердечность—за счет интеллекта?..»

— «Так—клизму: научное знание, бром, чистый воздух, физический труд восстановят ему д р у а д е л ' о м»[1]—напевал Николай Николаич; и пяткою терся о пол:

— «Г у л э в у?»

Подписав приговор, имел вид добродушного лося.

Бедром и игрою ноги нервно вздрагивая, точно кожею лошадь, сгоняющая оводов,—припустился бежать; и все пять ассистентов, как оводы, с жужем и с шуршем,—за ним припустились: бежать и влетать в номера —

— номер два,

— номер три!

— «Ну теперь, Пантукан,—вы уснете!»

В своих нарукавничках, в фартучке беленьком, малой малюткою—светлым, пустым коридором пошла, где направо, налево захлопнули жизни средь стен сероватых (с каемкою синей); про-

[1] Права человека.

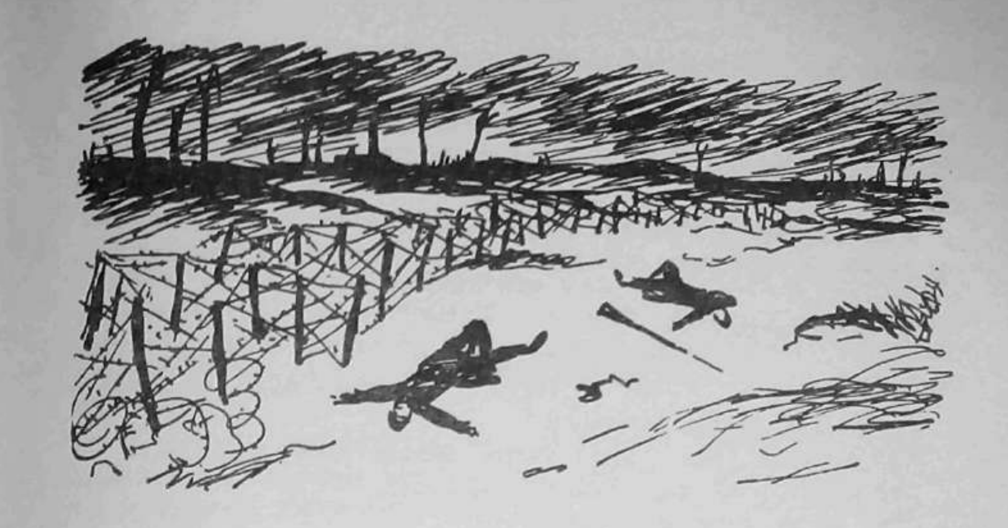
странство пласталося планиметрически; знала, что плющились люди, воссев на постели; и плющились рядом халаты их; днями бродила в мертвецкой: свершать воскресенье.

Не виделось, что, интеллектом и волей владея, в них делалась вовсе невидимой: вот —

— номер пять,
— номер шесть,
— номер семь!

Это—номер профессора.





ГЛАВА ВТОРАЯ

ПУБЛИЦИСТ ИЗ ПАРИЖА

ТЕЛЯТИНА, МЕЛДОМЕДОН, СЕРБОРЕЗОВА!

Ах, как пышнели салоны московские, где бледнотелые, но губоцветные дамы являлись взбеленными, как никогда, обвисая волнением кружев, в наколках сверкающих, или цветясь горицветными шляпами; и, как шампанское, пенилась речь «либеральных» военных сквозь залп постановочный из батареи Таирова: яркой Петрушкой; в партерах сидели военные эти, ведомые в бой Зоей Стрюти, артисткою (Ольгою Юльевной Живолгой).

Армия—отвоевала.

Земгор—воевал, двинув армию мальчиков, чистеньких, блещущих—в прифронтовой полосе, куда ездили дамы под видом раздачи набрюшников: воинам нашим.

И невразумительно, пусто, в белясые лыси просторов означился путь наших маршевых рот: до окопов, где вшиво, не знали, что делать. По знаку ж руки от Мясницкой и мимо Арбата фырчала машина, несущая Усова, Павла Сергеича к... Константинополю: сам генерал Булдуков не поехал туда, потому что от фронта был

явный попят: на Москву; и—попят на гуляи веселые Митеньки-свет-Рубинштейна.

Сгибалась под бременем всех поражений Москва; загрубела она шаркатней тротуаров, но лезла с Мясницкой в правительство: ликом великого Львова; и—криком афиш:

«Шестиевский. Публичная лекция. «Шесть дней на фронте!»— участвуют в прениях: Каперснев, Нил Воркопчи, Серборёзова, Мелдомедон...»

— «Примадура!»—

—«Из Эстремадуры!»—

— «Труа па!»

Тарантелла из-под кастаньет.

«Вундеркинд! Сима Гузик! Рояль фирмы «Д о п п е р к...»
Лет десять в те числа концерт объявлял.
Крик афиш, семицветие света!
Москва семихолмие!

— «Фрол Детородство: «Плуги, сохи, ломы, мотыки, железные ведра!»—на синем на всем.

И—«Какухо: Бюро похоронных процессий»—серебряным: в черном.

«Сишебов: Телятина»—с изображеньем быка.—«Нафталинник: Кондитер» и «Слишкэс: Настройщик»—и—«Гомеопат: Клеопат»—и «Оптическое заведение Шмуля Леровича».

Вывески!

Группа французских туристов приехала нас изучать; молодежь: Николя́ Колэно́, Пьер Бэдро́, Поль Петро́ль, Онорэ Провансаль, Антуан де-Данти́н, Жан Эдмон Санжюпо́н и Диди Лафурш́эт; Катаками Нобу́р, японский профессор,—сидел: изучал символизм; Суроварди, мечтательный индус, гандист, приезжал, чтоб помочь Станиславскому.

Лорд—

— Ровоам Абрагам —

— собирался пожаловать к нам!

ЦУПУРУ́ХНУЛ

С конюшнею каменной, с дворницкой, с погребом,—не прилипающий к семиэтажному дому, но скромным достоинством двух этажей приседающий там, за литою решеткою, перевисающий кариатидами, темнооливковый, с вязью пальмет—особняк: в переулке, в Леонтьевском!

Два исполина подперли локтями два выступа с ясно зеркальными стеклами; глаз голубой из-за кружева меланхолически смотрит оттуда на марево мимоидущего мира; блистает литая, стальная доска:—

— «Ташесю́!»

Там асфальтовый дворик, где конь запотевший и бледножелезистый,—с медным отливом, с дергливой губой и с ноздрею, раздутой на хлеб,—удила опененные нервно разжевывает, ланьим оком косяся на улицу, на подъезжающий быстро карет черполаковый рой.

Котелок, иль цилиндр из квадратного дверца выскакивал и выволакивал веющих перьями дам: прямо в двери подъезда; глядели мальцы, Петрунки и Коко́шки, дивясь: на пальто Петрункевича, на котелочек Коко́шкина.

. . . .

Над вестибюлем профессор Цецесов, пыхтя, волочится: под бюстом; Пэпэш-Довлиаш,—психиатр и профессор,—проходит—в простертые бархаты барсовых шкур.

Тертий Чечернев,—

— соединение умственных смесей
в процентах —
— из Розанова — двадцать восемь, из Ницше — пятнадцать; и — десять из Шеллинга (прочие тридцать—из «У т р а Р о с с и и»); вполне европейский масштаб —

— поднялся.

Худорусев: он славянофильский журнал издает; и—другой, музыкальный, сливая Самарина и Хомякова со Скрябиным и Дебюсси: истерическая патриотика, но—артистическая библиотека; щелкает с фронта: при клюкве и при позументах серебряных.

Доктор Кишечников: —

— водолечением лечит, а лечится сам — настроеньем; собачник, охотник; теперь — гидропат: скоро, волей судьбы —

— генерал-губернатор Москвы!

Он—прошел!

Академик ста лет, знаменитость космическая, Цупуру́хнул,—несет глухоту, багаж знания.

Гул:

— «Цупурýхнул идет!»

И все вздрагивают, что не рухнул под тяжестью переворота в науке, которой и не было до Цупурýхнула: сам ее выдумал; перевороты устраивал.

Каменный, старый титан, развивавший какое-то там Прометеево пламя, застывшее мраморной палкою (после сверженья титанов); изваянность этой фигуры в прорду гранита давила; и вздрагивали:

— «Как?»

— «Он жив?»

Не выгамкивал даже: вид делал, что выгамкнет; и от возможности этой испытывали сотрясенье составов.

. . . .

Хозяин-то где,—Ташсю?

На Мясницкой?

С Мясницкой!

Как раз появился в дверях; с ним—высокий блондин, им вводимый: «Князь»,—

— или —

— Мясницкая!

Весь полновесне он; и весь—зàдержь; глаза голубые и выпуклые; бледножелтые, дóбела, волосы; четкий пробор; желтопрямой, но полончивый; взгляд весь в серосветлом; сиреневый галстух, завязанный точно и прочно.

Его привозили; к нему подводили; о нем говорили; и он говорил; он давал указания, распоряжения, ставил задания, ширясь с Мясницкой, которая осью событий уже становилась в усилиях свергнуть царя, при поддержке—московского общества, деятелей контрразведки, генералитета.

Подслушали дамы, как бархатным тенором он:

— «Николай Николаевич...

— «С Павлом...

— «Да, да...

— «Николаевичем!..»

Шел он —

— там —

— в веер дам!

ЛИЛИ́ КЛАККЕНКЛИ́ПС

Нет, Лили Ромуальдовна фон Клаккенкли́пс,—что за прелесть! Жемчужина: голая вся; губки—кукольны: с выстрелом патриотических фраз; офестонена грудь; нечто виснет с волос, бледней пепла, подобное разве сквозному чулку: Византия, Венеция, Греция!

Поза—портретная; взгляд—леопарда, а стиль—Леонардо.

Она говорит: пред отъездом своим в Могилев царь расплакался; с немкою сделались тики.

И Флор Аполлонович Боде-Феянов, сенатор, с пергаментным ликом,—пергаментным ликом:

— «Как, что?»

— «Пятка дергалась?»

— «От черногоренок, чешущих пятки?»

Лили Ромуальдовна, или Лили, или—Лилия,—встрепетом белого веера:

— «От»—закативши глаза—«Маклакова!..»

И так ангелически:

— «Ножик оттачивают Пуришкевичи... Стало быть, стало быть: вы понимаете?»

Флор Аполлонович Боде-Феянов—не слышит: глухой.

— «Посмотри, как она с ним»—жена, старушенция, белой лорнеткой ему показывает, что Дулеб Беблебеев с Натальей Витальевной Херусталеевой в зыбь ее шелка зеленого, в серое кружево, тонет.

Но муж—с глухоты.

— «Каконàсним — словако-хорват» — потому что слова, экивоки, наречия, нации перемешались в Москве: Булдуков, иль Булдэйер, Аладьин, или де-Ладьэ́н,—разберись!

Мебель—синезеленая; оранжеваты—фарфоры; и бирюзоваты едва абажуры; резьба надзеркальная; скатерть, драпри, бронзировка; и дымчатый, горный хрусталь.

Фелофулина Юлия и Вуверолина Оля, подруги, арсеньевки, девочки; за Моломолева Юлия выйдет; и за Селдасесова—Оля!

Болтают:

— «Лизаша, арсеньевка,—наша...»

— «С которой...»

— «Которую...»

— «Видели: в кафешантане ночном».

— «Клеся Лосев там был, Валя Вралев».

Юнец, земгусар, Гога Боско, серебряной шпорою щелкает пред Доротеей Иоанновной Шни: платье—кремовый фон; в нем—пляс палевых пятен, прохваченный дикою сизью.

Шлеп, шопоты, шварк, шепелястящий странными смыслами.

Голос хозяйки:

— «Вниманье,—мэдам и мэссье!»

Арфу вынесли: ставят.

Почтенна, как «Русские ведомости», к этой арфе выходит профессор, мадам Айхенвальд, Папэндикэ, в смесь сизых и чернозеленых тонов и в них тонущих пятен: над чернолиловым ковром.

И—подносики с чашками, бирюзоватыми, тихо носимыми (два белобаких лакея).

И Питер Бибаго—притронулся к чашке; какая-то дама дотронулась веером до—я не знаю чего.

Кто-то робкий, в визитке бесхвостой, визиткой обтянутый, тихо вошел: прошел в угол.

НА ФРОНТ: В ГОРИЗОНТ!

Пред столиком, крытым рыжавою скатертью, в клетчатой паре (кофейная клетка) стоял психиатр, Николай Николаич Пэпэш-Довлиаш, озираясь на карие полки с кирпичною книгой, и желтую кожу с дюшеса счищал; он двум юношам, бросившим фронт, Казе Ляхтичу и Броне Бленди, горчайшими, правокадетскими правдами сыпал,—в обстании кресел кирпичного цвета, дивана, такого же цвета и полок с такого же цвета подобранными переплетами.

Пухвиль из кресла ему поговоркой, его же, с которой он в «Баре-Пэаре» являлся:

— «Вулэ́ ву гулэ́?»

Николай Николаевич выставил нос из-за груши с обиженным фырком:

— «Дела-дела»—ножик фруктовый приставил он к шее:

— «Тут вот!»

И усы стал обсасывать, видя, что «князь» с полновесием, с лаской выпуклых и водянистых прищуренных глаз приближался; хозяин, хозяйка, две дамы—за «князем».

«Князь» в мягкие руки взял руку Пэпэш-Довлиаша и с долгою задержью жал эту руку,—руками,—стараясь, как в душу проникнуть, но... но... не глазами, которыми щупал он полки за лысиной; и рассыпался в почтительной просьбе: хотелось бы «князю»



своими глазами увидеть то дело, которым гордилась Россия — лечебницу.

Но Николай Николаич, чтобы не казаться польщенным, гримасочкою кислосладкою:

— «Милости просим!»

И тотчас с подчеркнутою грубостцею, которой так действовал он на больных, быстро выкатил тусклый, бараний свой глаз и, уставившись им в полновесного и белотелого «князя», подсвистывал и подтопатывал толстою ножкою.

— «Вы — что?»

— «На фронт?»

— «Гуле́ ву!»

«Князь» же, выпростав руку свою и убрав комплимент, посмотрел на него синевой под глазами, вперяясь в огромные функции руководимого им механизма; и пафос дистанции вырос. Пэпэш-Довлиаш, подавившийся грушей до слез, ощутил с перхотой неуместность вопроса о фронте, пред этим вперением глаз мимо кожаных кресел рыжавого, ржавого цвета и мимо обой, тоже ржаво-рыжавого цвета, —

— во фронт, —

— в горизонт —

— над волной желтоватого газа, над черным перением шлемов железных, над ухами бухавших пушек, над... —

— И Николай Николаич Пэпэш-Довлиаш, подобравшись пред строгим достоинством этой не личности — «л и к а», — взяв нежно за пуговицу «лик», стал выкладывать плод размышлений своих о войне.

«Князь» же, давши урок поведенья и спрятав дистанцию: раз о больнице, которой гордится Россия, в которой теперь восстанавливает свои силы профессор Коробкин, то — с паузой долгою, после которой — профессор, трудами которого тоже гордится Россия:

— «Он — вверен вам!»

И Николай Николаич, московский масоон, ощутил в оконечности пальцев, — знакомый, особый нажим: нажим... лондонский.

— «Можно надеяться?..»

И... Николай Николаич... почтенное имя, как пойманный школьник, — с протянутой челюстью, выпучив губы, припал всей проседой бородкою, точно девочка на грудь исповедника, к белым крах-

малам и выложил принцип лечения: на основании психологического силуэта, иль данных вопросов — допросов...

— «Болезнь все же — есть; но... физический труд, чистый воздух, бром, клизма и...»

«Князь», не услышав ответа, — с хозяйкой, хозяином, с дамами, — твердо прошел, как сквозь стены — в историю —

— мимо Мо.квы,

мимо Минска и Пинска —

— на фронт,

— в горизонт, —

— попирая ковер, на котором скрещалися темные и серосизые полосы в клетчатые, темносизые шашки.

Пэпэш дожирал свою грушу, как тигр полосатый: с обиженным видом; но тут Цупуру́хнул к нему подошел с анекдотом: не с мыслью, которою не удостаивал молокососов седых; анекдот повторяли в Москве, Петербурге, Стокгольме и Праге; и даже он был напечатан Корнеем Чуковским — в известнейшей книге: «В е л и к и е в м а л о м», в главе «Э к и к и́ к и у с т а р ц е в».

Как столб телеграфный гудел Цупуру́хнул; но зло приседали за блеском очков желтоватые глазки Пэпэша.

В ВИДУ ЭТИХ СЛУХОВ

Сюртук распашной.

Кто такой? Куланской.

Со вплеченной большой головой; лоб — напукиш, излысый; в очках роговых, протаращенных борзо и бодро.

Такой молодой математик.

Мадам Ташесю́:

— «Что, зачем, почему», вопрошала глазами мосье Ташесю́.

— «Ах, — почем знаю я», ей ответили издали плечи мосьё, — потому что: с той самою мягкою задержью князь придержал Куланского — руками за руку! И несколько брошенных тенором фраз: о тяжелых годах: об ученых трудах, о научных потерях, о случае зверском с известным профессором, о неизвестных интригах, о методах, тоже известных, в известной лечебнице, о перспективах здоровья, но лишь при условии полного отдыха, а не депрессии порабощения воли, — гипноза, который порой практикуется даже по-

чтеннейшими психиатрами; ими гордится Россия; но методы есть и иные.

И вдруг,—уведя Куланского за складки драпри:

— «Ввиду слухов, досадно проникших уже в иностранную прессу,—позвольте же мне...»—с мягкой задержью «Это—вопрос деликатный, но»—ухо из складок драпри!

— «В международном масштабе... Военное время... «Земгор»... И политика!» - -

— «Что?»

— «О политике!»

— «Да: Николай Николаич... почтенное имя... Но есть увлечения; есть заблужденья»... —

— «О чем он?»

— «Певички».

— «Ввиду этих слухов»...

. . . .

И, не дорасслушавши, выразила ухверткая дама глазами тяжелый вопрос свой:

— «К чему?»

— «Да отстаньте»,—ответили издали плечи.

Расскажут из верных источников, что Николай Николаич, Пэпэш-Довлиаш, увлеченный каскадной певицею, Эммой Экземой, бросает лечебницу и что Земгор—расширяет лечебницу эту.

. . . .

«Мясницкая» выразила пожеланье: с осмотром лечебницы соединить и визит, нанесенный больному профессору; кстати: составим свое представленье о твердости памяти; кстати: составим о ходе болезни отчетец со слов Синепапича, тоже профессора нервных болезней; условлено: вместе явиться, втроем, с Куланским, с Синепапичем—

—«н а м»!

Кому—«н а м»?

Куланскому?

Он—преподаватель: не «м ы».

Синепапичу?

Что может знать Синепапич? Оттенки психозов, маний.

«Князю»?

Значит.

Рука с **той** дистанцией, с **тою** душой, от которой сходили с ума, поднялась, и оправила галстух сиреневый; четкий пробор жидких, добела бледных волос и овал бороды, и глаза, голубые

и выпуклые, как стекло, поднялись надо всем; и летели уже- в горизонты —

- истории ..

Мимо подсвечников бронзовых, темных, и мимо молочного цвета борзой, постоянно распластанной, он по коврам за стеклянной руладою Лядова шел с выражением царственным—

— там —

— в веер дам —

-- благодарственный!

ГУЗИК, ПАН ЯН

Адвокат Пероковский пленил перспективами: слажено, сглажено, схвастано, спластано, намилюковено,—запротоколено, при резолюции: мы—протестуем; и мы умоляем,—всеподданнейше: Львова, русского,—дать; и убрать немца,—Штюрмера.

Подписи: —

— фон Клаккенкли́пс, Пудопаде, Клопакер, Маврулия Бовринчинсинчик, Амалия Винзельт, Пепардина, Плигезев, Лев Подподольник, Гортензия де-Дуроприче, Жевало-Бывало, Жижан Дощан (Ян), Педерастов (Иван).

Сели: слушали: и «в у н д е р к и н д», Сима Гузик сидел: слушал,—тоже...

. . . .

Щелк, дзан: капитан Пшевжепанский, пан Ян!

Эксельбантом блистает и шпорою цокает; в вечной мазурке,—летит кенгуровой походочкой; ротик, готовый всегда смехотнуть, но и скорбно зажаться,—зажался: перед патронессой, хозяйкою, в голубопепельном платье, голубоседою; она, не прервав разговора с Пуклатичем, руку ему—с перепудром, с курсивом ресниц:

— «Ну?»

— «И?»

— «Мы?»

— «И—мы: заняты?»

Тут же лакею, с курсивами, с теми же:

— «Боде-Феянову чаю».

Лакей полетел.

На курсив отзываясь окаменевьем мгновенным весьма погруженного в «в е с ь м а д е л а» человека,—пан Ян «откурсивил».

Отмечено: тем же «курсивом» ресниц.

И немедленно — к Павлу Сергеичу Усову взглядом, давно приуроченным к мебели:

— «Ну?»

— Мы начнем?»

Патронесса, она — интонировала: без единого слова, — лорнеткой, губами, глазами, курсивами.

А капитан Пшевжепанский курсировал: курсами, ставя брамсели, снимая марсели; на всех парусах — отлетел: рот, готовый всегда смехотнуть, но и скорбно зажаться, едва смехотнул, про себя, перевинчиваясь на иные какие-то курсы; он — свой оборонцам и свой пораженцам; и красненький с присморком носик, и тихие лихики, глазики, с думцами врунцы, с распутинцем — путинцы, с Дунею Черевнинòю и с Мунею Головинòю!

И «керенка» в марте уже похлопочет: пристроит при Керенском; корень в Корнилове пустит в июле, чтоб в августе — выдернуть;—

— нынче бородка — «а ля Николя-дё»; под крепкою кепкою станет она

— «Ильичёвкою».

И, коммуноид, — занэпствует!

. . . .

Павел Сергеевич Усов, профессор, принявший в объятья последние вздохи Толстого, встал в синезеленое поле обой с черносиними выливнями, точно волн, в ночь распластанных, чтобы о противогазах докладывать.

. . . .

Он — доложил.

И теперь «вундеркинд», Сима Гузик, детина со стажем (лет пять как он бреется), — встал; Хеся, сестра его, — кременчугское диво, покрытое волосом; дядя же Осип — Жозéф Гужеро: Канн, «Креди́ Лионэ́»; два кузена: хохò: Яша Пэхоо — в «Берлинер Музик-Ферейн» Гельбше; а Пэх, Сашка Пэх, — дон Пэхалесом сделался (Лос-Анжелос): он женился на дочери дона Мамаво, из Монтовидео — плантации пальм, ананасов на острове Пàдре-Психóс!

С видом гранда, взвив волосы над клавишментом, скатился руладой под складки портьер сизоватых со вляпанным бледномалиновым бархатом бабочек.

ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ

Шаркает шаг.

Это комнату

пересекает

Велес-Непещевич!

Отдавши лакею портфель, котелок, из портьер, — сквозь портьеры кидается черным квадратом за скачущими, карекрасными взглядами; физика, — вовсе не психика: бычья, надутая жилами, шея; и не поворот головы — геометрия корпуса, справа налево, на тоненьких ножках, со штрипками, мимо расблещенных лаков: под зеленоватое зеркало.

В зеркале: —

красный квадрат

— подбородок!

Злы щелки глазные: с укусами; три поперечных морщинки щетиной свиной заросли; и визитка не наших фасонов; и брюки — не наших фасонов, а лондонских.

Щелк каблуков лакированных —
в зеленоватое зеркало.



Свертом безлобо, безглазо, бросается в черную комнату, точно в спокойное кресло из черного дерева.

С кресла Пампесиас, граф Небеслинский-Монолиус, в недра московские брошенный беженец, — к Петеру Бакену:

— «Кто он?»

Развалина и фармазонистый нос, камергер, Петер Бакен, остзейский помещик, — ему:

— «Гм!»

Пустивши дымочек:

— «Звено, так сказать: меж Земгором, Булдойером и Булдуковым».

«Так значит — со всяческой властью?»

— «Пока еще «при».

— «Я — не понимаю вас».

— «Вы поглядите на «князя»: не личность, а «лик»; и взгляните на

этого: «бык», а не «лик»; ангеличие «князя» покоится, все,—на «быках»; «князь» обсасывает, загибая мизинчик, куриную косточку; функции этого—резать цыплят».

— «Так».

Пампесиас, граф Небеслинский-Монолнус, в черный атлас вырезного, широкого кресла, в окрапы коричневобелых и розовых лапок откинулся—над синебледною, с просинью, скатертью.

Зашепелявили фразами, брошенными из-за пепельниц в цвета ночного искрящийся лак этажерочек; пепельницы—из оливковожелтых камней, запевающих цвета небесного пятнами; волны обойных полос, синусоид, свиваемых кольцами,—сизооливковых с синезелеными—в отсвете фосфора. Шопоты. Шварк шепелестящий.

Шаркает геометрически—черный квадрат; глазки, клопики, карие.

О, ДОН МАМАВО!

Какие-то кляклые вляплины пальцев—по клавишам: в смеси тонов,—темносинего с темнозеленым.

А там,—из угла:

— «Орьентация, здравствуйте!»

— «Две»—лопнул, точно струна клавишмента, Велес-Непещевич.

И—вздрогнула там онемелая дамочка, влепленная в фон обой: плачем клавишей.

— «Две!..»

— «?»

— «Раз—из Лондона; два—из Парижа».

И—в ухо фальшивым фаготом он:

— «В Лондоне—против Пукиерки... Этот Коробкин Пукиерке сбыл изобретенье; хитрый кинталец пропал».

— «Уговор?»

— «Может быть»,—громко лопнул Велес-Непещевич: в плач клавишей.

Из меланхолии темных ковров обессиленно встал меломан:

— «Тсс!»

Велес-Непещевич подшаркнул:

— «Пардон!»

В ухо: сипом:

— «Приличная форма надзора—лечебница; так полагает Булдойер и лорд Рододордер; а лорд Ровоам Абрагам, массон лондонский, верит Пэпэшу, массону московскому».

— «Вздор!»

Непещевич откинулся, вышарчил ножкой, безглазо вперяяся красною физикой:

— «Вздоры—законы истории».

— «То же,—«и с т о р и я»—вспыхнуло гневом в душе Пшевжепанского, но он увидел: морщинки, три, прокопошились иронией:

— «Сам ты «с и с т о р и е й».

И капитан Пшевжепанский глаза опустил: на истории наших позоров он строил карьеру.

— «Так вот оно как...»

— «Оно именно—т а к».

Сверт: и—красный квадрат, подбородок,

всем корпусом—

—черным квадратом—

—ударился в Гузика:

— «Вздор этот—тоже «с и с т о р и е й»: лорд Рододордер построил свое заключенье о том, что в Мельбурне Друа Домардэном себя называл Домардэн—на досье дон Мамаво, а «д о н» этот—зять «дон» Пэхалеса,—пóпросту Пэха, двоюродного брата»,—на Гузика—«брата берлинского Пэхова; Гузик—«история»: лапу Берлина и лапу Парижа связал музыкальными лапками... Ишь как»—и ухом наставился: «О, дон Мамаво: лалàла... лалàлала»,—юркая ножкою, он подпевал.

Вдруг себя оборвал:

— «Потому что,—Жозеф Гужерò, орьентация Пуанкаре-Панлеве,—общий дядя: Пэхàлеса, Пэ́хова, Пэха и Гузика».

«Плè-пèле-плè»—переплескивал клавиш: под пальцами Гу́зика.

— «Вздоры историй сплетаются этими трелями, в бич и в бабàц чемодана; а впрочем, история—вздор: лалàлà».

Клака клавишей, как оплевание, как оскорбление: прянно раздряпана, дрянно разляпана—в онемение, в млелие, в тление!

Вляпана: клякой пощечины!

. . . .

Дама, уйдя в перелепеты, вляпана позой портретною в волны полос, синусоид, свиваемых кольцами, сизозелеными; а меломан обессиленно клонит лицо в меланхолию сизооливковых фонов; а завтра он с Керенским—в обморок.

— «О, дон Мамàво: лалà-лалалàла»—фаготовым голосом бзырил, как бык.

Он Бодлера сумеет прочесть!

Что вы думаете?

Вдруг подбросил свои—три—морщинки; и щелками глаз укусил:

— «Арестована Застрой-Копыто: сношение с Пэ́хоо, поджог чердака; Гужеро̀ с Домардэном прислал ей валюту».

И ножка проюркала:

— «Ставка—за нами!»

Морщинки,—три,—плакали. Красный квадрат подбородка—под ухо; и жилы,—две,—выпыжились; и пан Ян, не герой, содрогнулся: вот клоп!

— «С нею виделись?»

— «Вам что за дело?»

Сказать не сказать.

— «Булдуков—моет руки»—уклончиво.

— «Мы—тоже вымоем: кровью».

Они посопели.

— «По-моему,—очная ставка: в присутствии Ставки; пока за ожа князя—вы; я, пока,—за бока: Булдукова; выписываю Жюливора,—раз!»

Корпус сломал.

— «Сослепецкого—от Алексеева: два!»

И морщинками в чернолиловый ковер он безглазо уставился, изображая,—

— что —

— Жюль Жюливор в Хапаранде сидит с Каконáсним, словако-хорватом, иль сербо-мадьяром; и там перлюстрирует корреспонденцию; Цивилизац, бывший главный заведующий предприятия «Дом Поссейдон» (Сухум, фрукты), отсюда, —

— чрез Жонничку, горничную мадам Фразы, отличнейшим способом их обо всем орьентирует; —

— Фраза, любовница Петера Бакена — с Эммой Экземой, —

— а с Эммой Экземою —

— он!

Это сообразив:

— «Ну,—пока...»

Сверт; и мимо зеркал—за портьеру: в наляпанный бархат малиновых бабочек.

КОКА: КОРНЕТ

Ян Пшевжепанский с гадливой иронией думал, что—тот же все, в тех же бегах—

— по Москве,—

— по Парижу,—

— по Лондону,—

— в том же своем котелке, цвета воронова; с тем же самым портфелем тугим, цвета воронова, вылетал и влетал он (во все учрежденья), везде и нигде, принимая участие видное, часто невидимое, из-за пыли, им поднятой, точно за пыльным ковром, выбиваемым палкою: хлоп — Протопопов; хлоп — князь!

Но отхлопавши акт исторический, новый отхлопывал, вовсе не видясь, как маленький клопик; прекрасная, синезеленая комната эта, —

— вся,

— вся, —

— проклопеет!

. . . .

Последняя ставка,—да это же царская Ставка: хлоп! С нею история, как от пинка ноги—хлоп!

Капитан, не герой, — задрожал: как рыдван опрокинутый, перегрохотнуло громадное тело России —

— за Минском, за Пинском!

. . . .

Пыхтя, —

— передергиваясь, —

— крепким деревом крякая, фыркая дымом, землей, — над окопом покачивалась тупоносая танка; бетон, как стекло, разбиваясь на дрызги дивизий, дрежжал, режа воздух над черным перением шлемов железных!

Как тощая стая собак, хвост поджавших, вдали,—пулеметы оттявкали; воздух высвистывал тихою пулею; не то—зефиры, не то—визг разбитых дивизий...

. . . .

Пан Ян, не герой, успокойтесь же: это — за окнами, в окна, —

— бряца́ло, баба́цало, цокало, кокало!

Конница!

Кока, корнет, перед нею прококал конем гнедороговым: из ночи в ночь.

МОЛКНЕТ ВСЕ

Молкнет речь; молкнет Русь: молкнет ночь—в шелестениях поля несжатого...

Точно последняя ставка, там поезд, из морока черного ясными окнами мокрых вагонов сверкнув, в черный морок летел, к царской Ставке—за ставку: туда, где блистали, трясясь световыми лучами, прожекторы, пересекаясь, взлетев и пав ниц, чтобы вылизать светом полоску травинок: —

— рр —
— рры́рр —
— рр —

— приятно порыкивая, морок ухал: орудие дальнее; и уже ближе, взблеснувши, рванулося все, что ни есть, молниеносно ударивши в ухо, как палкою: тяжелобойное! Перст световой показал на поля; поле — затарарыкало, плюнув свинцом: пулеметы!

Сквозь них, как раздеры материи шелковой—ррр—о̀ры—роты из проволочных заграждений.

И—«бац»: отблистало; и—«бац»; все—затихло: нет роты; а в том самом месте,—те ж оры и дёры: туда прошел полк.

. . . .

Из купэ (первый класс)—треск отрывистых фраз:

— «Рузский».

— «Штюрмер».

— «Тох-то̀х»—грохотало: и ясные окна летели из мороков.

— «Списочек».

— «Жак Вошенвайс... Неразборчиво что-то... Цецерко... Цецерко...

— «Кинталь?»

— «Немцы... Тоже—профессор Коробкин».

Тох!—

—Окна вагонные, взрезавши мрак, улепетывали: мост!

— «Лейпцигская ориентация: перепродажа открытия с ведома изобретателя, или... без ведома».

— «Выяснить».

— «Изобретатель—больной».

— «Если не симуляция».

— «А экспертиза?»

— «Рассказывайте: все возможно... Всего вероятней: Цецерко-Пукиерко, выкрав открытие, скрылся, когда слух в союзную прессу прошел.

«Цац-дза-за̀ц»—

— буфера переталкивались: остановка, огни; из них—ветер выплескивал,—песенкой:

Наш солдатик, — шагом марш!
До Карпат: от Торчина...,
Шел, а рожа — скорчена.
И — опять же: «шагом марш» —
От Карпат: до Торчина.

Защищали царский трон
Мы, а наши олухи —
Раздавали в эскадрон
Вместо пушек и патрон
Палки да... подсолнухи.

Брудер, брудер, — вас ист дас?
Как залопалися враз
Бомбы красным отброском:
Продавали оптом нас
Под Ново́-Георгъевском.

«Тох» — и —

— ясными окнами темных
и мокрых вагонов —
— сверкнув, —
— в черный морок

экспресс несся дальше: из черного морока: из царской Ставки — в Москву!

РОЖА СКОРЧЕНА

Третий, четвертый класс!

Все—солдатня; лом тел в стены: ни взлезешь, ни вылезешь; кто-то порты менял; тихий мужик из Смоленска сидел с пере-

вязанною бородою и с клеткой, поставленной в ноги; достав конопляное семя, украдкой щегла кормил с кряхтом.

— «Толи́чество...»

— «Что?»

— «Да калек».

— «Надо прямо сказать, что избой—мировой!»

Но—брань сдавливалась, поднимаясь от брюха поджатого и́ком пустым.

— «Поле упротопо̀пили!»

Поле телом посейчас,
Точно скатерть, стелено:
Порадела, знать, за нас
Вырубова-фрелина.

В тыле — воры; в тыле — срам;
Вороги да воргни...
Микалай Калачч нам
В рыло — крест Еоргия...

Удирали от фронтов
Роты наши втáпоры.
Барабанили про то
Рапортами прапоры.

Кант серебряный и голубые рейтузы (корнет) и высокий худой офицер перетискивались меж шинелью из первого класса чрез третий; глядь—под сапогами лежит голова—носом, вмятым в подошву; на носе—каблук.

— «Ездуневич,—задание ваше...»

— «Так точно!»

— «Собрать о бумагах: какие, где, сколько; составите списочек; обиняками—об э т о й Ц е ц е р к е; вы служите штабу и русской общественности...»

— «Точно так!»

— «Не жандармам».

Щелк, дзан—перетиснулись через вагон: он—взорал:

Тифами кусает вошь;
Земец рыщет пó-полю,
К горлу приставляет нож:
«Законстантинополю!»

От Мясницкой прямо в Яр —
Спрятаться под юбкою —
Храбро лупит земгусар,
Клюкнув красной клюквою.

Смолкли.

Рассвет: под бережистой речкой,—костер; выше—травы ходили, гоня от фронтов свои ды́мы, как полк за полком, на Москву—в безысходном позорище, а не в России, которая выплакала на юра̀х безысходное горе в бездомное поле.

ПРОТЕЗ БЫЛО МАЛО

Москва, —

— желтизна, оборжавившая за военные годы предметы, —

— в окне,

к а к в налете; тела, вскрики, ящики; перли; корнет Ездуневич, сщемленный шинелями, перепирал локотню; погон розовый, ражая рожа, наверное, прапора, дергала: в пёры и в дёры.

— «Гого̀!»

— «На побывку!»

Худой офицер с синевой под глазами—высматривал.

— «Штабс-капитан Сослепецкий?»

— «Так точно!»

— «Из Ставки?»

— «Так точно!»

— «Позвольте представиться: я—капитан Пшевжепанский».

И он подал руку.

— «Вас ждет генерал-лейтенант Булдуков».

Пшевжепанский, блестя эксельбантом и цокая шпорой, вприпрыжку бежал кенгуро̀вой походкою; красненький, с присморком носик и ротик, готовый всегда смехотнуть.

Сослепецкий за ним:

— «Как с поездкой Друа-Домардэна на фронт?»

— «До известий от Фоша задерживается».

И ротик, готовый всегда смехотнуть, но и скорбно зажаться,—зажался.

Друа-Домардэн, публицист из Парижа, секретно поехал через Хапаранду-Москву в Могилев, но телефонограммой из Ставки поставились цели: под формой свидания с деятелями Земгора продлить пребыванье в Москве Домардэна.

Не знали, какая тут партия: сам Манасевич-Мануйлов, иль сам Милюков.

Вышли.

Площадь—песоха; над ней—навевная, набежная пыль; выше—тучищ растрёп в дико каменном небе.

Среди солдатни, отдававшей карболкою и формалином, которым воняли вокзалы московские,—штык: лесомыка какая-то драная чмыхала носом при нем; этим самым добром расползалась Россия во всех направленьях: не менее, чем миллионов семнадцать такой приштыковины, съеденной вошью, полезло на все,—от Москвы до... не знаю чего.

Положение фронта менялось: попёром назад.

И отряды особые, поотловив дезертиров, тащили плошалый, козявочный род; новодранцы седявые, злые, едва пузыри животов колтыхали на фронт, с сипотой козлогласяпро грыжи, трахомы, волчанки и черные тряпочки легкого.

Прокостыляла обрублина.

Еще протез было мало; шинельный рукав вырывался, на плечи зашлепанный; а вместо глаз—стекла черные: кашлем оплевывали; видно,—прямо из газовых волн; глаз—с подъедою.

Противогазовой маской наделась болезнь.

НО ПРЕДАТЕЛЬ В МОСКВЕ

Сели в автомобиль.

Капитан Пшевжепанский давал объяснения:

— «Невероятный скандал: «Пети Журналь», напечатавший «Ну сомм кокю» [1] Домардэна...»

— «Я знаю»—его перебил Сослепецкий—«ответ на «Гефангенер» [2] в «Франкфуртэр Цайтунг...»

— «Не знаете: «Популо», после уже, фельетонами брякнуло «Дело Мандро», так что случай с профессором, исчезновенье Мандро и Цецерки-Пукиерки—кухня того же предателя: так-то!»

— «Предатель в Париже?»

— «Предатель в Москве».

— «Как?»

— «Так».

[1] Мы обмануты.
[2] Пленный.

— «Две информации?»

— «Ваша?»

— «От доктора Нордена: из Хапаранды».

— «Моя же,—«Пермит-Оффис» [1]: Лондон».

Коляска: неслася испуганно—немощным, мнимо умершим, пергаментно желтым лицом старикашки; то—миродержавные мощи сановника; и—унеслась в мнимый мир, где в паническом беге неслись пешеходы, и где мимоезды пролеток метались в расставленных улицах.

— «Дальше?»

— «Заметка в «Бэ-Цет», где указано: американский шпион Дюпердри продал краденое: в Вашингтон...»

— «И?»

— «Молчание прессы, по знаку руки,—недель пять».

— «?»

— «Вдруг—арест Дюпердри».

— «Дуэль гадостей!»

Палочка городового взвилась:—

—авто, фыркнув, застопорило —

—грузно митрополичья карета проехала; высунулся на мгновение белый клобук с бородою, седейшею, преосвященного: —

— света не взвидя, матерый, испуганный лапотник, шапки не сняв на распутинца, с матерней руганью —

— бросился прочь!

Палка городового упала: авто, фыркнув, ринулось:

— «Дальше?»

— «Допрос Дюпердри, в результате которого—вслед за Друа-Домардэном,—секретнейшее: Домардэна в Москве задержать».

. . . .

Так и ломит заборами ветер, летя на Москву; улизнул в переулок, сигать по дворам; вдруг по крыше лузнул; и, как ветром надутый картуз, переулок приплющился; ветер, махнувши Плющихой, ударился—в Брянский вокзал!

И туда же авто.

[1] Учреждение, в котором выдавались визы в Лондоне в годы войны.

ГЕНЕРАЛ БУЛДУКОВ

Адъютант Сослепецкий был зол: с Александровского, чорт, вокзала—на Брянский.

— «Эй, где генерал Булдуков?»

— «А вон там!»

На путях запасных, за кордоном, в парах, переблескивал поезд-игрушка, неделями пар разводя; за зеркальными стеклами щелкала белоголовая пробка; тут пил Булдуков с Бурдуруковым, при адъютанте, с певичкой, Азалией Пах, и с артисткою, Зоею Стрюти; Велес-Непещевич с портфелем при них состоял (для особых их поручений).

Из окон маячили тени.

Под окнами штык часового острился,—не выблеском стали, а—злым остроумьем; не бил барабан ходом маршевых рот; прапор — рапортовал: —

— «pа́з!»

— «право!»

— «Pа́з!»

— «право!» —

— Ветер захватывал голос: едва долетало:

— «Расправа!»

— «Расправа!»

И—песня плескалася:

Эй, забрили наши лбы
Штуки петербургские, —
Посадили на бобы́
Бережки мазурские.

Против шерсти нас не гладь:
Стали мы, как ёжики:
Не позволим приставать, —
Востры наши ножики.

. . . .

— «Так»—процедил генерал Булдуков—«соберите вы там...»— покряхтел он.

И—долгая пауза:

— «Ну, и...»

Тут сделавши пальцем—так, что-то—глазенками ткнулся в Велес-Непещевича.

— «Ставке ответите».

Что отвечать-то?

Велес-Непещевич весьма выразительно гымкнул.

— «Так то̀чн... вышпревсхдство́!»

Щелкнул шпорою, честь отдал: марш!

А Велес-Непещевич, который вернулся из Англии только что, взяв его по̀д-руку, с ним впечатленьем делясь, заводил его—взад и вперед:

— «Объясняю им в Лондоне: «Не принимаю: негодные шины!» «Нет, сер,—вы их примете!»—«Шлю телеграмму: из Лондона в Питер; ответили: «Наши союзники: автомобильные шины—принять».

Где-то перецепляли вагоны, куда-то катя их; от фронта румынского несся, как вошью укушенный, поезд—с разбитыми стеклами: ором и дёром; обратно тащились вагоны,—до фронта, пути перекупорив; и по приказу начальника армии, номер такой, их валили с путей: под откос [1].

— «Приезжаю»,—гудел Непещевич,—«я в Питер: там «фо̀ны». Вагоны...

— «Там—«дер-ы»!»

Два тендера...

Вдруг—мимоходом:

— «Пан Ян вас сейчас повезет: быть свидетелем...»

— «Да пощадите: я—с фронта, еще не умывшись...»

— «Нельзя, дорогой: потерпите; «он»—взгляд в булдуковские окна—«боялся ответственности, на меня взвалил; там у вас—Ставка; у нас—жандармерия; там—филиал Милюкова, а здесь у нас—Штюрмер; вот «он» и боится все...»

— «Наш Булдуков—бурдурукает...»—к ним подошел Пшевжепанский.

Прошел паровоз: поворот колес,—красных.

— «Вот вас господин адъютант подвезет: поработаете».

На путях запасных стали; ясно Велес-Непещевич весьма объяснял, что —

— короткие волны — убийственны; принцип открытия — наикратчайшие волны; орудия нынешние — чепуха, коли у волновой, новой пушки отверстие менее, чем у пипеточки, а район действия...

[1] Действительный факт.

— «Вы понимаете сами?»

Под гулом войны мировой,—гул иной: гул подпольный. —

— «Об этом—не крикнешь теперь: перекрадывать след к овладенью войной—вот что нужно!»

И он—спохватился:

— «Ну,—с богом!»

По рельсам пошли.

Та же песенка—издали:

Брудер, — канн ман? Я — ман канн! [1]
Денежки немецкие!
Разбирайте балаган,
Руки молодецкие!

— «Слышите?»

— «Слышу!»

И—вышли.

— «Лихач!»

ЕЛЕОНСТВО

Вот домик оранжевый встал; желтосерая жескла трава; затусклило едва лиловато: с востока; вот—Дорогомиловский мост, самновейший ампир, где на серых столбах так отчетливо черный металл защербился рельефами: шлемов, мечей и щитов.

— «Посмотрите: наш воин; когда-то парадную каску надев, при копье, при коне, на бо́лота мазурские шел воевать с Ренен-кампфом; смотрите,—в картузике, выданном из интендантства, в шинелишке, спертой у трупа, он—тут!»

Залынял: с табачишкой в кармане; и—с фигою; мобилизованный нюхает, что ему слопать.

— «Их—столько, что кажется: фронт опустелым, что армия наша—мираж, то есть поле пустое».

— «Сопрела в окопах».

А в поле сидели и кашу варили: волна беловатого газа бежала в овраге: недавно еще; вздрогнул:

— «Скоро ли?»

[1] Брат, можно? Да, можно.

— «Скоро».

Пан Ян Пшевжепанский, похлопывая по плечу Сослепецкого, стал занимать анекдотами:

— «Вы называйте пан Яном меня: мы—товарищами».

Сослепецкий подумал:

— «Не очень-то лестно».

И вот—горбосвёрт: угол белого дома открыл переулок, который ломал этот горб, точно руку, откинутую от плеча и составленную из домов, Сослепецкому очень знакомых: он—в каждом сидел почти: дом Четвеверова; антаблементы лупились и блекли; подъезд—доска медная: Лев Леонидыч Лилетов. Карниз фриза сизосеризового, изощренно приподнятый морщью оливковых полуколонн межоконных, выглядывал из-за листвы желтокарей, срезаемой крышею синего домика—о трех окошках; и—с карточкою: «Жужеюпин». «Говядина Мылова»—вывеска. Арка ворот трехэтажного дома в распупринах, с черной литою решеткою: Пе́сарь, Помы́х, Древома̀зова, Франц Унзенпа̀мп, Семима̀шкин,—доска с квартирантами. Грифельный, семиэтажный, с балконами, с башнею, в северном стиле домина стеной бил по Шлепову, по переулку, темня—Новотернев: то—дом «Бездиби́ль».

Дальше: Африковым и Моморовым—прямо к бульвару, к киоску, под вывескою «П е ц ц е н - Ц в а̀ к к е. Перчаточное заведенье».

«Тррр-дррр» —

— барабан —

— роту прапор вел

в переворохи —

— «дррр» —

— переворох

на дворах; разворохи в квартирах; и—ворох сознаний, сметаемый в кучи, как листья бульвара, стальным дуновеньем оторванные с пригнетенных друг к другу вершин, угоняемых в площадь Сенную, — туда, где кричало огромное золото букв —

— «Елеонство!» —

— «Крахмал, свечи, мыло!» —

район переулочный, где проживает профессор Сэднамен над вывеской черной, «П. П. Уподо́биев», иль—Калофра́кин (портной, надставляющий плечи и груди); с угла—Гурчиксона аптека: шар—красный, шар — синий.

Вот вывеска, высверкнув,—сгасла.

И тут же мадам Тигроватко жила.

Тут спрыгнули; под характерною кариатидой; пан Ян—на подъезд; Сослепецкий, пальто растопырив, из брюк вынимал кошелек, сапогом выдробатывая:

— «Чорт, как холодно!»

Тоже—в подъезд.

Дверь с доской: Иахи́м Терпели́виль; — и — вот:

— «Тигроватко?»

Пан Ян подмигнул:

— «Прямо в точку: увидите».

— «Не понимаю»,—ворчал Сослепецкий,—«с вокзала... хотя бы почиститься!..»

— «Вы, адъютант, потерпите».

И—дверь распахнулась.

Передняя пестрая: желтые стены; и—крап: черный, серый, зеленый; зеленая мебель; портьера желтеющая с теми ж пятнами: черными, серыми, серозелеными; слева, в открытую дверь,—коридорик, с обоями, напоминающими цветом шкуру боа̀: густо черные пятна на бронзовом, темном; туда,—как в провал, или в оборок дико тупой, из которого могут выкидываться только выкрики дико болезненные.

Но мадам Тигроватко бросала туда: —

— Аделина! —
— Лилиша! —
— Параша! —
— Наташа! —

— И горничная выходила на зов: Аделина—в апреле; Лилиша—июле.

Снимая пальто, Сослепецкий косился в слепой коридорный пролет, вызывающий ассоциацию: боа контриктор!

Повеяло диким кошмаром, уж виданным,—

— где-то, —

— с —- утраченным смыслом, как с криком, которого нет, но который сейчас...

Вскрик:

— «Леокади́!»

Взрывы хохота.

— «Джулия фон Толкенталь»—подцарапнул пан Ян своей шпорой.

— «Мадам Толкенталь, или—только: таланты; миражи, корсажи; и франты, и фанты!»

Глазеночки—тусклые, а позумент—прояснялся; и носик морского конька, едва красненький, с присморком, кончиком дергался: (тоже,—как сон).

Аделина раскрыла портьеру, и у Сослепецкого вырвался вскрик:

— «Это ж!..»

Древнее выцветом, серопрожухлое золото: цвет—леопардовый, съеденный мертвыми пятнами, точно покрытый дымящимся еле износом, как бы вызывающим вздрог: леопард этот—умер ли? Может,—сидит в мягких пуфах?

Драпри, абажуры—под цвет леопарда, пестримого дикими пятнами, как полувскриками, тихо душимыми; фон—желтопепельный: весь в бурых пятнах.

— «Не правда ли,—не из Моморова, Африкова переулков подъехали мы к Гурчиксона аптеке, а бросили трап с корабля: оказались под тропиками».

Не входите: здесь пятнами, в выцветах, рыскает—злой, золотой леопард.

Но драпри, отделявшее комнату э т у от т о й,—разлетелося, взбрызнув малиновым, ярким гранатом из матовочерного, как цвет разрыва: дым с пламенем!

Драпри—упало! И—«Леокади́я» (и отчество же!) «Леонардовна»!—шпорою звякнул пан Ян!

И—шурш юбок, треск веера, блеск ожерелий, взмах перьев над черною шапкой волос; перья, бусы,—все черное; платье из морока, очень порочного, в серой иллюзии пятен, подернутых розовым отсветом; черные икры, боа разлетное; ботинки высокие, черные; глаз, желтый, злой; из-за синих ресниц; переблеклая, темная, кожа; на все вылезающий, как попугай из-за сажи взлетающий,—нос; взмахи перьев.

И вскрики: О —

— Жюле Дэстре[1],
— Ван-дер-Моорене:

— друг знаменитостей Франции, ставшая другом больших генералов, кадетов и корреспондентов военных —

— мадам Тигроватко: —

— в боа и в перчатках!

---

[1] Министр, социал-соглашатель, друг Вандервельда.

ГРАНАТЫ, ПЕСТРИМЫЕ МУШКАМИ

— «Вы, господа офицеры?» —

— взяв за́-руки, их потащила в диванную и головою взбоднула, пером разрезая портьеру (взрыв красных гранатов); не виделось — кто, сколько: в нише, в кровавых тенях.

— «Она, встретясь со мною и узнав,...»—неотчетливо, с тиком шуршала мадам—«обратилась ко мне: в результате чего,—вы мой гость, адъютант Сослепецкий! И то, что отсюда—ответственно; наше свиданье в присутствии вас, господа»,—она клюнула—«как представителей армии и комитета»—и—клюнула—«есть неизбежное дело, поскольку задеты: честь родины»—эй, не мешайте, читатель,—«и доблестных наших союзников!»

Нет, уж, читатель,—вы—не приставайте; и коли не слышно нам с вами, так это нарочно мной сделано (я—режиссер,—знаю лучше течение драмы); давать результат прежде паузы—это ж десерт вместо супа; чем я виноват, что и мне самому неизвестно ведь, кто там присутствует, сидя в тенях.

А мадам Тигроватко из черных теней упорхнула; и—снова на цыпочках, кралася, с крокусом красным в руках, балансируя веером, чтоб, став в портьере, прислушиваться.

Вот кусочек диванной: гранаты, пестримые смурыми мушками,—стены; портьеры, как гарь от ковров: желтопепельных, бархатных, точно курящихся дымом; и—скатерть; и вазы оранжевой высверк; стоят офицеры; и кто-то еще с ними рядом...

— «Довольно: о н и у Сэднамена,—рядом»—и вышла из тени, вспрерив на коленях свой веер:

— «Да, вспомнила; вот»—подавала (казалось, что—в мрак) свой цветок:

— «Если с д а, выходите с ним; н е т,—его бросите... Сядете—тут»;—хлоп по пуфику—«тут будет видно; мы—та м»—на гостиную ткнула...

— «Вы—т у т»:—так вот все разместимся... Мессье,—же ву лесс!» [1]

Кок и цок: офицеры; но—мимо них—козьим галопом, с подхлопом в ладоши: за Джулией.

Вывлекши пеструю Джулию, длинную дылду с пухлявым лицом, и взвертев, и встрепав ее—толк: к Сослепецкому:

[1] Господа, оставляю вас.

— «Сами знакомьтесь... Опять позабыла: вы с фронта же... Ну? Что?.. Как? Дух?»

— «Худ!»

Мадам Тигроватко за это—боа: по плечу.

— «Полисон!» [1]

Вдруг:

— «О,—все равно»,—встрях черной шапки волос—«только б эти шинели на нас не глядели».

К передней: в пролет:

— «Аделина же!..

— «Лина же!..

— «Чай, пети-фур, фрукты».

— «Что?»

Плеск и треск.

— «Вот история»,—заиготал Пшевжепанский.

— «В лоб—молотом: эта действительность переросла всякий бред»—тер висок Сослепецкий, страдая мигренью (с бессонницы).

Неудивительно: два дня назад—треск разрывов, тела окровавленные; как снег на̀-голову, поручение Ставки: в Москву; ночь в вагоне; в итоге же бред; что же, эта гостиная, может быть, поле сражений особых, ухлопавшая все сражения, все достижения наши.

Звонок.

БОРОДОЮ ПРОСУНУЛСЯ В ДВЕРИ

Передняя полнилась вздохом и звуками трех голосов; вот контральто:

— «А... вля́... ме вуаля́...» [2]

— В тигроваткины руки—о н а: мадмуазель де-Лебрейль; вид—м а л э́ з [3], но—м а л и́ н ь [4]; вовсе белые волосы; стрижка—короткая; юбка—короткая; с мушкою, с пафосом а ля Карлейль; настоящий г а р с о́ н; и—грассировала: баталистка-художница; вкусы—Пэгу́: с темпераментом барышня!

А баритон еще мемькал в передней:

— «Мме... даа...мэн... Седа̀амэн...»—почти что экзамен.

[1] Шалун.
[2] А вот и я.
[3] Расстроенный.
[4] Бедовый.

Читатель! Дабы избежать постоянных упреков в новаторстве,— принципам старых романов Тургенева я отдаюсь, от себя самого отступая в традицию повествования; пишут: «пока наш герой, вздернув фалду, садится, последуем мы в его детство и отрочество»; дальше—десять страниц; терпеливый герой, вздернув фалду,—присев, но не сев,—ждет, чтоб... «Уф!» И тогда только автор:

— «Сел!»

Впрочем герои такие, помещики, много досуга имели.

Сэднамен—экзамен; верней,—у Сэднамена.

И половине Москвы, бывшим слушателям (или-«ельницам»), ставшим известными деятелями, оставался Сэднамен экзаменом; но,—говорили еще: Се-ре-да-мен (зачет у Сэднамена по середам), прибавляя: сед-а́мен, сед-а́мини, сед-аминѝсти,—глагол: от сидеть.

Таков он—четверть века; усы той же стрижки; пробор четверть века, прямой,—волос, черных прямых; тот же галстух; никто никогда не видал «Середамена»—в смокинге, фраке, визитке, или в пиджаке: в—сюр-ту-ке!

Вот—Сэднамен.

Трудов нет. Речи тихие. Тихо подписывал то, что уже прописалось; не лез, но—видался: в собраниях, на заседаниях, съездах, концертах, премьерах; профессорски руку жал, т. е.,— с достоинством тихим; так: выжав себе тихий вес, досидится до кресла, до а-ка-де-ми-че-ско-го!

В растяжении слов, лекций, мысли—карьера.

Традиции—соблюдены; он—представлен, просерый и стертый,— под жухлые пятна ковров; отирая усы, он прикладывался к тигроваткиным пальчикам:

— «Дома покоя нет—от милой барыньки; мы вот сидели и пили бордо, а нас барынька на... файф-клок».

И руками развел: в пятна серые сел.

Сослепецкий, замерзнувши в правом углу, Пшевжепанский же— в левом, пристру́нились, за эксельбанты схватясь, как держа караул в императорской ложе:

— «Э бьен...»[1]—

— и цилиндром опущенным, сжатым в руке, изогнувшейся, бронзовою бородой, точно в отблесках пламени ры-

[1] И вот.

жего, мягко просунулся в двери Друа-Домардэн; позой сжатый, как крепким корсетом, он переступил. став в пороге, вперяяся в древнее выцветом серопрожухлое золото.

В ЗОЛОТЕ СТЕН—ДОМАРДЭН

Впечатление—первое: от головы и до пят—черный весь.

Этот цвет леопардовый, съеденный мертвым пятном и как бы вызывающий вздрог, его занял; и он озирался на все.

Не входите!

Вошел.

Впечатление — второе: сутуло прямой; шея — выгнута; спина — прямая:

— «Ту мэ комплиман а мадам» [1].

Впечатление—третье: лицо, от которого только бросаются белые, пересвеженные щеки; два черных пятна, глаза скрывших: очки; борода, очень длинная (стрижена четким овалом), вся яркая, бронзовая, с розоватокровавыми отблесками—есть все прочее; перекисеводородный цвет (действие перекиси на брюнетов).

— «Мадам Толкенталь».

— «Адъютант Сослепецкий...»

— «Пан Ян Пшевжепанский...»

Расклоны:

— «Э бье́н,—прэнэ́ пла́с» [2].

Несомненный акцент; он—мэтек: так в Париже давно зовут грека парижского. Сел, уронив свою руку на стол, на̀-пол ставил цилиндр с мягкой задержью, вскинув лицо и фиксируя черными стеклами; пальцами бронзовую волосинку терзал, крутя кончик, и бороду выставив перед крахмалом—с оттибом мизинца; и ломкий, и розовый ноготь отметила Джулия фон-Толкенталь.

Офицеры ж впились, разлагая вздрог пальца на атомы; «вымученность вспоминаемой роли»; пресуществленный: насквозь! Как глазурь омертвелая, отполированы щеки: он—эмалированный; он— без морщин: вековечная молодость белой щеки (при почтеннейшем возрасте); в бронзе—усы, а не губы; стекло, а не глаз! И открыто кричащий о том, что—парик, этот самый парик с переглаженной черчью пробора и с красною искрой схватившихся вместе волос,—

[1] «Приветствую, мадам».
[2] Ну вот... Прошу сесть.

все, все, все создавало рекламу какому-то там парикмейстеру, а не челу публициста.

Треща, как граненными бусами, с пуфа пакет Тигроватко вручила Друа-Домардэну: они—не увидятся; с фронта Друа-Домардэн, метеором мелькнув, унесется в Париж; но тогда не забудет пакет передать, этот,—Франсу,—старинному другу.

С рукою—к пакету, совсем неожиданно в нос он пропел: так поет фисгармониум!

— «О, мэ́ бьенсю́р!»[1]

И шутливо пакет свой мадемуазель де-Лебрейль перебросил:

— «А во́ девуа̀р!»[2]

Тряся белой копною волос, пакет взвесила мадемуазель де-Лебрейль:

— «Олала́! Ля сепзю́р,—ублиэ́ ву?»[3]

— «Фэ рье́н: мон Эйже́ни Васи́льитш Ани́тшков»[4]—к Сэднамену:—

«Цензором сел на границе!»

К мадам Толкенталь—в ухо ей:

— «Вам знакомо лицо его?»

Джулия: в ухо же:

— «Где-то видала».

Тогда Тигроватко,—без всякого повода, громко:

— «Э с т е т и к а?» «Вы там бываете, как и тогда, когда знали»—и щуры ресниц подсиненных—«там в с е х».

Удивленная Джулия не понимала: о чем?

Но фиксируя странную помесь цветов, уже созданной здесь обстановки, Друа-Домардэн было кистью рванулся.

Но вздрог: и—

—упавшая в обморок кисть вяло свисла.

Сэднамен,—из пятен из серых,—впятнил:

— «Поль Буайе: я учитель Поля Буайе еще, Луи Леже...[5] мм... мэн...»

Ждали, что скажет:

— «Знал».

А Пшевжепанский, склонясь к Сослепецкому:

---

[1] О, конечно.
[2] Для вашего исполнения.
[3] Вот так так: а про цензуру забыли вы?
[4] Пустяки: мой Евгений Васильич Аничков.
[5] Профессора русской словесности в Париже.

— «Он—из Австралии, с год лишь, с прекрасною сертификацией—в гранд-Ориан: по мандату из Лондона; послан—с секретными целями; от легкомысленных шуток Максима Максимовича, тоже гроссмейстера, он с нашим штабом списался: и—через Земгор».

Наблюдали, как дергался палец—на палец, при пальце, отставленный, вставленный,—на неподвижно лежащей, как мертвой, его левой кисти; мизинец же правой, вправляющий пуговицу—на показ для других; то—десница; а шуйцей—под скатерть, поймав на ней взгляд Сослепецкого, точно меж ними вдруг непобедимая острая очень прошлась неприязнь.

И тут подали чайные чашечки: севрский фарфор, леопардовых колеров,—с пепельно серыми бледнями, с золотоватыми блеснями.

СЕВРСКИЙ ФАРФОР ЛЕОПАРДОВЫХ КОЛЕРОВ

Чашечку чайную,—севрский фарфор леопардовых колеров,—взяв двумя пальцами, чтобы разглядывать росписи: пепельносерые, красные пятна.

— «Ке сэ́ рависсан!»[1]

— «Регардэ́!»[2]

Тигроватко предметик сняла:

— «Что, прелестная,—да?»

Безделушка: пастушка фарфоророзовая, с лиловатосиреневым тоном:

— «Пастушка: Лизетта!»

— «Максятинский князь приобрел обстановку,—по случаю: распродает».

— «Ке ди т'э́ль?»[3]—протянулась Лебрейль.

— «Жаль: отшиблена ручка!»

— «Была—с флажолетом; играла на нем—пасторали, пад бездной: эль а тан суффэ́р»[4].

Пшевжепанский, застыв, как оскалясь—под локтем у Джулии, пав в ноги ей, чтоб прыжком оказаться в беседе: свой вкус показать, как оценщика старых фарфоров; тут что-то случилось с Друа-

---

[1] Как это восхитительно.
[2] Посмотрите.
[3] Что она говорит?
[4] Она так страдала.

Домардэном—

— пастушка, ни слова

по-русски —

— парик, борода, стекла черные, точно кордон, быстро выступивший, защищать стал лицо: за очки, за парик,—оно село, взусатилось, импровизируя жест кандидата на красную ленточку Лежион д'оне́р [1], с неожиданной словоохотливостью объяснял он, что—ехал в Москву с мадемуазель де-Лебрейль, своим секретарем, своим другом—куа [2]? Тут—комедия: он, сама виза,—в Москве сел без визы; имел тэт-а-тэты [3] с кадетами.

Скажем и мы от себя: в кабинэ́ сепарэ́ [4] он случайно сошелся с Пэпэш-Довлиашем, московским масоном, «французом» по стилю, кадэ (психиатр); кабинэ́, сепарэ́, потому что — с запретною водкой, с к а в ь я р м о л о с о̀ л ь [5] (это—выучил) и под напевы гнусавенькой Тонкинуа̀з [6] (запевал Николай Николаич, Пэпэш-Довлиаш).

О, дорожная скука: фи до̀нк [7]—ожидать глупой визы!

Москва—только станция!

Так с разговора о качествах севрских фарфоров—к задачам войны; закрутил бороды кончик бронзовый.

Гекнуло тут: громкий гек, точно в уши влепляемый, но обращаемый к Джулии:

— «Ля бэт юмэ́н!» [8]

— «Друа́ д'оне́р: друа де л'ом!» [9]—пояснял Домардэн.

— «Друа̀ де мо̀р!» [10]—геком, в уши влепляемым, в ухо влепил Пшевжепанский.

— «Бьен ди́, мэ морда́н!» [11]— повернулся с кривою усмешкой к нему Домардэн, будто с вызовом; и—

—дрр-дрр

—дрр-ррр —

— выдрабатывали

---

[1] Орден Почетного Легиона.
[2] Что.
[3] Свидания с глазу на глаз.
[4] В отдельных кабинетах.
[5] С малосольной икрой.
[6] Французская шансонетная песенка.
[7] Фу.
[8] Человек — зверь.
[9] Права чести, права человека.
[10] Права смерти.
[11] Хорошо сказано, но остро.

залетавшие пальцы, вцепляясь ногтями в пятнастую скатерть.

Мадам Тигроватко ушла, влокотяся, в подушечки, в тускло оранжевые; на мизинец изогнутый нос положила; играла икрастой ногою на свесе.

ЧЕРНАЯ РУЧКА С КРОВАВЫМ ЦВЕТКОМ

Мадемуазель де-Лебрейль, чтобы это прервать, стала взаверть, бросая блеснь черночешуйчатой талии нервно; портьеру рукой подняла; и—лорнировала, восхищаясь: гранаты, пестримые смурыми мушками, стены диванной; и шторы—коричневочерную гарь, из ковров желтопепельных, точно курящихся дымом, и скатерть, и вазы оранжевой выблески:

— «Вла́ с'э ля фла́мм. Ву з'аве́ з'энсандье́ вотр ме́бль пар се руж». (Вот так пламя: вы мебель свою подожгли; я—ослепла.)

Друа-Домардэн даже голову вытянул прямо туда, где—два кресла гранатовые, как огонь, распылались на бледнозеленожелтые тускли, пятнимые еле; в гранатовом кресле орнамент теней; в нем сидит манекен, вероятно: перо утонченное, вскинуто точно над красным креслом; конечно, мадам Тигроватко—художница, так ли?

Черч гени из кресла взлетел; и перо под драпри протопырилось; а у Дура-Домардэна углом брови сдвинулись в платомимическом жесте, напоминающем руки, соединенные ладонями вверх.

Точно пением «Miserere» [1] пропел этот лоб: а в ответ из диванной, как арфы эоловой вздох!

Вскрик Лебрейль на всю комнату:

— «Юн фамм нуар!» (Это—черная женщина?)

Из-за портьеры же крокуса красный цветок зажимала, как веточка, тонкая, черная ручка.

Пап Ян, приседая, как будто собравшися прыгнуть—с окрысом,—став красным, и ртом, и зубами, сквозь воздух впивался в Друа-Домардэна; став синим, как труп, Сослепецкий встал; и—тотчас сел. А мадам Тигроватко:

— «Сэ рьен: повр фа̀мм; эллѐ а та̀н суффер». (Нет, пустяки: о, бедняжка,—так много страдала.)

По-русски:

---

[1] Религиозный служебный мотив католической музыки.

— «Она добивается визы во Францию!»
Тут же в диванную:
— «Мадам Ти́телева?»

МАДАМ ТИ́ТЕЛЕВА

И оттуда, где ручка качала цветок,—закивало перо; и явились поля черной шляпы: под ними лица—пятно черное (все завуалено), рот обнаженный и красный, а губы разъехались на меловом подбородочке с пренеприятной гримаскою—

—с тоненьким—

—«Ну?»

Тут Друа-Домардэн, позабывши про пальцы—с отчаяньем ставки последней до... до... до того, что—

—с положенной позы рука как сорвется—к губам: дергать, мазаться пальцем о палец! А задержь — вдогонку; кисть сжатая—под подбородок: упала на кресло!

Все—миг!

— «Юн прие́р»[1] — обратилась к нему Тигроватко.

— «А во сэрвис» [2] — слишком громко: взволнованно громко!

Ему объясняли: содействие, визу, он может достать,—для мадам; жест —к головке.

Головка в портьере ждала: можно было подумать, что дамочка, тут же присев за портьерой, прилипнув, как кобра, к стволу баобаба,—нацелившись на леопарда, готова—зигзагом: слететь с баобаба.

«Простите, мадам: я забыла о вас; вы зайдете узнать о решении».

[1] Просьба.
[2] К вашим услугам.

Черная дамочка, змейка, протянутая плоскочерным листом, как у кобры, конечности верхней, а не плоскочерными, вытянутыми полями увенчанной черным пером черной шляпы,—не вышла, а вылизнула перед ними: перчатки—до локтя; осиная талия; вовсе безгрудая, вовсе безбокая,—черная вся; потекла, их минуя, на шлейфе (а не на ногах), как змея, на змеящемся кончике хвостика.

Всех поразил под густою вуалью ее подбородочек: бледный, как мел; он—с улыбкой безглазой и злой: ртом глядел, как кусая; перо, утонченно протянутое, точно удочка, дергалось.

Вылизнула из гостиной.

Молчали.

Один Сослепецкий—в переднюю: к ней!

Ну?

А?

Друа-Домардэн?

Вновь построилась корреспонденция носа со щечною впадиной, координируяся с головой: корпус—строился; задержь—окрепла; стиль позы, которою он интонировал,—точно молоссы тяжелые, молотом выбитые: три ударных:—

— да́рр! -
— да́рр! —
— да́рр! —
—вот что есть молосс!

Греки древние с ним шли: на бой.

КАК ПРЫЖКОМ ЛЕОПАРДОВЫМ, — В ДВЕРЬ!

Сослепецкий, настигнув в передней, увлек в боковой коридор мадам Ти́телеву: серебро эксельбантов, серебряный сверк эполетов, царапанье шпор Сослепецкого, зыби материи шелковой; и—как барахтанье в шероховатых, коричневокрасных коврах, заглушающих шаг,—в той дыре, куда мороком вляпались пестрые пятна на бронзовом фоне, как шкура боа.

Снова вырыв из мрака: тень черной змеи; и—в переднюю снова; за ней—Сослепецкий.

— «Я не отпущу вас».

И с синей мантильей в руках, точно вырванной для подаванья, но не подаваемой, отнятой, став серосиним,— ее умолял:

— «Вы—мне скажите... Вы... вы...!»

Улыбочка.

— «Невероятно!»

Пера пируэт.

— «Смею я вас уверить»,—отдернул мантилью,—что мы не жандармы...»

Пятно,—не лицо.

— «Политическая группировка и благонадежность, которая интересует полицию, нас не касается; можете нам доверяться; инкогнито, смею уверить вас честью военных, работающих с демократией на оборону страны от шантажа и от шпионажа,—инкогнито ваше и лиц, с вами связанных, я сохраню».

Легкий шопот рта: в синее ухо; вскрик, тупо давимый, под горлом.

— «Да, да: это—он!»

И—юрк: в дверь.

. . . .

Сослепецкий вернулся в гостиную, где Домардэн им рассказывал—

—осведомлялся, меж прочим, об адресе дамочки; долго записывал: «Тѝ...тэлэф?..' О се нон рю́сс!» [1]—

—и вернулся
к Парижу

опять... Жест—интонационен, ритмичен, чуть-чуть патетичен, приподнят на чаше весов; на другой—гиря: задержь—

— о, да,—
— равновесия!

Так и казалось,—нарушится: силищи неимоверные, противоборствуя, грохнут разрывом:—

—барррах!—

—Где Друа-Домарлэн?

Клочки фрака дымящегося, горло, вырванное из вспылавшей сорочки, вонь перепаленных волос: удивительное равновесие!

Джулия—слушала; а мадемуазель де-Лебрейль,—ликовала всей позою.

— «Мой-то,—каков?»

Только выюрк конца бороды, вверх и наискось, к двери, да талия, вздверть поставленная,—тоже к двери,—на миг, на один, будто выдали тайну Друа-Домардэна: прыжком леопардовым—

—в дверь!

[1] О, эти русские имена.

С Сослепецким скрестился он взглядами.

. . . .

Вышли: пан Ян провожал Сослепецкого:

— «Вот для чего мы вас выписали».

— «Ставка знает?»

— «Не все: столкновение фактов невыверенных—налицо; выверяете—вы; вы и следователь, и... свершитель; задание может стать миссией; это—от вас: не от нас с Булдуковым, который—себя отстраняет... Старик заливается, попросту, с горя, винцом... На себя одного полагайтесь».

А Сослепецкий поморщился:

— «Слово я дал сохранить ей инкогнито; а—между тем: среди лиц, под защиту инкогнито вставших,—фамилия: в списке, который везу; коли так, то и разоблачающие Домардена,—разоблачены; может, с их стороны нападение есть контр-атака: защита себя...»

— «Это прежде».

— «А то?»

— «То—потом!»

ПРАВОСУДИЕ—ГОРЛО ОРУДИЯ

— Рыррр!—

—прошли баталионы: легли миллионы!..

И новые шли миллионы: в поля; в батареях болтали уже: у Антанты солдаты—атласные франты; а мы—на бобах: в батраках.

— «Да-с!»

. . . .

Лысастое место; с него виден издали фронт; в ложементах сидели и кашу варили: под праздник; в селе же, попрежнему,—колокола заболтали:

— «Зовет царский колокол, по всей России,—в могилу, в некрутчину: под барабан забирает...»

— «Там, под барабаном, коли повернешься,—убьет тебя; не довернешься,—убьет тебя; коли вернешься—не выслужишь даже ста реп».

— «Служба—чирий в боку».

— «Как мамашины прапоры спервоначалу на фронт уезжали мазурку отшпорить, скартавить приказ,—да в болота мазурские поулеглись; так-то лучше,—спокойнее».

«Ты погоди,—впереди еще служба-то: жилы порвем, а возьмем, брат, Москву!»
Тихо: колокола перестали звонить.

. . . .

«Рррр»—

—гремит батарея, окрестности брея: чинит празосудие черночугунное горло орудия: взорваны:—

—проволоки,
—бревна,
—брюхи,
—и груди.

В бабацах гранат—горлодёры далекие; это штыками процапались дранцы, царапаясь ранцами в проволоке, вылезая из оболока ядовитого газа; все—в масках...

Штурмуют позицию—

—там,—
—здесь—
—как серая гу́сеница, нервно вздрагивая и натягивая нервно нить, опадает с небес, полетев в небеса—

—колбаса, водородом надутая!..

Что-ж это?

Вместо нее—фук дымо́в: грохоток...

Человек, в ней сидевший,—где он? Да за ним—миллион человеков таких; и их больше у нас, чем колбас.

В полосах желтоватых жнивья—полоса серовато прошла из частей войсковых руконогов, безглавых, бессильно шагающих в бой по бессочью безродного поля: призыв девятьсотого года...

Народная голь!

. . . .

Сжавши лайковой, белой перчаткой бинокли, в бинокли глядят адъютанты, блестя эксельбантами, корреспонденты Антанты; пищит полевой телефон...

И утонченно архитектонику строя—

—дивизий
—бригад,
—батарей,
—батальонов,
—в бой брошенных рот—

—рапортует откормленный корпусный скот: бой благополучен!

Пробриты бригады; разбросаны роты; фронт—прорван; попят—со всех пят!

Тем не менее кто-то кого-то поздравит: отечески, мило, сердечно!

. . . .

«Бой под Молодечно»—заглавие корреспонденции «Утра России», где—слажено,—сглажено,—схвастано,—спластано,—точно не бой, а цветочки; концовано—Константинополем: «Ликиардопуло»[1]—подпись; и—точка.

Соль—в том, что опять уложили в безродное поле: народную голь!

— Ррр!
— Бррр!
— Брр!..

ОРАНГУТАНГОМ ОТПЛЯСЫВАЛ ТАНГО

Вот «Бар-Пэар»: с неграми!

Тризна отчизне; брызнь света, брызнь струй: брызни жизни! Здесь—все: Зоя Ивис, Азалия Пах, офицеры, корнеты, корсеты, кадеты из организаций Земгора: золотоочковые, лысые, брысые; дамы: не талии—змеи; лакеи и столики; пестрый орнамент просторной веранды; румыны кроваво-усатые, красноатласные: ры́н-дын-дын, ры́н-дын-дын—

—трр-ы́-ын—
—дын!

Вот, волоча свои дряби, с губой грибоватой, с тремя подбородками, точно с жабо, с желдачком на носу,—мимо столиков—шароголовый старик; и за ним губоцветная дама; дессу́—цвет шампанского, с искрой; с опаловым цветом лица, с горицветными перьями, с пряжек бросающими блеск комет; гиацинтовый глаз!

Сели.

К ним—адвокат Пероко́вский: пороки описывал так, что перо переламывалось; старичок, облизнувшись, ответствовал животворящим придыханьем грудным, не смехом; а дама—сплошным придыханьем грудным.

Это—чех, миллионер, Бездиби́ль: нагорстал состоянье; теперь горстал доброе имя и честь.

Желтожирую стерлядь им подали.

[1] Военный корреспондент.

В ниши, как белые мыши, под темнолиловые с искрой малиновой выпыхи—белые пальцы, крахмалы и нижние части лиц, выбежав, прячутся—в тень; сели в ниши, чтоб было им тише выглядывать на страстнокрасных румын; блеснь и треснь барабана; а пальцы, дрожа, выдробатывают.

Дробь ударов: дырр-ды́рр; да: Друа-Домардэн, д р у а́ д е л'ом был не в духе: желудок расстроился вдрызг!

Взвизги—

—ввзз—

—ввзз—

—ввзз—

—скрипок: с эстрады!

Один эпизод (о, их много!): но все ж не хотелось бы,—нет! «Тон» и «бом»—

—стон томболы с там-

буром; и—

—брры́-ббрра—

—гитара рыдала!

Его против воли в авто привезли: Тигроватко и мадемуазель де-Лебреиль в этот очаровательный «Б а р-П э а р»: с н е г р а м и; он же являл, сидя в нише, фигуру как бы безголовую (может, из кости слоновой пробор головной?). Нервы—сталь; механизм их исправлен; и позой владел в совершенстве; вокруг, на него озираясь, шептались: Друа-Домардэн уличен; грянет громкий скандал на в е с ь м и р; и портрет Домардэна появится во всех журнальчиках: Франции, Англии, даже Бразилии, даже Зеландии; в чем уличен,—неизвестно; и ели глазами его, удивляясь, как пальцем щепит волосинку и как достает носовой свой платок; задержь вымученно вспоминаемой роли, продуманной до мелочей; убеждалися: слухи—отчаянный вздор; человек, уличенный в преступном деяньи, упрятываем в мешок каменный, а Домардэн—на свободе; и—главное: это спокойствие.

Весь—черч и вычерч; лишь бронзовый цвет бороды нарушал комбинацию б л а н-э-н у а р; стекла, фрак, носки, клак,—только черное; щеки, крахмалы, пробор парика—белый мрамор.

. . . .

Эстрада:—

—ряд тем: один, два,—номера; три, четыре, пять,
шесть; новый трюк:—

—номер семь:—

—Темп!

Отсвета мертвельного сизостылая синь: в ней явился мел белый,—не личико, маленькое, с кулачок, слабо дрябленький; плоские поля шляпы вошли пером огненным с огненным и перекошенным в пении ротиком в отсветы бледного и сизосинего света:—мелодекламация!

. . . .

В окна
Ударится камень...
И врубится
В двери — топор.
Из окон разинется —
Пламень
От шелковых кресел и —
Штор;
Фарфор,
Изукрашенный шандал...
Все —
К чортовой матери: все!
Жестокий, железный мой
Ка́ндал
Ударится в сердце —
В твое!

. . . .

— «Браво»—рукоплесканья; все взвизгнуло, взбрызнуло перлами и перламутровым светом; в свет встал с мадемуазель де-Лебрейль Домардэн, направляяся к выходу.

«Бар-Пэар»: с неграми!

Тризна отчизне: брызнь света и жизни: здесь Питер Парфеныч Тарпарский свои интонировал фикции; Че́чернев спрашивал о Хапаранде-Торнео; орнамент просторной веранды фонариками освещался.

Не «Бар-Пэар»: с неграми—остров Борнео!

Пил джин пан Зеленский—шимпанзе—с гаванной в зубах; и с ним сам дядя Сам,—

—черный фрак,—

—груди крак —

—оперстненный, блум-пудинг

ел; хрипло кряхтел «Янки—Ду́длями»[1]:

— «Деньги и деньги!»

---

[1] Американский национальный гимн.

Пэпэш-Довлиаш, Николай Николаич, кадет, психиатр, проповедывал строго кадетские лозунги двум туберозам хохочущим:
— «Мадемуазель?.. Плэ т'иль? Вы б—на войну: гулэ ву?» С почитательницею Ромэна Роллана, с мадам Тигроваткю, в боа и в перчатках, ее ухватив за бока, англичанин,—-
—сёр Ранжер,—
—с оранжевой бакой,—
—в оранжевом смокинге—
—оранг-утангом—
—отплясывал
танго!





ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«КОРОЛЬ ЛИР»

БРАТ, ИВАН

В сырости снизились в дым кисти ивовых листьев, как счесанные, чтоб опять на подмахах взлетать и кидаться в тумане и в мареве взмытого дыма, вздыхающим хаосом мимо гонимого; меленький сеянец сереньким крапом косит—над Москвою, над пригородом, над листвою садов придорожных.

Над скосом откоса с колесами чмокает, ля́кая, млявая слякоть; обрызнутое,—дико взвизгнуло поле: «На фронт, в горизонт!» Мимо Минска и Пинска несется рой мороков.

Горло орудия?

Нет!

Мертвецов миллионноголовое горло орет, а не жерло орудий, которыми рвутся: дома, города, люди, брюхи и груди; в остатке сознанья осталось сознанье: сознания нет!

И под черепом царь в голове свержен с трона.

С запекшейся кровью, с заклепанным грязью, разорванным ртом—голова, сохранившая все еще очерки носа и губ; тыква—

нос; кулак—губы; она это ахнула с поля, в котором сгнила; и за нею—десяток голов, вопия, восстает; за ним—тысячи их, вопиющих, встающих.

Две армии друг перед другом сидят...

Третья—

—многоголово роится!..

Где двое,—она уже: гул возникающий, перерастающий дуло орудий,—в такой, от которого точно поблеклый венок облетит колесо Зодиака.

А за головой поднимается—тело, везомое дико в Москву, чтобы вздрагивали, увидав это тело (нос—тыква; губа—кулаком) с оком, выжженным пламенем лопнувшей бомбы, с кишкой перепоротой,—взятое из ядовитого желтого облака.

Пятятся, как от допроса сурового:

— «На основаньи ж какого закона возникла такая вертучка миров, где умнейшим добрейшим огнем выжигают глаза, чугуном животы порют, желтыми хлорами горло закупоривают?»

Ответ—лазарет.

Волочат это тело свалить и копаться в кишке перепоротой, черными стеклами глаз застеклянить и медное горло привинчивать, думая, что отвертелись, что грязною тряпкой заклепанный рот: не взорет.

И гулять выпускают—в Москве: на Кузнецкий.

Стоит на Кузнецком телесный разъед, провожая прохожих разъятием ока:

— «Вам кажется, что невозможно все это?»
— «А мне оно стало возможным».
— «Я стало путем, выводящим за грани разбитых миров».
— «Ты за мною пойдешь...»
— «Да и ты...»

Но—шарахаются, отрекаются,—этот, тот, не понимая: стоит—страшный суд!

Подъезжает карета; подхватывают; и—привозят; ведут коридорами: камеры, камеры, камеры; в каждом—по телу.

И БИЛИ: ПО ТЕЛУ

Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть!
Номера, номера, номера: номер семь; и в нем—тело.
Так бременно время!...
Шел шаг...

— «А теперь,—его в ванну!»
В дверь—вывели.

. . . .

Мылили.
Ел едкий щелок—глаз; били: в живот:
— «Вот!»
И—в спину, и—в грудь:
— «Будет».
И—заскреблась—

— раз и два —

—голова —

— три...

— «Смотри-ка, протри!»
— «Смело: дело!»

. . . .

Что временно—бременно; помер—под номером; ванна, как манна.
— «И Анна...»
— «Что?»
— «Павловна......»
— «Зря!»
— «Анна Павловна—тело, как я...»
Тут окачено, схвачено, слажено:
— «Под простыню его, Павел!»
Массажами глажено; выведено, как из ада.
Прославил отчизну!
— «А клизму?»
— «Не надо!»
Сорочка, заплата, халат: шах и мат!
Вата—в глаз:
— «Раз!»
И—
—точка.

. . . .

Забило:—

—два, три!

— «При!»
И—вывели.
Выл, как шакал; шаркал шаг; страшновато: опять растопырил крыло нетопырь,—

—враг!

И темь, и заплата.

Четыре, пять, шесть:

— «Есть: семь!»

Восемь!

Все—месяцы; месяц—за месяцем: девять, двенадцать; во мгле ведь он свесился—в месяц тринадцатый, в цепь бесконечности!

Цапало время.

Но—временно время.

. . . .

«Бим-бом»—било.

— «Было: дом Бом».

— «Болты желты»:—болтали—«расперты».

— «Публичный»—Пупричных, в пупырышках, пестрый халат подавал; Пятифыфрев, свой глаз в тучи пуча,—про «д о м»:

— «Не про нас: да-с!»

— «Ермолка-с, пожалуйте-с!»

Алая, злая!

За окнами—елка, закат полосатый; и—пес.

В кресло врос:

— «Как-нибудь!»

— «Ничего-с!»

Жуть, муть, тень: крыши, медные лбы, бледной сплетней все тише—звенели о том, что мозги мыши съели!

И—день.

СЕРАФИМА: СЕСТРА

Серафима Сергевна Селеги-Седлинзина милой малюткой, снежинкой,—мелькает: в сплошной планиметрии белых своих коридоров; иль на голубых каймах камер стоит, в центре куба: под поднятою потолочною плоскостью, где белый блеск электрической лампочки, выскочив, бесится.

Щелк: его нет!

Точно кто-то, невидимый, зубы покажет и светом куснет; щелк: пустая стекляшечка; в ней—волосинка, иль—нерв: он сгорит; и павлиньи сияния смыслов,—стекло, пустота, философия!

Смысл—болезнь нерва; здоровая жизнь,—«г у л э́ в у́».

— «Николай Николаевич,—правильно: ну и сидели бы в «Б а р е - П э а р е»... Обходы больных, диагнозы,—понятно: преддверие «бара». А вы записались в кадетскую партию; вы козыряете лозунгом: где же тут логика?»

. . . .

Бедно одетою, бледненькой девочкой, за ординатором, Тер-Препопанцем, бывало бежит: в номер два, в номер три, в номер пять, в номер шесть; и халат цвета перца, халат цвета псиного (серь),—с головою, с пустою стекляшкою, с перегорелою в ней волосиночкой, сивый и серый, поваленный в бреды—встав, липнет:

— «Сестрица!»

— «Сестра!»

Аведик Дереникович Тер-Препопанц улыбается ей:

— «Популярности хоть отбавляй!»

И склонив вавилонский свой профиль, Тиглата-Палассера, Салманасара, отчетливо он стетоскопом постукивает:

— «Спали?»

— «Ели?»

— «Стул—как?»

А под фартучком, точно под снежным покровом,—голубка, малютка (всего двадцать лет ведь) выслушивает; и пучочек волосиков с отблеском золота,—рус; и, как белая тень, на стене; в перемельках, как бабочка: порх; носик тыкнется здесь; носик—там; такой маленький, беленький; рот стиснут крепко, чтобы разомкнуться для шопота:

— «Сделано!»

И не сказал бы, что в смехе овальные губы ее выкругляются сладкими долями яблока: весело, молодо, бодро; прочь фартук: ребячит,—с припрыгами; голос—арфичный, грудной; многострунная арфа,—не грудь!

И никто б не сказал, что глазенки бесцветные, с по́рхами и с переморгами, станут глазищами выпуклыми, чтобы отблесками золотистой слезы бриллиантить: как лани; умеют голубить и голубенеть, не сказали б, что гулькает ротик.

И кажется маленькой, гибкой, овальной какою-то ланью, когда снимет фартучек; коли в голубеньком платье и коли защурит глаза,—точно кот, голубой, поет песни; протянутой бархатной лапочкой гладит морщавую голову.

Коли «д у р а к» ее молод,—сестра молодая; а коли «д у р а к» ее стар, как с Морозкой снегурочка; коли ей голову в грудь с причитаньем уронит—Корделия с Лиром.

КОРДЕЛИЯ С ЛИРОМ

В обходе—не та: руки—трепет: неловкая!
— «Ну же...»
—«Эхма!»
— «Вы—не эдак: не так».
При Пэпэшином брюхе, под Тер-Препопанцевым носом, чтоб не разронять поручений, хваталась за книжку (болталась на фартучке); и к карандашику—носиком:
— «Ванна».
— «Пузырь».
— «Порошок».
— «Растиранье».
— «Термометр».
Тому-то, тогда-то,—то; этому—это-то.
Тер-Препопанц, сам добряш,—защищает:
— «Оказывает благотворное действие!»
А Николай Николаич, Пэпэш-Довлиш,—тому некогда видеть; часы нарасхват: диагноз, семинарии, лекции, вечером—в «Б а р е-«П э а р е»: он: с неграми.
— «Дэ... Психология, то есть,—бирюльки... Ну—пусть себе вертится здесь, пока что; вода—тоже безвредица, а не лекарство: пусть думают,—кали-броматум».
Бывало—шурк, топоты: по коридорам, ломаяся броской походкой, бежит Николай Николаич за пузом своим; за ним—пять ассистентов халатами белыми плещут; однажды, как мышку, накрыл он ее: она голову одеколоном тройным растирала кому-то.
И ей Николай Николаич:
— «Движение сердца?.. Здесь—клиника нервных болезней,—совсем не сердечных».
Бедром нервно вздрогнул; и—улепетнул; и за ним ассистенты, все пять, улепетывали.
Препопанц, Аведик Дереникович, ей:
— «Вы ступайте к Плетневу; научит: движение мускула, нерва моторного,—сердце... Вы нерв изучайте».
А глупое сердце подтукнет; свой ротик раскрывши, моргает: как белая тень,—на стене.
Так снежинка, сплошной бриллиант, тая, выглядит: капелькой сырости.
А Плечепляткин, студент, все, бывало, поплевывает:
— «Затрапезная, вялая...»

Но—бирюзовые трапезы приготовляла больным.
Николай Галзаков:
— «Не горюйте, сестрица».
Матвей Несотвеев:
— «Мы с вами,—болезная».
— «Я вот сестру, хоть умру,—не забуду; учила добру».
Так ее поминали.
Вода—не лекарство; а—взбрызни годою, а—дай воду,—жизнь!

. . . .

Служба кончена,—взапуски с листьями, ветром гонимыми, карими, красными, по переулкам—Жебри́вому, Брикову, Африкову и Моморову до Табачихинского—к Василисе Сергевне, к профессорше, чтобы узнать поподробней о пёсике Томке, которым забредил профессор Коробкин; узнать, при чем тряпка, которую пес принес в дом; заодно уж за красками: для Пантукана.
Узнала, что тряпкою рот затыкали—профессору: вообразил себя псом.
Дома—мать, Домна Львовна, с пакетиками: для профессора,—одеколон тройной, сладости и репродукций альбом (Микель-Анджело)—Элеонора Леоновна Ти́телева занесла.
Утром—ветер: порывистый, шаткий; калошики, зонтик—пора; за забор перезубренный, в глубь разметенной дорожки, с которой завеялись листья; и вот он из веток является,—розовобелый подъезд; над подъездом же, каменные разворохи плюща пропоровши, напучившись тупо,—баранная морда, фасонистый фавн, Николай Николаевич номер второй,—рококо̀вую рожу рвет хохотом, огогого! «Просим, просим: не выпустим!»
Там—два окна; там старик этот пестрый проснулся носом и черной заплатою; там—ее смысл, ее жизнь, ее все!

ВЫРЕЗАЯСЬ ИЗ НЕБА, ПОД ЗВЕЗДАМИ...

Утро.
Какая-то вся осердеченно быстрая; воздух меняла, когда прибирала; очки, разрезалка, флакон,—при руке; свечу—прочь, потому что боялся: жегло̀,—злое, желтое,—жгло.
Все-то линии рук рисовали ему синусоиды; точно крылатая; мысли—звук рун; ей под горло от гру́ди, от радостной арфы, как рурурурý!
Точно гром!

В белом фартучке сядет при кресле; и глаз свой, то котий, то ланий,—к нему; а дежурство отбыв,—появляется снова.

Из вечера мглового месяц—перловый; белясы метлясые травы; а лист—шелестит; окно—настежь; из кресла—Иван, брат,—осегрий свой нос растаращит на месяц ноздрями, пещерами; усом, как граблею, в окна кусается: с лаями; трясоголовый, растрепанный; глаз, как огонь.

Кто-то станет и скажет в окно:

— «Дуролопа!»

— «А вы бы потише».

И—штору опустит; и—слушает бред:—

—Перетертую тряпку Том,
Пес,—
принес.
В дом.
Ее ел: костогрыз!
А потом—
Кто-то,—
Ком
грязный грыз
Тряпки трепанной [1].

Раз он, халат расплеснув, лоб утесом поставив, забил разрезалкой по воздуху, громко вылаивая—стишок, собственный:

Знаки Зодиака
Строят нам судьбу:
Всякая собака
Лает на луну.
Истины двоякой
Корень есть во всем:
В корне взять,— собака,
Не дерись с котом.

Серафима Сергевна—рукой за флакон: чувства—дыбом в нем; волосы—дыбом; трет голову; свои седины, протертые одеколоном, в простертые дымы годин, точно в сон,—клонит он.

Появилась с котом:

— «Кот, котище!»

В колени. Котище—рурычит; катают кота; кот—в царап; а «Иван»—в уверенье, что он кота на-голову надевал: вместо шапки;

---

[1] См. «Московский чудак» и «Москва под ударом».

к коту—принялись приучать, чтобы, вытравив старую ассоциацию, новую в память поставить.

— «Вот,—Васенька!»

— «Очень забавная штука!»

И сел, губой шлепнув,—с котом.

Но лукавую шутку подметивши в бреде, она эту шутку выращивала, чтоб отвлечь от страданья; лукавец за шуткою, как из норы, вылезал; и с посапом смотрел, как она представляла—оленя, слона.

Где страданье, как громами, охало, на сострадание переводила страдание.

Повесть страдания—совесть сознания.

Солнцем над тьмою страдания—самосознание: вспыхнуло!

. . . .

Вспыхнуло из-за спины; круто перевернулся; и—видел: блеск белый живой, электрической лампочки: комната; в ней у окна он стоит, прислонясь, вырезаясь на небе, усеянном звездами; то—отраженье от зеркала.

Вот же он!

ДЕЛО ЯСНОЕ

Серый халат с отворотами—стертыми, желтыми? Как? Не на нем? На нем—пестрый,—халат был подарен Нахрай-Харкалевым, профессором и знаменитым ученым, объездившим свет; он приехал из Индии, с белоголовых высот гималайских с мурмолкой малайской; года, нафталином засыпанный, прятался; вынут, надет; а мурмолка—на столике: вместе с футляром очков, с разрезалкою,—вот!

И прошлепал он к зеркалу—глазом вцепиться в квадратец повязки.

— «Сто сорок сорок! Почему-с? И—откуда?»

Глазную повязку поправил.

Коричневый клок волос—где? Обвисает, как снегом, нестриженным войлоком: видно не красился.

Как вырос нос? Щека, правая,—всосана ямою, шрам, процарапанный ярко,—вишневого цвета: стекает в усищи, которые бросились над губами, как грабли над сеном: седины свои ворошить.

— «Дело ясное!»

Взаверть,—свою завернувши ноздрю, закосив на себя самого

чрез плечо; на плече он серебряный волос увидел; серебряный волос с халата он снял.

Тут малютка какая-то,—барышня очень приятная, зà-руку взявши, от зеркала прочь повела:

— «Не полезно, профессор, разглядываться!»

Кабинетик был маленький; в темнозеленых обоях себя повторяла фигурочка: желтая, с черным подкрасом.

Где туго набитые книгой шкафы?

Вот—кровать; стены белые, гладкие, с голубоватой холодной каемкою; коврик.

— «Скажите пожалуйста!»

Жмурился, точно от солнца, внимая себе:

— «Ничего-с... Образуется...»

Образовалась же комната—все-таки: было то—чорт знает что!

— «Извините, я—кто, с позволенья заметить?»

— «Профессор Коробкин».

— «Как так? Быть не может!»

И руки потер: формуляр его ввел в овладение именем, отчеством, званием, рядом заслуг пред наукой; и—«Каппой»—звездою.

Припомнилось,—

—как Млодзиевский его волочил, точно козлище в аудиторию—кланяться в щелки ладошей и в гавк голосов сквозь гвоздику кровавую; этот венок перед ним два студента держали, а Штернберг, астроном, огромную, «Каппу»,—звезду, в отстоянии тысячи солнечных лет,—подносил!

Десять чортов,—иль тысяч пустых биллиоников, лучше сказать, километров, его отделили с тех пор от... «Коробкина»?

— «Каппа-Коробкин!»

Тут он, положивши на сердце футляр от очков, как державу, другой рукой разрезалкой взмахнувши, как скипетром, над своим царством, над «Каппой», звездой,—депутацию встретил, иль...: личико высунулось, на одно став колено под ним; эта белая тень на халате, малютка, ему оправляла...—как-с, как-с, нет позвольте-с,—...штаны?

— «Я и сам-с!»

И к окну отошел: подтянуться.

Серебряносиний издрог бриллианта, звезды, встал в окне; в размышленье ударился он, оправляя штаны: небо—дно, у которого сорвано всякое дно, потому что оно—глазолет: сквозь прòсторы атомных пустот; где протоны—сияют, как солнца; созвездья—молекулы; звездное небо,—вселенная, клеточка: звездного, или небесного тела, в которое он, как в халат, облечен.

И он выкинул, рявкнув, в окно разрезалку свою:

— «Макро-мир,—как сказал Фурнье д'Альб».

И увидел: с ним вместе в окошко знакомое, будто Надюшино, дочкино, личико,—высунулось; и ему из окна объяснял: небо—дно, у которого сорвано дно; и оконный квадрат, ими вместе распахнутый в небо,—распахнут из неба же.

— «Небо,—наш синий родитель: протон; так сказать, электронное солнце!»

Тут понял, что—сад перед ним: зазаборный домок на припеке желтел в мухачах—в этом месте; и Грибиков шел провертяться; а тут—что такое теперь?—Неизвестный подъезд?—Над подъездом какая-то твердая морда из камня морочила.

— «Где ж переулок?»

— «Какой?»

— «Табачихинский?»

— «Девкин!»

— «Взять в толк!»

И—умолк.

Не сказал, что тревожится: память отшибло; вчера же он ехал к Матвею Матвеевичу Кезельману, к кассиру Недешеву, с дачи, в Москву, получать свое жалованье и с Матвеем Матвеевичем о делах перекинуться; пер он полями на станцию: и собиралась гроза; встала желтая тучища; после ж,—ударила молния.

Деньги-то, жалованье: получил, и—куда-то засунул! Фу,—чорт!» и похлопал себя по штанам: они—пусты.

. . . .

Актер входит в роль, ее даже не зная; и—он: он трудился над ролью «К о р о б к и н».

КОРОБКИ ЛОМАЛИСЬ

Его навещали: пришел Задопятов:

— «Уф,—сам я стал одр: умерла Анна Павловна».

Он—не расслышал: зажмурился, пальцами отбарабанив, внимая себе, как другому.

— «Будь бодр: чего доброго,—встанет твоя Анна Павловна».

— «Да у м е р л а,—говорю».

— «А... Взяв в толк...»

И—умолк.
Приходила сюда Василиса Сергевна:
— «Мы—что; мы—живем: а вот Надя твоя долго жить приказала...»
— «Что ж: я поживу еще...»
Видно,—не понял; вдруг—понял он:
— «Наденька?.. Как?»
И из глаза, единственного,—в три ручья!

. . . .

Громко фыркая, плачась, что вот он—один и что не́кому плакаться, протопотошил с неделю под дверью; и выплакался, положив седину, на колени: к сестре.
Лир—Корделию встретил.
Плаксивый период прошел.

. . . .

С того времени в памяти рылся: расспрашивал:
— «Ну, а Цецерко-Пукиерко, чорт побери,—что и как?»
Василиса Сергевна:
— «Ах,—не говори: скрылся Киерко твой; след простыл; писал—в «Искре».
— «Все умерли,—что ли?»
И глаз—вспыхнул искрою; не избежать горькой доли; и глаз—погас! Каждый из нас, вспыхнув искрой, знать, гасит свой след—в бездне лет.
— «Да!»
Без дна—времена!
И по памяти он заметался кругами: года улепетывали, как испуганный заяц; и он припустился в бежавшее время,—испуганный заяц!

. . . .

И вновь косохлест, подымающий бреды, где—Грибиков (дрянь снится нам) из-за форточки сызнова фукнул; и—сызнова рухнули прахом года, как в дыру:—
«Дррр!..»
— «Война мировая, профессор Коробкин!»

. . . .

«Драмбо̀м»—

—точно рапортом дробь выдробатывал, вздрагивая, барабан: др-дррр—

—тарртаррадар!—

—дрр-дро!

— «Пра̀во! Раз!—вскрикивал прапор в туман: за забором отряд пехотинцев прошел: «Дррoo!»

КАРЕТА, КВАДРАТ

Удар, драма, дар:—

—даррр—

—ман... дррpooo!

Головою отпрянув и носом влетев в потолок, он вскочил, точно бой барабанов, свою разрезалку, как меч вознеся.
И залаял, кидаясь,—залаял усами: во тьму:
— «Патентованный вы негодяй-с... Я-с—ученый; и—да-с: патентованный!»
Ус белой граблей топырился: форточка в ухе открылась; и голос, плаксиво визжащий, как ножик точимый, мозги и составы оттуда разрезывал:—

— «Что же,—давайте: давайте тягаться; попробуем, как патентованный ножик задействует над патентованным мясом!»

— «А, а!»
Вынималось дыхание; тряпкой заклепывали разорвавшийся рот; он, всплеснув голубою полой, на которой оранжевые, сизосиние, желтые пятна в глаза Серафиме взлетели, зажав свои уши, спасался: под столик—на корточки сесть.
Серафима—под столик: на корточки сесть, успокаивать, одеколоном за ухом тереть, чтобы—

—форточка в ухе: закрылась.

. . . .

— «Дррoo!»
— «Дроби пролеток, профессор: чего вы волнуетесь?»
— «Дроби?»
К окну выходил уверять: эти дроби открыл математик Бернулли:
— «Вот что-с: теорема Коши,—та, которая связывает теорему Фермата с рядами дробей в разложении сумм степеней...»
И в светящийся блеск, пролитой из окна, засветяся своей сединою, он тыкался пальцем в пылиночки, тщася их вычислить:
— «Дробь: единица,—гм,—в степени «эм», плюс, два в степени «эм», плюс ряд точек, плюс «эн», степень «эм», по—гм-гм—степеням: «эн»,—пылинку на пальце разглядывал; к пальцу приставился носом:



— «Бернулли ввел дроби такие; поэтому их называют Бернуллиевыми; в них память прочислена; а то—дыра вместо памяти».

Глазом своим из опухшего века глядел вопросительно: память в квадрат возвести? Открыть скобки?

— «Сто чортов и двадцать пять ведьм!»—залягался он носом.

Удар за ударом:—

—оглоблей—

—по памяти!

Черный квадрат, а не память: на глазе сидит.

. . . .

Он выносит за скобки его...

— «Не срывайте повязки!»

И—перекувырки: незыблемый остров, звезда его, «Каппа», которую знал, как пять пальцев, где жил,—унырнула, как кит под ногами; квадрат, став каретою черною—ринулся; он—за квадратом: довычислить!

— «Тряпку и мел!» [1]

И сквозь солнечный луч, расплескавши халат, как павлиний, играющий красками хвост,—в двери он; а—за ним: Серафима, Матвей Несотвеев и Тер-Препопанц,—все,—повыскакав, ринулись в планиметрические коридоры: со шлепом и гавком!

За всеми за ними, глаз выкатив, ринулся пузом Пэпэш-Довлиаш.

Привели, уложили:

— «Пузырь!»

Кризис кончился.

ПОСТУПЬ ПОСТУПОЧНАЯ

Отрывали ее: в этот номер, в тот номер, их—шесть!

И из номера в номер, как тихий теленок, он, туфлею шлепая в пол—

—за ней шел!

И носище просовывал в стаю халатов—узнать: Пертопаткин, Кондратий Петрович, войну отрицавший, за это сидевший,—какой поднимает вопрос?

Поднимался вопрос:

— «Человек, что такое?»

---

[1] Бред имеет содержанием события первого тома «Москвы».

Пух, пыли,—взлетают с зѐмли; град—слетает из неба; и он—слетал: нà-голову:

— «Человек... есть... число...»—искал слов.

— «Не гармония ли?»—сомневался Кондратий Петрович.

— «А я-с утверждаю: число—искал слов—«звуковых».

И просил Серафиму Сергевну: подсказывать.

— «Ритм?»—сомневался Кондратий Петрович.

Зрачок, как орленок, плескался, как крыльями,—веками:

— «Он—отношенье числа колебаний». Просил Серафиму Сергевну: подсказывать:

— «Скажем,—к рукам?.. Или,—скажем,—к стопе?»

— «Что ли,—к поступи»—слова искал.

И зрачок ушел в веко, как желтый орленок: в гнездо.

И Кондратий Петрович, всплеснувши руками:

— «К поступку?.. Как сказано-то?»

Николай Галзаков, заболевший солдат, приседал от восторга: орлом:

— «И выходит-то—вот что: ногами мы слушаем!»

Желчный Хампауэр подкрался: второе пришествие, собственное, проповедывать.

— «Слушайте поступь мою; это—я: к вам пойду!»

— «Вот: изволите видеть!»—как лопнет за спинами.

Видели, что Николай Николаич, Пэпэш-Довлиаш, с громкой жалобой Тер-Препопанцу на кучу показывал, с Тер-Препопанцем подкравшись и слушая жадно протянутой челюстью; он к Серафиме Сергевне с иронией выкинул руки свои:

— «Ecce fèmina!..[1] Вы-то что смотрите тут!»

А профессор, как пес, защищающий дом—на него: хрипло взлаял:

— «Живем, сударь мой,—говоря рационально,—у вас непорядочной жизнью-с: горилл, павианов, гиббонов-с!..»

Пэпэш, не ответя, показывал с дьявольской радостью им на отверстие двери глазами.

— «По камерам!»

— «Там—гулѐ-ву!»

Пертопаткин к нему приставал:

— «Верю в правду, в сознание, в категорический императив, а не в грубое право насилия, здесь практикуемое».

---

[1] Вот женщина.

Николай Николаич же ручку—в карман, а другою в бородку; профессору пузом своим передрагивал:

— «Как самочувствие ваше, коллега?»

— «Прекрасное...»

— «Стул?»

Глаз напучив,—бараний, пустой,—ну приплясывать ножкою, «Тонкинуаз» напевая; и—вдруг: к Серафиме:

— «Клистир ему ставили? Ставьте!»

И броской походкой—бежать: коридорами; и—выключатели щелкали; в ламповых стеклах выскакивал блеск,—электрический, белый.

. . . .

Губа—принадлежность едальная; фейерверк слов в ней—откуда?

Под небо ракетою выбросил: силою мысли свершится-таки обузданье гиббона прямящею правдой: «д а» правды есть—категорический императив, что ни скажешь!

Пузырь из плевы—человеческий глаз: так откуда же фейерверк?

С ним он шарчил коридорами: правда есть первоначало, «п р а» в «д а»!

Шаркал шаг; и,—да-с:—раз; и—да-с: два-с!

— «Голова,—ладно: при!»—Пятифыфрев подбадривал.

Три... Семь...

И—темь.

Николай Николаевич—действовал.

. . . .

Скорби седые его принимала на грудь; и расческою космы чесала; к ней близил единственный глаз; ей гырчал успокоенно в ухо:

— «Мой батюшка, «ламбда»—простое число...»

— «Л а м б д а» ж с вычетом трех, разделенное на два,—Бернуллиево!»

. . . .

Как лавина, из белого облака, грозно сверкнув серебром, грохотаньем и мраком напучась,—тяжелою массою рушится в пропасти,—так Серафима, из воздуха воздух, серебряная в серебре,—грохотала.

ПРИШЕЛ ТАРАКАН

Как, чорт, отчество, барышни в фартучке? Ротик—малиновый; личико—мило овальное; платье—вишневое...

Ей он подшаркнул:
— «Ну вот-с!..»
— «Говоря рационально...»
— «И—я-с!»
И смотрел исподлобья с приятным лукавством, в обязанность влопавшись: личность свою на себя, как халат повисающий в шкапе, надеть.
На плохом самокате возможна езда; взяв большой интеллект в свои руки,—поехал на нем: дипломат!
— «Я-с—к услугам-с!»
У губ появилась ирония.
— «Что, мой родной?»
И глаза заглянули в глаза.
И взяла его за̀-руки; он же заплатой—в звезду заоконную; глазом—в нее, скрывши дырочку в памяти, темою выбрав вопрос отвлеченнейший.
— «Вы камфару положите; и к ней через месяц придите: она—улетучится...»
И перешлепнул губою:
— «И—я: в свои думы».
И клок бороды ухватив, ткнул под нос:
— «Полагаю: в системе Минковского время быстрее...»
Прислушался к голосу из-за стены: Николай Николаич, морская свинья, видно свинствует в номере «шесть».
— «Шут ломается!»
Нос завернул, будто запах услышал плохой:
— «Фу ты, чорт»—растерял свои мысли.
— «О чем я?»
— «О времени».
Вспомнил: к столу—начертать знак числа:
— «Чтоб представить его»,—показал ей число—«надо взять единицу; и к ней, говоря рационально, приписывать столько нулей, чтобы два миллиарда лет жизни наполнить, и ночи, и дни приставляя нули к единице».
Отставивши ногу, качнул сединой, переживши число, им представленное, в миллиардах лет жизни, осиливаемой черчением ноликов, между двух жестов руки Серафимы Сергевны, протянутой к скляночке с бромом, и скляночку эту на место поставившей.
— «Вы—Серафима?.. Простите, пожалуйста,—отчество?»
— «Я—Серафима Сергевна».
— «И я говорю: Серафима Сергевна!»

Похлопал себя по груди; и,—огладивши бороду, сел.
Серафима Сергевна смеялась здоровым, грудным своим смехом; оправила скатерть:
— «Я чай заварю».
Наводила уют.
— «Кипяток: в номер семь»—с тихой силою: к двери.
Рачком прибежал чернокан; сел у ног и свой ус философски развеял; профессор бросал ему крошечки, припоминая, как мухи садились на нос; но кусаки исчезли: пришли тараканы.
Они распивали чаи; голова Галзакова в дверях появилась; за ней Несотвеев стоял:
— «Сестра?»
— «Брат?»
И профессор, поднявшися с кресла, их звал к чаепитию; стулья придвинул им сам; и горячий стакан передав Галзакову, он стал занимать разговором гостей:
— «У китайцев «два»—«пу», или—«уши»...»
— «Поди ж ты»—Матвей обжигался губами.
— «Шесть: «Т а т и с и т у́ п а»—зулус говорит»—и вознес разрезалку в окошко, под звезды он.—«Значит: взять палец большой руки, левой-с, когда пересчитана правая-с!»
Так это выревнул, что таракан, крошки евший,—фрр: в угол!
Все—в смех.
Серафима Сергевна сидела с расплавленным личиком: в розовом жаре своем.
Николай Галзаков подмигнул:
— «Не нарадуешься: голова отрастает!»
Профессор же пил с наслаждением чай; он подставил стакан:
— «Еще, Наденька!»
— «Я—Серафима Сергевна».
— «А?»
И—почесался за ухом: когда он, бывало, работу откладывал, то—шел он к Наденьке: броситься словом!
Матвей Несотвеев шептал Серафиме:
— «Как мать, и, как дочь, ему будете!»
— «Значит—близнята»—решил Николай Галзаков, опрокинув на блюдце стакан.
Значит:—
—Лир—
—и Корделия!

Кэли, Лагранж и Кронекер[1], как тени родные, ходили за ним по пятам; эти образы он переделывал в факт юбилея, в плод жизни; неважно, с кем прожил ее: с Василисою, иль с Серафимою...

Ночь исчезает на ночи, в которой сияет звезда; он звезду увидал в месте ока—затопами света: не свечку, которой жгли око; он, в звездное пламя взвитой, прядал пульсами жизни; на рану,—на красную яму,—надели заплату «о н и»: не на жизнь!

Она—фейерверк!

Абелю[2], тени родной, лоб подняв на пустое пространство, твердил:

— «Исчисление Лейбница съел инженер!»

И—в пустое пространство твердил:

— «Социология,—вывод теории чисел!»

А лоб, точно море, в пустое пространство свою уронивши волну, прояснялся:

— «Закон социального такта найдет выраженье в фигурном комплексе».

И—к Софусу Ли[3],—

—к этажерке:

— «Мой батюшка, числа—комплексы живой социальной варьяции!»

Так убеждал этажерку он: Софуса Ли.

Пифагора связав с Гераклитом, биение опухолей—на носу, на губе, на лопатке, в глазу,—пережил сочетанием, переложением чисел,—не крови; кривые фигур представлял—перебегами с места на место: людей.

Игру выдумал.

— «Будете «а»...—точно пулей сражал Пертопаткина.

— «Стало быть...»—оком наяривал дроби.

— «Вы станьте сюда вот».

И оком толкал:

— «Не туда-с!»

— «Ну, вы будете—«бе»—разрезалкой ловил Пантукана.

— «И, стало быть...»—бил разрезалкой в плечо.

— «Вы параболу справа налево опишете...»—и разрезалкой параболу справа налево описывал.

---

1 Математики.

2 Математик.

3 Математик.

— «А Пертопаткин параболу слева направо опишет...»—параболу слева направо описывал он.

Завернувши ноздрю, доставал свой платок: отчихнуть; носом—в небо: поднюхивал формулу.

— «Ну-с, а теперь»—пальцы прятал под бороду; и их разбрызгивал в воздух из-под бороды:

— «Разбегайтесь!»—

— «Из «бе-це-а» —

— в «а-бе-це»!»

И Пертопаткин ему:

— «Мы играем, как в шахматы!»

— «Это же-с шахматы нашего века... А в Индии в шахматы,—ну-те—играли людьми: не фигурами; ставились воины; и—выводились слоны».

Параноик, дразнило,—ему из кустов:

— «Каппкин сын это выдумал!»

— «Справьтесь в истории шахмат»—профессор в ответ.

И Пэпэш-Довлиаш с наслажденьем чудачества эти подчеркивал:

— «Видите?»

Видела: силится всем доказать, что профессор Коробкин—дурак; демонстрировал Тер-Препопанцу (я—что де: оставим!):

— «Вы видите сами!»

Орлиная, цепкая лапа, схватившая курицу: курица в воздухе бьется; и—видит: из неба, из синего, злой и заостренный клюв к ней припал!

Умоляла его Серафима.

— «Профессор,—сдержитесь».

Переорьентировать всю биографию (детство, Кавказ, надзирателя, годы учебы, женитьбы)—не просто; и так он с усилием сдерживал мысль, чтоб в нее контрабанда не влезла.

Себе объяснял, как попал в этот дом (знал,—в лечебнице, болен): его шибануло оглоблею до сотрясения мозга.

. . . .

— «Я все вот стараюсь понять его жизнь и ему показать: на картинках»—пыталась другим объяснить Серафима Сергевна—«Я их подбираю со смыслом; и этим подбором стараюсь помочь ему память о прошлом сложить; его бред—переводы действительно бывшего на язык образов, очень болезненных; образами излечить надо образы; вправить фантазию в факт».

Приносила альбом; и—подобранные мастера Возрожденья прошли: роем образов:

— «Это—Карпаччио».

— «Это—Мазаччио».

— «Вот—Рафаэль, Микель-Анджело».

Точно родною дорогою от Рафаэля к Рембрандту вела, совершая в нем роды:—

—из фабул страдания вырос осмысленный облагороженный образ увенчанной жизни!

И над Микель-Анджело плакал он:

— «Вот: человек».

И увидел: глаза ее, золотом слез овлажненные,—голубенели звездою.

— «Вы поняли?»

ГЛАЗОМ, ОТКРЫТОЮ РАНОЮ, ВИДЕЛ ОН

Свет—ясно желт: канареечен; серая, карекофейная—тень; только дальних домов ярко-желтые призраки нежно чистеют: медовыми окнами; встал из-за рденья деревьев профессор Иван, жмуря глаз, как от солнца.

То было тому назад—год.

С Серафимой глядели: как смуглыми скулами пучилось с лавочки оцепенелое тело в шинели, склоняясь на озолощенный костыль, сжатый в пальцах; серели: щетина и щеки; и врезались: лоб костяной, в синих жилах, невидящий глаз, застеклелый, как у судака.

И костыль,—

—золотой от луча!

Пятна ржавые ярких расхлестанных листьев качались перед обескровленно мертвым.

Профессор Иван—с глазом, точно с открытою раной, стоял, опустивши главу, точно гостя высокого встретил; себе самому, как другому, внимал.

И ему Серафима:

— «Смотрите-ка... С прифронтовой полосы; его мучили, били, едва не повесили; он обвинен в шпионаже!»

— «Невинно...»

— «Хампауэр, Иван».

Два Ивана!

Вдруг—

— трупы не плачут:—

—из белого из остеклелого глаза слеза,—человеческая,— в оке, видит он, виснет, отблещивая стеклянеющим перлом: в перловые росы.

Слезе поклонился профессор Иван, потому что страданьем, как палкой, ударило; это—страданье Ивана Хампауэра, а не его!

Понял: совесть сознания—повесть страдания.

ТОМОЧКА-ПЕСИК

Однажды, полгода назад, кто то в двери усиленно стал колотиться; профессор уставился с громким:

— «Войдите!»

Влетел—

—Никанор!

С независимым видом, как будто расстались вчера лишь, моргал перед братом он, ногу отставив,—таким гогольком:

— «Здравствуй, брат!»

И стремительно выпала из задрожавшего пальца очковая спица, чесавшая ухо профессора: брат, как на нос, ему сел.

Носы вытянув, стойку они подержали, как псы под забором (ногой—на забор); брат, Иван, приседал Никанору под нос и заглядывал глазками в глазки:

— «Ты,—ясное дело?»

Зашаркал с попышкой.

— «Как видишь»,—руками в карманы отчаянно всучивался Никанор.

Что же дальше?

Формальности: чмокнулись.

. . . .

Брат Никанор называл, как и прежде, его:

— «Брат, Иван!»

Брат, Иван, с «Никанорушка» шаркал вокруг Никанора, бросая глазочек, как мячик, мальчишкой метаемый под колоколенный шпиц; Никанор же, пофыркивая на Ивана, на брата, глядел сверху вниз, как и прежде, когда брат обшил его: фрак ему сшил, шапо-клак подарил.

С головы до пяты, до последней сорочки обшил, начиная с енотовой шубы, в которую брат, Никанор, исчезал; это было лет

двадцать назад; Никанор государственное испытание сдал: в Петербурге.

Оказия: шуба исчезла, а брат, Никанор, голышем появился в Москве из Сарепты, куда он заехал случайно.

Багаж стибрил жулик; но брату—ни слова:

— «Пустяк-с!»

— «Так себе!»

— «Предрассудок!»

Хотя бы спасибо!

Ходил легкомысленно лето и зиму в тряпченочке (плед полосатый), швыряя ее независимо в руки почтенных швейцаров гимназии, где стал служить.

. . . .

И теперь прилетел независимо он.

— «Как ты тут?»

Будто не было черной заплаты, кровавого шрама, седин; брат, Иван, завернувши ноздрю, ею чмыхал:

— «Да так-с: ничего-с...»

— «Вопрос—в том...»

И—волчком завинтили они меж постелью и столиком: брат, Никанор, вокруг брата, Ивана; и столик у брата, Ивана, как у бегемота:—

—крах!

—бац.

И с блаженством носы в потолок запустив, друг о друге сужденья свои изложили: друг другу.

Попрежнему брат, Никанор, зашагал вкруг стола; и профессор попрежнему тщетно гонялся за ним с кулаками: по кругу:

— «Всегда повторяю я: выломал, чорт подери, из себя нигилиста какого-то ты!»

Никанор, как и прежде, парировал:

— «Ум—хорошо, а два—лучше: ты, вот, математиком»—и, как морской конек прыгал он—«вышел; я—вышел»—ерошился едко—«словесником».

С вызовом:

— «Кто из нас лучше,—так, эдак?»

Но брат с кулаками его настигал в полукруге стола; и тогда, гонор сбавив:

— «Я думаю»—он удирал от стола: взаверть, скоками.

— «Думаю, чтó—оба лучше!»

Дразнился за креслом.

Карьера учителя шла в нисходящей градации: Питер, Варшава, Саратов, Ташкент!

Спор, стремительно вспыхнув, стремительно же обрывался; отспорив, стояли: носами—друг в друга; и гладили бороды с нежным блаженством:

— «Так!»

— «Вот!»

И,—как прежде, сперва помолчав:

— «Никанорушка,—что же ты думаешь делать в Москве»—брат, Иван, с приседанием.

— «Да по финансовой части я думаю»—брат, Никанор, как в окоп, перепрыгнул за кресло: от столика.

— «Именно,—что же-с?»—выпытывал брат, наступая на кресло: от столика.

— «Думаю в банке служить».

В Государственном банке,—не в банке с водой.

И пока Серафима Сергевна не выставила Никанора Иваныча, он, ощетинившись, тыкался.

Был он таков: в коридоре небрежное и запоздалое «мое почтенье-с» услышалось: издали.

. . . .

Он—зачастил; он—влетал; он—ерошился:

— «Ти́телев думает».

— «С Ти́телевым полагаем, решили: условились».

Переселение брата, Ивана, из этого дома—решенное дело; а—брат: брат Иван?

С философским спокойствием, с юмором и с пожиманьем плечей разрешился сентенцией раз:

— «Не могу,—дело ясное,—лекций читать: рассуди-ка,—ну как я прочту? И суть—в этом»—прошаркал он в угол; и перевернувшись, пошел из угла:

— «Уже—второстепенное дело, где жить: там, так—там; здесь, так—здесь».

Горько: руки—в карманы, а нос—Никанору:

— «Скончалась ведь Наденька!»

Спины подставив—в углы: из углов; молча строили: диагонали квадрата.

Один огорчался, что Наденьки нет, а другой заключал, что о собственном доме у брата Ивана составилось здравое мненье: сиденье в коленях Никиты Васильевича—не сидение в кресле своем; о возможности жить им вдвоем, или даже втроем, если взять на

учет Серафиму Сергевну,—закинул он слово; и тут же умолк, потому что заметил волнение.

Это—естественно.

. . . .

Брат произвел революцию в брате; с приездом его поправленье заметили все; не рысцой, а галопом, профессор помчался к осмысленной жизни по дням.

Аналогия вынырнула:

— «Права Наденька-с,—что ни скажи: песик Томочка стал человеком».

— «Как?»

— «Бегает?»

— «Где?»

— «Здесь?»

Кто? Как? Никанор?

— «Впрочем»,—видя испуг Серафимы Сергеевны,—«я—пошутил-с!»

Аналогия эта исчезла.

У ДЕВКИНА ДЕВКА

У Девкина встала церковенка.

Ходит девица; и парень—за ней: завитой:

— «Расхарошая краля хрестей, почему вы такая лимоночка кислая?»

— «А отчего вы такой раскурчавый баран?»

— «Я для вас протувар перемерил... Желаете,—семячки-с?»

— «Благодарю: чай с изюмом пила... Не трудитесь напрасно: сапог даром сносите».

— «Я—не какой-нибудь: пару намедни купил, шубу шью».

Разговор обрывается; фортка захлопнута.

Элеонора Леоновна перед цветочком, под скворушкой тонет в диванчике ситцевом, видясь в обоях веселого цвета над ярким, пестрявеньким ковриком; выглядит свеженькой, мило невинной; не скажешь: шельменок.

И все:

— «Домна Львовна...»

Да:

— «Да,—Домна Львовна».

И ей Домна Львовна:

— «Куда? Посидели бы!..»

Элеонора Леоновна—к Фиме с кулечком сластей для Ивана Иваныча; Домна же Львовна—одна; Мелитиша—кухарка, друг дома,—на кухне; а Фимочка—в клинике; чаю проглотит,—в бега.

Редко виделись с Элеонорой Леоновной; Фимочке не о чем с ней; она—тупится: молча:

— «Такая хорошая вы».

И от этого Фимочка кажется беленькой, глупенькой; русые волосы в солнечном лучике великолепно отблещивают: как сиянье вокруг головы; а скворец—верещит.

— «Моя жизнь — не такая».—Леоночка ей — «я — порочная, грешная...»

Фима терпеть не могла, когда козий прищур и русалочий взгляд появлялись при этом; и знала, что если она пожалеет,—получит щелчок:

— «Эти тонкости ваши рабочему классу чужды».

Своей ручкою с матовой прожелтью выщепит волос порывисто; и—заостряет рабочий вопрос с таким видом, как будто она собирается Фиму за локоть куснуть.

И какое-то—«ах, да зачем»—подымается.

Был разговор только раз: о друзьях и желании их, чтоб профессор с сиделкою жили во флигеле Ти́телевых; в Серафиме, как птичка, вспорхнуло сердечко; сидела с открывшимся ротиком; Элеоноре Леоновне в глазки агатовые загляделась она: так и вспыхнули.

Элеонора Леоновна тут же себя заморозила:

— «Ну, я пошла».

Но заботою этою стала близка она Фимочке.

Все же дружить с ней нельзя, как с Глафирой Лафитовой, через которую и познакомились, где-то случайно; Глафира, которая лишь социальным вопросом жила, а не личною жизнью, уверила:

— «Ти́телевы превосходные личности!»

Бредила эта Глафира,—брожением масс, производственными отношеньями; слышала тоже не раз от Глафиры о некоем Киерке: громкое имя в рабочих кругах, этот Киерко долгие годы с профессором жил бок о бо́к; он теперь—нелегальный.

Но хлопоты о помещении—не без него.

— «На Леоночку не обращайте внимания; ей тяжело; и—потом: фанатичка».

И верилось, что тяжело; а вот «ч т о ф а н а т и ч к а»,—не очень.

Глафира в контакте: Шамшэ Лужердинзе, Богруни-Бобырь,

Ержетенко, Жерозоз, Торборзов, Геннадий Жебевич и Римма Ассирова-Пситова—ее товарищи: они—партийцы.

Глафира Лафитова,—да; что «Леоночка»,—как-то не верилось; Фима дичилась, когда с сухотцею, с прикурами, Элеонора Леоновна ей:

— «Вы опять с вашим сердцем».

А тут—Домна Львовна:

— «Леоночка, это—чертенок, шельменок... А все же в обиду ее я не дам».

Вся серебряная, небольшого росточку, в очках; платье с белыми лапками карекофейного цвета; и—в чепчике бористом; то у окна под скворцом восхищается Глебом Успенским; а то у плиты учит строго свою Мелитишу картофель томить; то по Девкиному переулочку с палкою бродит, укутавши голову в шапочке круглой фуляровой, с черною шалью.

А вечером—за самоваром:

— «Что, Фима, страдалец твой?.. Ты береги уж его...»

— «Да уж я...»

И—к «мамусе», ее теребить: завертушка! В кофтенке проношенной, старенькой вертится; личико станет лукавым задором; и белыми зубками мило малиновый ротик сверкает.

В последние дни приставала старушка:

— «Пошла бы к Леоночке: не заболела ли? Скрылась... Ни слуха, ни духа».

Пойти как-то боязно ей.

ВЛАДИСЛАВИНЬКА

Все же—калошики, зонтик: пошла в синесером своем пальтеце, в разлетавшейся шали, кисельносиреневой,—в перемельканьи (на карем заборе—крылатая, спорая), быстро крутя переулками: в головоломку играли—тупик с тупиком.

Едва вырвалась—в пригород.

— «Козиев Третий—тут где?»

— «Ты вертай водоточиной—к Фокову: вправо; пройди Фелефоковым; будет тебе Гартагалов; там—прямо валяй».

И уже тротуарчиком. Козиев пляшет, заборами валится; дом Неперепрева выпер; и—

— Психопержицкая —

— ржет за забором с Егором.

И бродит, косясь на заборы, Маврикий Мердон.
— «Этот Ти́телевой?»
— «Этот самый».
Плечо отзвонила; вот—ражая рожа: в воротах; оранжевый домик с оранжевой крышею; ропотень капелек; белая лысина; долго звонилась.
— «Здесь—жить?»
«Бац»: и—
— нос Никанора,
— очки Никанора —
— ударили по́-носу.
Он, подскочивши, очки и рукою, и носом ловил, потому что едва не слетели:
— «Вы—ччто̀?»
На руке, на другой, его шею ручонкой обнявши, чернявый младенец висел и ручонку слюнями мусолил, пока Никанор его ссаживал:
— «Ты, Владиславинька,—шел бы себе!»
— «Это кто же? Сынок Леоноры Леоновны?»
— «Шиш»—из кармана сухарик с платком носовым, в воздух взброшенным, вынул; и—тыкнул сухариком в ротик:
— «Вот,—на: тебе... Жри...»
— «Домна Львовна меня»...—густо вспыхнула, но Никанор перебил:
— «Вот—сюда; не споткнитесь».
Не дав ей раздеться, тащил коридориком: в ряби тетеричные; и влетела испуганным носиком—в ряби оранжевые:
— «Посидите».
Тут, сгорбившись, желчно руками в карманы всучась, он вильнул пиджачком, как балетною юбкой, затейные па изучая: и—был таков.
— «Я в переделку, должно быть, попала»—подумала, в карие крапы обой и горошины желтых, протертых кретонов.
Китаец фарфоровою закачал головой, потому что из двери в одной рубашонке младенец полез, а вдогонку старушечья, желтая лапа его за рубашечку—хвать, заголяя места неприличные: уволокла.
Из-за двери уставились: челюсть старухи и нос; покосились и спрятались.
Скрипнул сапог в коридоре; просунув испуганный носик, она обнаружила, что Никанор, встав на цыпочки, нос протянувши к носкам, восклицательным знаком давно, вероятно, восьмерки вычинчивал в ряби тетеричные, не решаясь войти; а расстроенный вид выдавал неприятный сюрприз, разрешаемый видно с собою самим в коридоре, под дверью.

Как легкий тушканчик, отдернулся он; но сейчас же—наскоками, боком:
— «Я должен заметить, что Элеонору Леоновну видеть нельзя-с»—очень громко, в сердцах.
Став малюткой, пищала она:
— «Домна Львовна... меня...»
Вдруг доверчиво он улыбнулся:
— «Я сам в затруднении: Элеонора—так, эдак,—Леоновна, что ли?»
— «Больна?»
— «Того хуже!»
— «Быть может, могу я помочь?»
Он пустился ее выпроваживать рядом услуг с подскакащьем, с подшарками, с перетиранием рук, с подношеньем калош, о которые руки он вымазал,—без объяснения.
— «Не оступитесь: ступеньки...»
Зачем-то бежал перед ней по дождю, до ворот; весь подол ей обрызгал, танцуя на лужах; возился с засовом, пыхтел:
— «Неприятная штука-с... Она—затворилась; и—не принимает... Терентия Титыча—нет: в Петрограде; так что̀: баба-Агния—в кухне, на рынке; приходится»—он покраснел—«Владиславика»—шаркал над лужею—«пестать».
И шаркая,—в спину: засовом; едва не зашиб.
Получилась одна чепуха; ничего не добилась; и—думала: от Домны Львовны влетит; шла с наморщенным лобиком.
Вдруг,—в спину:
— «Стойте-ка!»
Вздрогнула: за руку, дернув,—схватил Никанор: без пальто и без шапки:
— «Вас Элеонора Леоновна...»—путался—«просит прощенья: не может принять».
— «Ну,—да знаю...»
— «Я вам покажу помещение—брату Ивану»—тащил ее: все—деревянное, дряпое, пересерелое, перегорелое; флигель.
. . . .
Вот комната:

— «Элеонора Леоновна,— собственноручно: все выбрала, повеселее... Для брата...»

Диванчик, два креслица—в аленьких лапочках, в желтолимонных квадратиках, в белых ромашках: узорик на кубовочерном на ситчике; стеганое одеяло, закрытое пологом пестроковровым,— постель; занавесочки—переплетение синих спиралек с разводом оранжевым; цвет же обой—чернокубовый; точно на ночь фонарики; полочки, письменный столик.

— «Вот—вам, коли будете жить: теснота—не обида».

Какое слиянье цветов.—

—Бирюзоватая пра́зе́лень фона диванчика креселец,—в крапинах розовосерых и кремовожелтых, в горошинах, бледножемчужных; и—серокисельная скатерть на столике; цвета такого же коврик; обои—сиреневые.

— «Прелесть что!»

— «Все—сама...»

Коридорчик и кухонька.

— «Можно готовить... Тут—я»,—показал он на дверь,—«ну, тут нечего видеть пока».

Что-то сделалось с нею: волнение, радость, щемящая грусть. И—пошла под фронтоном оранжевым; кремовобледный веночек—над нею. В глазах закатившихся—только белки: от разгляда себя же—в себе.

А очнулась за городом. Почва зубри́нами; копань; песок пролысая; и—густой пес; это—выгон овечий; здесь—про́гарь костра; и—разлогая яма; и мальчик на розовой лошади скачет в лиловую лужу: под скос; и—раскроенный камень; и—красная глина.

И—домики: первые.

УРЧИ

Как Ти́телев в Питер уехал, то штука—опять откололась; решил Никанор:

— «Непокойный,—чорт,—дом!»

Началось—вот с чего: раз он в спальню влетел:

— «Вы—мешаете»—вскинулась ротиком Элеонора Леоновна.

Змейкою мимо него пролетела, раскинувшись в воздухе ручками; шляпа с пером из руки, описавши дугу, пролетела над носом его—на диванчик: пером—на ковер; Никанор, перед шляпой в позицию встав, заключил своевременно: значит опять—офицер!

Так и вышло.

В тот вечер забзырили издали; знал, что—машина; подскакивая под заборами, дернулась, остановилась она; иностранная барышня,—та, у которой с плечей соболя и которую видел в окошке кофейни, влетела в ворота: звонила у двери; вломилась в гостиную, опопонаксом наполнивши воздух; и вздернутым носиком,—на Владиславика, пупса; и—пальцем по носику пупса:

— «Пети мо́нстр, те вуаля́!»[1]

Он—затрясся; он—в плач; Никанор же Иванович, на руки взяв трясуна, ей подставил плечо и очки; но она на него—нуль внимания, зонтиком стукнула в дверь:

— «Ву з'эт прэ́т? Иль э та́н!»[2]

Тут же с перекосившимся ротиком Элеонора Леоновна,—к барышне выскочила:

— «Же не пё па!»[3]

И ей барышня:

— «Рьен,—мон анфа́н! Фэ́т вотр трист девуа́р!»[4]

Тут же, Элеонора Леоновна, ножкой подбросивши шлейфик под руку, его ухватила рукой.

— «Вы присмо́трите: за Владиславом!»

И рывами с барышней: в дверь.

Там машина, как тяпнет; бензинный дымок подлетел над забором: в окно Непере́прева; затарараукало рывами; за Гартагаловым умерло.

Мертвое время: семь, восемь, одиннадцать; в тени прихожей под зеркалом сел.

Только полночь вскричала звонками; в открытую дверь ворвалася: замкнуться на клю́ч—у себя ли?

Не знали, кого пропускали они с бабой-Агнией: Элеонору Леоновну, или—еще кого?

И Никанор колотился:

— «Так—чч-то̀: это—я, Никанор...»

— «Между прочим... Иванович... может быть...»

— «Так, эдак...»

— «Доктора?»

Не отвечали.

Тут он в толстолобые стены раскашлялся: взвизгом.

---

[1] А, вот и ты, маленький урод!
[2] Вы готовы? Время!
[3] Я не могу.
[4] Ничего, мое дитя... Исполните вашу печальную обязанность.

Решил: дела партии; ну там,—карают за что-то, кого-то; ей—жаль: эдак-так; и пошел на чердак—до рассвета сигать, наблюдая крупу световую за окнами:—

—по́д-полом—

—урчи: так зверь из норы животом, а не глоткою весть подает о своей дикой жизни.

ШИША ЗАГОЛИЛ НАД СУДЕНЫШКОМ

А утром сошел с бормотаньем, что лучше стоять в стороне с Владиславиком;—

—он—

—ненавидимый, брошенный шиш, без вины виноватый: не смей и родиться!—

И вот, посадив на колено шиша, он колено подкидывал; штуки забавные пальцем под носиком строил; повел коридором: шишонок, свой носик задрал, кулаченочком трясся доверчиво под животом Никанора:—

—и зверь любит ласку!

Но голосом, явно пропавшим, позвали из двери:

— «Войдите!»

С опаской вошел; и наткнулся на сутолочи из гребеночек, щеточек; зеркальце в сереньком кружевце, мелкой снежинкой осыпанном,—наискось: складками морщился стол; дымы синие, как над пожарищем, над диким креслом, в котором разбросанное рукавами и шлейфом, змеясь, издыхало ужасное платье;—а женщина, в нем шелестившая,—где?

Стал искать.

И—нашел: где подушка едва выглавлялась за ширмой,—в подушку вдавилося синее личико; выскочило; и за ним вылезала худышка, упрятавши голые плечи косыночкой; точно трехдневный мертвец, не в себе: дыры, блюдца,—глазницы.

Едва дорасслушал из дыма:

— «Коли человек самый близкий,—подлец...»

— «Дела партии»—в нем перемелькомі...

— «Убить?»

Он, с испугу на цыпочки встав, и вперяясь в нее из-за ширмы:

— «То,—да!»

— «А коли»,—посмотрели вплотную, вгустую они друг на друга—«коли это только нарост?»

Отмахнулась от дыма; и встала под ширму, забыв, что она́—в рубашоночке.

Супился туром, боясь слово молвить:

— «То,—нет!»

А она от него—головою в юбчонку; и сухенько затараракавши ротиком, из-за юбчонки—головка, два плечика, талия: ручкой дрожащей искала тесемку:

— «Мир—мерзь: как паук с паутиной; мы—мухи: все, все»,—затряслась на него она—«заболевают пороками лучшие...»

Голые палочки, вовсе не ручки, над ширмой взлетели, ломаясь; и он—отошел; как сказать, что в присутствии, все-таки, взрослого,—дезабилье: эдак-так!

Но она, голоножка,—за ним: из-за ширмы:

— «А я—погубила!»

Вцепилась в плечо:

— «Я... я... с детства»—прихныкивала—«и любила, и верила; он—изнасиловал: девочку; может быть,—больше: пытал... Не меня даже»—и перешлепала к зеркалу: что-то отыскивала:

— «Впрочем, это—догадка...»

— «Кто?»

— «Салом обмазал: разъел!»

Вдруг, увидевши голые плечики в зеркале:

— «Ай!»

И—под кресло; рывнувши ужасное, черное платье, уйдя, точно в шкуру в него: под ним вздрагивала.

Никанор понял: бред; и ее подхватив, как пушинку, по голубоватой стене понес в черное креслице: в серых, как дым, перевивчатых кольцах сложить; закрыл пледом:

— «Спустите мне штору».

. . . .

Казалось: за комнатой комната; в комнате кто-то, ее схватив за̀-руки, руку другую подкинувши в воздух,—галопом, галопом, помчится с добычей своей по векам в невыди́рные чащи свои.

Прогнала от себя Никанора.

. . . .

Опять-таки: Агния-баба на рынок ходила; и—видит он: просится шиш; пристает; он же не виноват, что—нужда; и пришлось, в руки взявши, шиша заголить—

—над суденышком.

Вот положение!

КУКИШ, БРАТ!

А через день—гулять вытащила.

Переулок: душок гниловат; шоколадные домики,—синие, кареоранжевые; дерева здесь, синичники, листьями темнотабачного и перепрелого цвета просыпались: олово в небе ползет и окрапывает водоточину; роспись сбегает малярною краской.

Сбежал человек с человека в окопе и вшами, и тифами: в тыл.

Они бегали, как угорелые; Элеонора Леоповна, точно стараясь стереть впечатленье,—со смехом икливым словами забрасывала:

— «Вы же знаете: Тира и я, мы—скрываемся; «Т и́ т е л е в ы»—псевдонимы; «о н и» ж—отыскали меня; значит—Тира открыт!»

— «Эдак-так,—кто «они»?»

— «Те, которые ловят «его»,—да не Тиру ж: «е г о»!.. Затащили меня, показали «его»; и—признание вырвали».

— «Стало быть, я полагаю, Терентию Титовичу угрожает опасность?»

— «Они уверяли меня честным словом, что—нет, что другая тут линия: не политический розыск полиции,—заговор Ставки...»

Вон там—

— за окошком повешена шторка из желтой китайки;
— в окошке —

— Матрешка—в бурдовой сережке,
в рублевой застежке, в платке голубом,
в ясно аленьком, краповом ситчике—
ротик разинула.

Слушает песенку:

Как вороны проюркнув,
Злые черногоренки
С Гришкой тащатся, — сам друг —
К Николаю в горенки.

Как пустился наш ирой
В игры царскосельские!
Как задергали уро̀й
Меллер-Закомельские.

Петербурженская знать
Рожу кисло скалила:
Муха гессенская, знать,
Ее в нос ужалила.

Ныне ж крепнет против нас
Из-за Протопопова,
Задом став в иконостас
Силища распо́пова.

— «Все-таки: если бы Тира узнал, он—убился бы: из-за меня это... Вы... вы смотрите: молчите... И вы не расспрашивайте... Вы... Я—справлюсь...»

На них—серячок, тот, который—в Москве, и который—в папахе: кричал под Аршавой, пропал под Полтавой; он—здесь: безобразничает:

Эх!
Надуй на всю Ивановску,
Наплюй на всю Семеновску!
Марина не малина,
Галина не калина, —

Эх! —
— в дроби: ногами: —
бамба́н, другода́н,
на козе — барабан
а на нем—таракан!

К Никанору Иванычу: по́д-нос:

— «У нас тараканья дыра в полтора, брат, ведра... Что же! Свет,—он не баня... Для всех место есть: место есть таракану запечному, мне!»

Они—в сторону; а серячок—к проходящему мимо ротмистрику:

— «Так говорю, ваш-рот-ми́стр-ство?

Перстами—в папаху:

— «С собой,—налицо, это выеденное яйцо».

На сапог:

— «Не из блох голенище... Я—так говорю, ваш-рот-мистрство?.. Не выговоришь... Прем со мной водку пить!»

И ротмистр—наутек; кто-то с темным лицом, с подхихиком,—указывая на папашника:

— «Этого,—нет, не подкупишь, брат: кукиш!»

МОСКВА — СЕРОПРЕЛОГО ЦВЕТА

Выходит Маврикий Мердон из ворот; лицо—бритое, желтое; поруглазок, как нет; черный ворот рубашки; и—черный картуз; поручения—черные тоже.

Живут тут: Павлин Женопанский с Ненилой; живет Корничихин с Еленой; Ненила—за Нила; Елена—за Ленина.

— «Ну и поедешь: за Лену».

— «Не вой: Лена станет Невой».

И Маврикий Мердон это слушает; ходит гулять: и прохаживается под самым заборикoм Ти́телевых; ходит к Цивилизацу, который был главным заведующим фирмы «Дом Посейдон» (Сухум, фрукты); и Цивилизац дал намедни записку Друа-Домардэну—в «Пелль-Мелль»—отель.

Снес.

В погребке Швилиидзе (торговлю вином запретили) попрежнему: склад оболочек для бомб.

И Маврикий Мердон это знает; и—знает: Кохàнко-Похàнец, мадам,—в доме колера «пюс» проживает; она—с папиросою, сеющей пепел на толстый живот шерстяной; она—сводница; Тайпойс, писатель, свой труд «Трубадуры» готовит над нею; и Лизозии́лины—в розовом доме напротив живут; Нина Пядь поселилась жиличкою в рамочное заведенье купца Потолобова; и повивальную бабку Сысоич (над чисткой перчаток Перши-Песососова) знает Маврикий Мердон; знает Ши́бздика: вот так пузей, над губою бобок; глуп, как пуп, как надолба, как пробка, как почка; и пакостит в банку, и звонкий процент получает из «банки»; с Мимозой Фетисовной жил; сын Мимозы Фетисовны—Примус!

Филипп Фентефеврев, Нефешкин, Григашкина, Флориков, Каклева, Иколева, Велекеклев—мещане; купцы—Белузрахин, Срыщòв, Простобрюкин, Шинтошин.

Тут жили.

А далее—домики-особнячки: модильоны, фронтоны, орнаменты, камень; и люди—такие ж; проулочек—чистый.

Маврикий Мердон сюда ходит, в квартиру богатую: к барыне, к Мирре Мирицкой; и Тертий Мертетев бывает тут; что за оказия,—

—Мирра Миррицкая,
—Тертий Мертетев,
—Маврикий Мердон,—
—перья страусовые,
—эксельбанты; и—
—черный картуз, черный ворот рубашки; все—черное: бритое, желтое очень лицо.

Глазок—нет.

. . . .

В переулочке ходит себе Николя́ Ньюреню́-Ньюреня́: в котелке; Коко Ку́бово, (кони под сеткой), шах Нагар-Малх, Галилевич, Нигрицкий, Леднилина, Филтиков-Пли́, Лилипонский, Певако и князь Калеверцев здесь жили; и—слушали с ужасом песенку: из переулка соседнего:

Как ходил я в караул,—
Щеку унтер дулом вздул.

Ди́лим-бу́лим, ди́лин-дрю́:
— «Очень вас благодарю!»

Ружьи — дружьи: много дул!
Спины — к немцу: на краул!

Дилим бу́лит пулемет:
Корпус на Москву идет.

В пуп буржуя, — дилимбе́й, —
Пулей, а не дулом бей!

Дальше—выход на улицу: в свет, где окно; над окном: «Маскарад-Напрокат. Перстопàлец!»—И палец в окошке на маски показывает.

. . . .

Густопселая жизнь: неотводное и безысходное горе; пространство- разбито, а время—исчерпано: прядает с домиками, точно с прелыми листьями—в бездну: табачного и серопрелого цвета труха,—не Москва!

В РАСШАРАП

Лишь икра селитряная, красная, с пасхою—в лавке; художник, в хламиде, с копнищей волос, с бородищей, как сена воз; губы, как семга; труба, а не трубка, как пороховыми разрывами пышет; дубиной—на пасху показывает. А напротив горит магазинище; здесь—осетры, балыки; сюда щелкает щеголь с дурацкого лада- на новый фасон.

А за стеклами хваткие руки протянуты к окорочищам; зеркальные стекла, которые выдержат палку,—не выдержат камня; и будут стоять заколоченными эти пулей пробитые стекла, опу-

танные ледяным паутинником; и малярийный комар, прилипая к стене,—скопит яд.

Появились скуластые лица в Москве.

И взмигнули рои неглядящих в глаза разъерошенных глаз; серячок, вздув папахой башку, превоинственно выглядел; знать, и уверенность в том, что мы немцев побьем, коренилась в папахе; башка-то—распутила.

Гришка Распутин войну ликвидировал вовсе.

Прохожие:—

—красные вилочки: шляпка; а плечики—робкие; точно заискивают; муфта—к носику: наголодалась; а франт за ней: щелкает;—

—и—

—скороногий прошел архалук; ворот—крепкий, с опушкою лисьей, старинных фасонов;—

—и—

—рожа скобленая; рот—с пересвистом; папаху себе посадил наотхват; стать и хвать прямо аховые; глазик—злой, но со смыслом; на все он готов: сколоколит, скомши́т,—

—и— —в расшарап!—

—прошел фейерзеркер.

Куда?

Да туда,—

—где уже взлопотала толпа, где захлопало вскриками, точно бичами, где хлопнули двери, где дзанкнули—ца-ца-ца—стекла: туда—в толкиши́, туда—в дребезги.

Синие пачки свечей полетели в окошко; и желтые кубы мылов волокли, переталкиваясь армяками, орины подняв, и прикряхтывали, удивлялись, старались, чтобы расхищение шло деликатным манером.

Стыдились тащить, а—тащили; в мешок хлопяной кто-то ссыпал крахмалы; а топлый товар, деревянное масло, смешавшися с синькой, лилось в тротуары.

Распевочным ладом, как плакал—«толците: отверзется»—старчик какой-то: над ражим толцателем с ломиком.

Бегал купец (вес—самдесять; сапожные скрипы—самдвадцать) без шубы и без картуза: в темень—потною лысиной.

Это громили—

—его,—

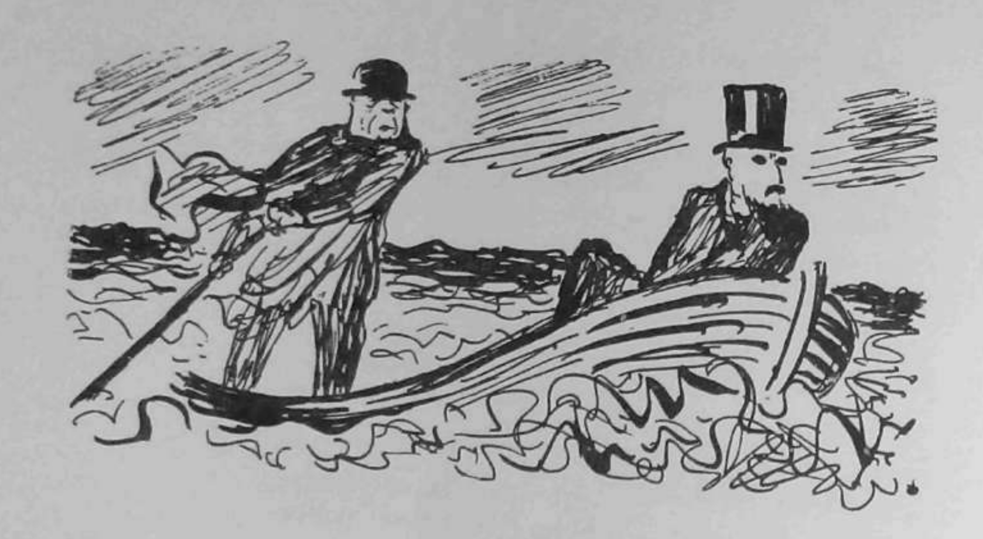
—Елеонство!

С лампасами синими (знать эсаул) все же силился очередь установить: он громил вместе с прочими.

Эти отверстия окон, впервые разбитых, как прорва, в которую будто летел опрокинувшийся тротуар с сапогами, зашаркавшими пяткой в небо, с носами—в земной, выпирающий пуп.

Недра подали голос.





ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ИСПЫТУЮЩИЕ

БЕЗЛОБО, БЕЗГЛАЗО

Недели за три до ужасного вечера у Тигроватко Друа-Домардэн получил с человеком записку; ему неизвестная вовсе мадам Кубоа́[1] пожелала весьма сообщить весьма важное сведение в связи с визой, которую ждал с нетерпением он; назначалось свидание где-то почти на окраине города; праздно томяся в отеле,— пошел.

Был холодный денек с пескометами; над многоверхой Москвой неслись тучи.

Забрел, озирался: один-одинешенек; длинны́м-длинне́шенька, серы́м-серешенька: улица; удостоверился: в точно указанной улице не было дома с указанным номером; стал он дощечки прочитывать; и прочитал он: «Амалия Карловна фон-Циклокон»—в месте, где

[1] Звукосочетание «Кубоа» мною заимствовано у Кнута Гамсуна (см его «Голод»).

в представлении его обитала мадам Кубоа́; и еще прочитал—недалеко: «Мррицкая, Мирра Мартыновна».

Стало ему неприятно; Мирицкая эта торчала в отеле; и—надоедала ему; он свернул в переулок соседний; оглядывался: никого; только перешмыгнет оборванец: меж синих, зеленых и розовых домиков; где-то—оранец.

Вдруг—шушлепень мокрых калош; обернулся и видел, что шаркает прямо в него, из-за плеч,—шепелястящий шаг:

—голова,—

—котелок,—

—цвета воронова;

пальтецо—цвета воронова; и портфель—цвета воронова; ярко-красный квадрат, подбородок, безлобо, безглазо—пронесся.

Такие—везде и нигде—перемельками из мимохода прощелкивают; мимохода же не было; и заприметилась физика, ассоциируясь с точно такою ж; морщинки,—три,—под котелком, потому что морщинки,—три,—видел он: ассоциация! Карие клопики, глазки,—с подкусом, с «убивец», как у Достоевского: ассоциация!

В листья сметнулся, став издали с кем-то, кого Домардэн, близорукий, увидеть не мог; из осин с пересипом пробзырили, точно быки, лопнув хохотом в ветре:

— «Воняет!»

— «Дохлятиной!»

Крепко вонял: переулок.

Друа-Домардэн, проярившись очками, взусатясь, надвинув цилиндр на глаза—с вороватой трусцой: перешуркивать листьями!..

Около сверта назад обернулся он: нет—никого.

Только юбка с шурцой: шероши́т; да пролетка шурукает; силился впрыгнуть в трамвай: не вагоны, а—лезево; в лезево это не взлезешь.

Но,—как?

Иностранец, ни слова по-русски, а—понял ведь!

Русский язык, здесь, в пустом переулке—живой атавизм,—раскрыл дар, погребенный во Франции; понял, что значит: воняет дохлятиной...

Психика? Улица?

Ассоциация.

. . . .

Стены, как розовый крем; а бордюр—белый крем: дом; квадраты таки́, здесь зажатые током пролеток, как головы мопсов, разорванных фырчами,—бзырили, кремовый дом, облицованный пли-

точками из лазурной глазури, фронтон (голова андрогина),—напомнили: что-то.

И звуки подшарчивали: за спиной; за плечо бросил голову: та—

—голова,—

—как битка,—

—на него: котелком; он ей спину: в витрину с фарфорами севрскими носом; но и котелок,—то же самое: физика—шея, надутая жилами; или вернее,—тупое вперенье обоих в фарфор: без огляда друг друга, без слов; подчиняяся ассоциации, он, Домардэн, бросив севрский фарфор: зашарчи́л в переулок.

Прохожие видели, что иностранец, брюнет синеватый, с сигарищей между усов, с чернобронзовым о̀тсверком, как неживой, бороды, утрированно длинной, пропяченной, стянутый черным пальто,—поправляет рукою, затянутой черной перчаткой, свой черный цилиндр и очками, слепыми и черными, смотрит в прощеп меж домами.

В прощепе,—уже в леопардовом всем,—над трамваями, плакавшими карекрасными рельсами,—красного глаза—кровавая бровь!

. . . .

Без цилиндра влетел; де-Лебрейль указала ему: парик—на̀искось:

— «Что вы?»

— «Я?»

— «Выглядите, как с пожара: врываетесь!»

В тоне допроса—злой привкус.

И гонг—к табель-д'оту.

Едва завязался салфеткой, как наискось,—видит он,—красный квадрат; лобяна́я полоска; на ней—

—три—

—морщины: те, те, о которых он вспомнил недавно; себя успокоил; сидевший—не «т о т»: не прохожий, а некто, с кем сели из Лондона, с кем вместе ели: в кают-компании; все наблюдал, как он челюстью рвал свой бифштекс, как, насытясь, метался от носа к корме: не московский «тот»,—лондонский «этот».

А вдруг «э т о т»—«т о т»?

О, по Шан з'Элизе́ [1] ситуайэн Ситроэн [2] прокатил: де-Лебрейль и его; и—подите же: Фош навязал; отказаться? Карьера: перо публициста; все ж ездили к «д о б л е с т н о й» в гости,—куа,—директиву давать; и—с «Соссо̀нофф» решать.

Два пакета: секрета; один—Булдукову; другой—Алексееву; да интервью, а̀н п а с с а̀н, с... Котлеццо̀фф: о нон рюс!

Москва—мельк!

На пакет—не ответ: Булдуков не учел, что Друа-Домардэна принять за курьера—пощечина Франции.

В «Пелль-Мелль»-отель сел, где загноилась, как старая язва, в нем память; не спал: на лице—пухота; борода не разглажена; и не распрыскан парик: голый череп из зеркала смотрит.

Надето: готово; и он, оглядев себя, владил массивную запонку: сунь руку—так, палец—так; угрожай, когда надо, очком, его выкинув быстро, как блюдо, лакеем кидаемое из-за плеч; своей дикцией—отдирижируй; и острую глупость свою, как горчицу,—приса̀хари; главное же: выдробатывай пальцем по скатерти злой дидактический дактиль:

— «Са донн л'инпрэссион!» [3].

Ну и психика же,—менять психики, точно сорочки, покрытые грязью; сдал прачке; и—кончено; перечеркнуть ленту лет: истребить; и—воспитывать позы и жесты воспитанниц, психик: вот—монстр; а вот—милочка; а износилася психика, как в шелудивую психу,—осиновый кол; есть терьеры, бернары: щенята: есть—милочки: купишь, и—водишь за ручку в шелках; и сажаешь малютку в колясочку.

Это ж, как Круксова трубка: пустая; раз,—вспых: блеск павлиний!

И—нет ничего.

Подмурлыкивая носовым баритоном, он выставил в зеркало стройный свой торс с замечательным профилем, ставя в петлицу муарового отворота мизинец, сутулясь и вытянув шею.

Довольный расчмок; и—оскалился; белую челюсть показывая.

Эти серые, светлые брюки, с несветлою серой полоской; визиточка, черная, стягивала, как корсет; ноготь—розовый; щеки—

---

[1] «Елисейские Поля» — местность в Париже.
[2] Владелец автомобильных заводов.
[3] Это создает впечатление.

эмали; а запахи—опопонакс: парикмейстер, танцмайстер,—

— хорош

в этой комнате —

— тоже —

— хорошей!

В суровое, с бронзовым про̀сверком, темное поле обой точно вляпаны черные кольца в оранжевокрасном квадрате; то серые фоны диванов и кресел из крепкого дерева: американский орех; и такие же кольца на кареоранжевых каймах драпри, и ковер, заглушающий: дико кирпичная вскрика с наляпанной дикою, синею, кляксой; и синие кисти гардины,—экзотика, даже эротика: тропика!

Нет, не экзотика и не эротика тропика,—лондонский тон, фешенебельный штамп: в бронзе ламп, в жирандоле.

И—чернолиловая штора.

Но нехорошо, что—тринадцатый номер.

А в смежном, в двенадцатом,—мадемуазель де-Лебрейль: что мадам Тигроватко, друг Франса, при ней—«конпреансибль» [1]; но что Мирра Миррицкая, Тертий Мертетев и мадемуазель Доло-бо̀бко—

— с мадам Тотилто́с, с Тилбулга́,—

— ён пё тро [2].

И опять-таки,—дамы с мэссьё: Суесвицкий, Антон Антио̀х, Лавр Монархов.

— «Ассэ́,—жюск иси́!» [3]—он показывал кисло рукою на горло.

. . . .

Сутулясь, и вытянув шею, прислушивался: де-Лебрейль—в неглиже́; что обязанность секретаря надоела—полгоря; но не узнавал он Жюли́: нога на́-ногу, чуть не задрав свою юбку, вытягивала напоказ мускулистую, смуглую ногу; не «в'ля́: ме вуаля́»[3],—«пуркуа̀» [2]; и—лорнировала саркастически: мэ пуркуа̀:

— «Вы

не так говорили в Париже; вы—взвинчены, точно боитесь и прячетесь!»—

—Прямо

в лицо: с грубоватым контральто, с размахами веера!

Разгородились,—и с за̀держью к ней выходил.

---

[1] Понятно.
[2] Слишком много (точно: немного слишком).
[3] Довольно.
[4] Вот я.
[5] Почему.

Острота-то пера—не его, а—Жюли́; направляет—он; пишет—она; это—коллоборация, но—неудобно, когда «Фигаро̀» ждет статьи, а она, задрав ногу, показывает кружева панталончиков Лавру Монархову.

Не объяснишь сэтт гренуйль [1], что при всей проституции с душами было же нечто, что вынудило авантюру недавнего, страшного прошлого сразу же—пальцами мазал он губы —о, о̀, о,—пером публициста проткнуть с ураганною силой, как психу.

Отдернул от губ свою руку: дурная привычка хвататься за губы!

Жегучая память, как пламя, ведь вырывом может его охватить, как бумажку, которая около пламени—

—вот еще,

—вот еще...—

—вспых—

—только

чернолиловый, морщавый комочек, сереющий в прах золяной!

— «Мадам Ти́телева?»—с правом спросит читатель.

— «Мэ, мэ, ...—ки н'а́ па́ д'истуа́р!..»[2]

Нет: не это.

И—точка, как и Домардэн ставил точку, вонзая основый кол.

ЗОЛОБО́Б

Тук-тук-тук!

Он—в очковые, черные стекла; исчезло лицо, потому что очки, борода и парик,—как кордон: перед ними.

«С'э́ ву́ [3],—мадемуазель Долобо̀бко?»

И—облачко брюссельских кружев, и голые ручки, волос рыжевато зареющих за̀вертень, светлосеребряной сеткою крытый—из двери.

Тут—

—мягко округлым движением длинной руки в воздух вычертил он пригласительный жест, изогнув перед мадемуазель тонкостанистый корпус; на цыпочках вел, шею вытянув, локоть высоко подняв, чтобы видела ломкий и розовый ноготь мизинца.

---

[1] Этой лягушке.
[2] Но, но — у кого нет истории!
[3] Это вы.

— «Ô, ля́ бьенвеню́!»

И прогиб головы (ей на грудь), и прогребыванье бороды, и разгиб белой кисти:

— «Сеси́ э села́!» [1]

Усадил, рядом сел: и губою полез:

— «Котлеццòфф, о нон рюс [2]: се мужи́к, се барба́р».

И—в ней взгляд прорастал (не могла его скинуть); и шарф развивной медоносного цвета с плечей оголенных сметнув на колено, ленилась на нем невнимающим взором, пока ей рассказывал он:—

—тэт а тэ́ты с кадэ́; се Пэпэ́,— профессёр: «Труля-ля́, ме вуаля́».

Пригляделся чорт ягодкой!

О,—предстояли: музеи, визиты, девизы, сервизы, маркизы; и сам—

— женерàль—

— Золобòб!

Это—с деланным хохотом,—звонким, густым, сахаристым и злым,—с оправлением галстуха темноморковного цвета, с показом такого же цвета носка из-под серенькой, светлой ботиночки с бледносеребряной пряжкой; огромные функции: Фош, Алексеев,—не больше, не меньше, а тут—ха-ха-хà—

— Золобòб!

Гонг!

С изящною задержью зà-спину руку откинул; и взявшись другой за конец бороды, над крахмалом приподнятой тонким овалом, отблещивая парика красной искрой,—глиссадой, глиссадою,—за мадемуазель Долобо́бко.

И думал, что здесь приходилось отчитываться, как тому бурсаку, Хоме Бруту, который отчитывал панночкин труп.

Так была?

И—не только: был Вий—с «поднимите мне веки!»: Поднимут, и—

—«Вот он!»

Боялся столовой; боясь Лебрейль, сюда шел; и себя успокаивал: здесь—иностранцы, не русские.

. . . .

---

[1] Это и то.

[2] Котлецов, о русские имена.

Формочки белых салфеточек; блюдчатый блеск; или—«Лондон в Москве»; иностранцы: профессор Душу́прий сидит: из Белграда; Боргстром нес, промопсив лицом, свои лысищи: швед; нежно вспудренный и большерослый, серебрянорозовый, юно живеющий старец—

—лорд Эпикурей,—

—сжатый б госиянным крахмалом в раструбистом фраке, сидит государственно, шарик катая; и не реагирует: на шелестящие вкусности и на размазые губы мадам Эломѐлло, обвешенной бледными блондами, с бледною бляхою, пояса, с бледномолочным опалом (отлив—цвета пламени); с неизъяснимой фамилией, миру неведомой нации, странно немой, Кокоàкол: сидит!

О,—барону Боргстрому,—ром! О,—лорду—эль!.

— Дает тон, он,—

—«Пелль-Мелль»—

—метр-д'отель!

С ЛОРДОМ МОББЗОМ ОН

Шведу, барону Боргстрому,—налево,—мадам Эломелло,—направо: поклоны (лорд Эпикурей и не двинулся); весь черч и вычерч,—он сел; только бронзовый тон бороды нарушал комбинацию «блан-нуàр-гри» [1]; весь—«нуар»; «гри»—штаны; «блан»—крахмалы и щеки, как виза «Пари», и как лозунг: «Война до конца!»

— «Сервэ́ ву» [2]—передал он «кавьяр» Долобобке; и пырскал в него бриллиант из волос.

Но скосяся за волосы, все же отметил: нет «этого»; вместо «него»—офицеры, компания: гости к мадам Пэлампэ́ и к мадам Халаплянц (шемаханского шелка кусок на татарском запястьи):

— «Брав гàр!» [3]—шею вытянул, скалясь и белые зубы показывая:

— «Ки?» [4]

Жицкòй, Египсенцев, Стосо́цо, Цезàссерко, Сердиллиàнцев.

— «Д'у?» [5]

Царская Ставка.

---

[1] Белое-черное-серое.

[2] Одолжайтесь.

[3] Молодцы!

[4] Кто?

[5] Откуда?

Бубоцкий, Бобестов, Бавлист едут в Лондон; и все, на него озираяся, шепчутся:

— «Ле Домардэн, пюблисcйст»—вероятно.

Тут, галстух оправив, с нарочною громкостью, для офицеров, но к мадемуазель Долобобко,—

—что—

—метрика, сертификация, корреспондентский билет носит в правом кармане он, что — тэт-а-тэ́ты; и переменив интонацию поз—про куплет, вместе спетый с племянником лорда Хеопс, лордом Мо́ббз; и—с сеньором Монсини-делль-Артэ: в «Аластере», лондонском баре; смех—вместе; и—вместе: на дерби с сёр Перси Лепѐрстли.

Протягивая клок бороды над салфеткой:

— «В Ньюкестле (до Бергена были) — с доктёр-эс-лѐттр [1], Поль д'Аренья́к»,—и свой локоть высоко подняв, волосинку катал и «з а к у́ с с с к а» разглядывал:

— «О, мэтр политики», доктёр-эс-леттр д'Ареньяк мадемуазели де-Лебрейль говорил—о нем: точно.

В беседу вмешался профессор Душ у́приий: Белград.

— «Наступательный патриотизм, развиваемый вами, заслуживает порицания».

И—кисти рук, быстро поднятых четким расста̀вом локтей, ущипнули пенснэ и взнесли на горбину дерглявого носа Душуприя.

— «Сэрт»—он расклабился:

— «Метрика, карточка, корреспондентский билет,– все в порядке; но главное: с милитаризмом боритесь»—напутствовал друг, доктор Нордэн, известнейший публицистический—что? - псевдоним математика, доктора фон Пшорра-Доннера из-под Упсалы, который с геометром Ре́сселем, с другом своим, отсидевшим тюрьму социал-пассифистом, и с ним, Домардэном! И пальцами—дрр-дрр—за мир!

— «Как в Ньюкестле вы—против? В Торнео же—за?»

И профессор Душуприй нос ткнул в потолок (и означилась лысина: взлизы за лоб).

— «Это—кровь публициста...»—старалась мадам Эломелло.

— «Весьма темпераментно»—сухо отрезал профессор Душуприй; и носом—в бифштекс: с потолка.

Видно перехватил, потому что Боргстром, швед, от шоккинга — в кэкс.

И Друа-Домардэн подавился: бифштексом.

---

[1] Ученая степень.

«П е л л ь - М е л л ь» мэтр-д'отель:

«О, моссье Домардэну «пассэ» [1]: перцу, хрену!»

Он зàдержь заметил в «Пелль-Мелль'е» отеле: войдет,—и профессор Душу́прий словак,—нос в тарелку; выходит,—а в спину, как блохи, словечки: горело лицо; и хотелось хвататься за губы; как... как... диффамация.

Чья?

ЭТОТ—НЕ ТОТ

Из портьеры ударами пяток, защелкавших, точно бичи о паркет, как хронометр, с попышкой бежит головою,—биткою,—к столу,—неприятный субъект,—тот, который еще с парохода показывал, что Домардэна и нет перед ним, что он—воздух; не бросив поклона,—свиную щетину волос опрокинул в тарелку: разжевывать красное мясо, чтоб тонус тупого молчания длить и показывать ухо и мощную шею с надутыми жилами.

Психики нет: никакой!

— «Ки эс донк?» [2]

— «Амплуайэ [3] дю»—мадам Эломелло ему—«женерàль Булдукòфф».

— «Жоффр!»

То «Пелль-Мелль» метр-д'отель, прибежавший на помощь с бутылкой боржома,—с банальнейшим:

— Ж'оффр!» [4]

И в удесятеренном усилии что-то понять, что-то выпрямить фейерверк выпрыгнул громких блистательных очень острот, вызывавших восторги в Париже,—острот, относившихся явно к желанью ввести в разговор и «его»—к Долобобко!

Но красный квадрат пожирал свое красное мясо: с посапом; он—не отзывался.

Вдруг корпус сломав,—головой, как биткою,—к Стосоцо, поднес он свои,—три,—

—морщинки.

Болбошил по аглицки: в гул голосов.

— «Сослепецкий...»

---

[1] Передайте.

[2] Кто?

[3] Чиновник.

[4] Предлагаю. (Каламбур звуков: Жоффр — французский главнокомандующий.)

— «Хрусталиком...»

— «Хрустнет...»

Друа-Домардэн не расслышал, ломаясь в куверт, чтоб всадить в разжамканный рот:

— «О—тро фор: сэрт[1]... О, о!

Это—хрен с осетриной?

Лакей из-за плеч: углом блюда

— «Десерт...»

Три морщинки пошли от стола, волоча за собой два очка, волоча за собой Домардэна—в курительную.

Если Лондонский этот—московский, им виданный «тот»,—он, объятый жеглом,—силуэт из бумаги, сморщ краснокоричневый, чернолиловый, качаемый—пламенем!

Руку закинув за фалду, другою схватясь за конец бороды, меж Стосоцо и Сердиллианцевым, мимо стола, отражаяся в зеркале, червеобразный, глиссадою—вырезнул, чтобы—«е г о», чтоб—«е м у»,—собираясь упасть,—

— в пасть!

— «Пардон,—но мне кажется, что мы... до Бергена... вместе...: Друа-Домардэн, пюблиссист!»

— «О, бьенсюр![2]

У Друа-Домардэна так даже платок из рук выпал; угодливо корпус сломав, чтоб платочек поднять,—«э т о т» подал платочек с подшарком:

— «Велес-Непещевич».

И пяткой, как плеткою, по̀-полу, лопнув в него анекдотом: такая бомбарда!

И пели в соседнем салоне: «Я стражду... Я жажду... Душа истомилась в разлуке»—романс: композитора Глинки.

Я СТРАЖДУ, Я ЖАЖДУ

С тех пор зачастил ежедневно Велес-Непещевич к нему: подминать под себя разговор.

Домардэн чернобронзовою бородою морочил: свои комплименты расслащивал, пятясь.

Велес-Непещевич тащил его в «Б а р».

[1] Конечно!
[2] О, конечно!

Он—показывал:

— «Жоржинька Вильнев: из Вильны... Смотрите: подмахивает, точно хвостиком: ви́льна какая: попа́хивает!»

Представлял:

— «Познакомьтеся: Эмма Экзема... Подруга моя!»

— Адвокат Перековский...»

Присвинивал (в сторону):

— «Выудил сумму у Юдина, спёр у Четисова честь: настоящий перу́н... Так что дама с пером появилась при нем,—Зоя Ивис...»

— «Да я... повезу: покажу...»

Домардэн,—сухопарый, поджарый, но червеобразный какой-то,—с извивистым дергом, с развинченным дергом, как вскочит, раз пойманный, в сени теней—скрыть лицо, потому что:

— «Вы были в Москве?!»

— «Я? Ни разу».

— «Сказали,—на Сре́тенке: стало быть,—были...»

В лоб—лбом: хохотали морщинки,—три:

— «О, публицист, как публичный мужчина,—инкогнито: в личных делах».

Домардэн же, прожескнув очками:

— «Тупица он? Что негодяй,—несомненно; и ищет чего-то; что липнет, как пьявка,—понятно: Друа-Домардэн, все же,—имя».

Из тени, расслабясь, сластил комплиментами.

Шаркали вместе,—с попышкой,—по дням; все Велес-Непещевич, вбегая, блошливые щелочки скашивал, шлепал губой, кровожаждал,—

—кого?

Коновал: жеребцов переклал.

Это длилось до вечера у Тигроватко.

Друа-Домардэн с того вечера стал не таким, каким выглядел он из «Пелль-Мелля»: не милочку,—психику,—а околевшую психу с колом, в нее вбитым мохнатою лапой, сложили пред этим подобием «я».

Посмотрите-ка: рыжею искрой хохочет над черепом смятый парик; точно схваченный лапою угорь, кисть левая бьется; а голос—глухой, как из бочки:

— «О,—душно мне!»

. . . .

Репертуар завершился: под занавес; вот оно, вот: привели к! нему Вия! В сечение всех убеганий от всех беспокойных погонь, как в огонь, как под вызовы,—встал: обезья́ченною обезьяною

— Браво!
Брр!
Штрих,—
—и—
—ничто это опытной лапой в ничто абсолютное выльется.
. . . .
Фош, навязавший поездку, уже это знал: приговор к удушенью подписывался в «Министэ́р Милитэ́р», может быть, в те минуты, когда с ситуайэн Ситроэн в «ситроене» по «Шан з'Элизэ» он летел; был технический спор: и—
—Россия, Америка,
Франция, Англия,—
—не уступали друг другу приятнейшей чести: клопа жечь.
Он понял, как странно устал и как он вожделеет: не быть. Проходили—неделя, другая. Не шли,—те, кому он протянет свои,— две—руки, чтоб браслеты,—две,—сжали их: цап!
. . . .
Удар пятки по по̀лу, как плетка: Велес-Непещевич.
— «Как?..»
— «Без парика?»
Но в ответ, как из бочки:
— «О,—скоро ли?»
И дипломат, и чиновник особенных их поручений,—Велес-Непещевич, старательно смазал и тут:
— «Скоро, скоро... В анкете написано, что Михаил Малака̀ки, отец ваш, скончался в Афинах».
И, выждав:
— «Он умер в России,—бездетным, вас усыновив. И—не Малакаки он: вы бы исправили.
Пяткой:
— «Формальность...»
С невинностью ангела.
— «Виза готова».
— «Какая? Куда?»
— «Как куда?.. К Алексееву... В царскую Ставку поедете!»
Ставки проиграны перед Ньюкестлем, когда он садился в Харонову лодку, на борт тепловоза, «Юпитера»,—с «этим», с Хароном своим.
. . . .
Глаз—в газету: газета лежала; в газете бессмыслилось, буквилось: чорт знает что:—

—Телеграммы:—
—«Из Ахалкалаки. Расстрелян турецкий шпион Государь (вероятней всего «Господарь»: опечатка, убийственная)».
—«Вашингтон. Ровоам Абрагам спешно выехал из Вашингтона в Москву».
—«Сотэмптон. Генерал-лейтенант Иоанна приехал».—
—Еще:—
—«Интендант
Тинтентант...»
— «Всюду—выезды эти».
— «Разведка военного плана».
— «Военного?»
— «Щучьего».
— «Щучьего?»
И Домардэн: с тошнотой.
— «О, пора!»
— «Куда?»
— «С выездом».
— «В Ставку?»
— «По щучьему зову...»
А, может быть, это—последнее слово его на... на... на... языке человеческом; далее—
—рев, как из бочки, согласный с выламываньем из кровавого мяса сознания, «я»,—инструментами?

РОТ БЫЛ ЗАКЛЕПАННЫЙ

В стену халат раскричался; профессор казался бледней в черной паре, а шрам, просекающий щеку, казался от бледности этой чудовищней; тихо Гиббона читал он; день солнечен был; седина серебрилась в луче.
Вот он ткнулся в оконко.
И—видел он: пепельно влеплено облако в кубовой глуби небес. Он войной волновался; ему Николай Галзаков рассказал: полу-

рота, с которой в окопах сидел Галзаков, как упал чемодан, стала смесью песка и кровавого мяса.

Профессор—не выдержал:

— «Бойню долой!»

И задумался, вспомнивши, что с ним случилось подобное что-то.

. . . .

Упала граната ему на губу; и губа стала синебагровой разгублиной; срухнуло что то; и — брюкнуло в пол; и он, связанный, с кресла свисал, окровавленно-красный, безмозглый; и видел: свою расклокастую тень на стене с все еще—очертанием: носа и губ.

Это—было ли? Где?

Прошли сотни столетий; окончилась бойня гориллы с гиббоном; и жили—Фалес, Гераклит, Архимед и Бэкон Веруламский!..

Что ж,—спал он, увидев столетия эти? Их не было? Память, как ямы невскрытого света: одна за другой открывались, свои выпуская тела,—те, которые—смесь из песка и кровавого мяса; ему объясняли:

— «Война мировая, профессор; сперва свалим немца; потом — Архимед, Аристотель, Бэкон Веруламский...»

Он, стало быть, только во сне пережил мировую культуру из дебри своей допотопной; иль...?

— «В доисторической бездне, мой батюшка, мы: в ледниковом периоде-с, где еще снится, в кредит, пока что, сон о том, что какая-то, чорт побери, есть культура!»

Опять,—точно молния: память о памяти —

—рот был заклепан

Нет, нет,—миллионноголовое горло,—не жерла орудий,—рыкало опять на него из-под слов Галзакова: не жерла орудий, которыми брюхи и груди рвались; и от мертвого поля вставала она, голова перетерзанного.

Не его рот заклепан, а мир есть заклепанный рот!

ЕСТЬ РАСКЛЕПАННЫЙ РОТ

И он думал, что он отстрадал, а другие—страдали, как этот, сидевший на лавочке перед подъездом: Хампауэр.

— «И я—это тело: со всем, что ни есть!»

И старался слезинку смахнуть, потому что...—

«Есмы сострадание!»

Старый калека, Иван, встав, плечо положив на костыль, золотой от луча, сквозь деревья тащился к подъезду.

Подъезд, иль—две белых колонны, стоящие в нишах овальных, но розовых; аркою белая встала дуга; виноградины падали с каменных тяжких гирляндин; налево, прелестницы, две,—рококовые,—каменным локтем—на полудугу, и сандалией—впятясь в колонну, с порочною полуулыбкою щурили каменный глаз, склонив голову из рококового, розового, развороха: на морок людской.

Выше,—пучу плюща пропоровши изогнутым рогом, напучившись тупо и каменным глазом, и грубой губою, баранная морда, фасонистый фавн,—вот-вот-вот—разорвет громким хохотом рот, рококовую рожу:

— «Ого!»

— «Огого!»

— «Просим, просим!»

— «Не выпустим!»

— «Жрем ваши жизни!»

Пэпэш-Довлнаш, Николай Николаич—жрец: жрет!

. . . .

Окаянное окаменение: пестрый дурак—он (с ним—пестрый дурак Галзаков)—сострадательнее, человечней, чем пупом дрожащее пузо Пэпэша: над ними.

Кроваво листва довисала: кленовые лапы, крутясь, опадали в лучах; из расхлестанных веток являлись: дорожка, ворота, заборы и кубы огромных домов; в сини, солнечно злые, омолнились желтые стекла.

И крест колоколенки—белый; и—блещущий блик.

И профессор себе, точно в отклике.

— «Я есмь вовеки веков; и—со всем, что ни есть!»

Видел,—

—дерево, вон, заревое румяное, издали виснет: из морока ясного.

Вдруг Серафима Сергевна:

— «Смотрите!»

И—ткнулись носами.

И ВИДЕЛИ

Видели, —

· как Николай Николаич в распахнутом, плотном

пальто,—карем, драповом, с крапами,—в плотно надетой коричневой шляпе за пузом шагал и махал своей ручкой, зажатой в кулак, сломав шею и нос задирая на гостя; у сверта дорожки он ткнулся и ручкой, и пузом, под воздухом синим: сперва—на подъезд, а потом—на гостей.

И бежал со всех ног Пятифыфрев.

Блондин просвещенный всем корпусом несся, как будто колесами древней Фортуны катимый; взгляд—стекло водянистое; глаз,—с синей искрою;—фетрово-серая шляпа—приятный контраст с бледной бородкой.

За ним—кто такой?

Пальто—вытерто, коротко, горбит; а из-под полы—вывисает сюртук; лапа, синяя с холоду, с кожей гусиной, вращает дубовую палку; крича новизною, поля его шляпы—контраст с ветхой вытертостью рукавов; голова с роговыми очками; шаг—метровый; в крупном масштабе махает рукой.

И за ним—в пальтеце котелок волочит: свои ботики; ростик—ребенка; глаз—точкою: остр, точно шильце; проворные ручки; и—черные брючки; нос,—четверть аршина,—глядит из щетины.

Пэпэш-Довлиаш руководит и распоряжается:

— «Вот!»

Отражаяся в луже, танцует над лужею:

— «Грязь!»

И обходит, приятнейше в лужу вглядясь: князь.

Уже Пятифыфрев, влетев на подъезд, под подъезд шапку ломит; в ответ князь едва прикасается к серым полям своей шляпы: перчаткою черной.

Снял серую шляпу в подъезде: перчаткою черной.

Она упорхнула на вешалку; князь руки выбросил вниз; и пальто отпорхнуло, повесилось; князь же раздеться не мог, потому что зефиры отвеяли платье.

«Зефир», Пятифыфрев, с озлобленным рывом кидался: срывал, тряс и вешал—четыре пальто.

. . . .

— «Мы семы состраданье: служенье друг другу!»

Светили глаза Серафимы; как вестники, ринувшись, как две звезды, разгораясь навстречу звезде; зажигали пожар светозой: сострадание!

Екнуло сердце.

. . . .

— «К нам, гости!»

За фартучком бросилась, чтобы схватить: фельдшерицею сделаться; стала подвязывать.

Гулы и гавк; кавардаки шагов, перешарчи, нестроица пяток.

И—два колеса: не глаза!

Легким, ланьим, овальным, забстренным почти до конуса рывом—

—к дверям!

ЖЕЛТЫЙ ДОМ

Двери—в лоб.

И влетели: Пэпэш, Препопанц, Плечепляткин и князь, за плечами Пэпэша стояли очки роговые; за всеми за ними не виделось что-то мизерное—при бороденке, при носе...

Из рук выпал фартук: моргала; и—розовой стала; и—дернулась.

Князь о нее, как о стуло, споткнувшись, самопроизвольно зажившею кистью руки снисходительно кланялся ей, головою, улыбкой, склонением корпуса в это же время приветствуя до «чести имею» профессора: стулоподобные люди,—как то—фельдшерицы,—вполне на предмет демонстрации; они—претык,—не пожатие руки швейцара пред тысячью глаз,—напоказ,—в пику власти: для будущей, собственной!

Хладно потыкавши пальцем претык,—князь с порывом: к профессору!

Шарк; снова—в. дерг: как кузнечик подпрыгнула; руку ей рвал молодой; и в нее роговыми очками упал:

— «Кулланско̀й!»

— «Кто такой?»

Николай Николаевич вздрагивал жирным бедром, точно лошадь, кусаемая оводами; он пальцами цапнул халатную кисть со стены и помахивал ей перед маленьким с толком, со смыслом: им, старым научным жрецам, сей халат, разыгравшийся пятнами,—идоложертвенное, благодатное мясо.

Так маленькому он начесывал кистью под нос:

— «Полюбуйтесь: экзотика... Гиперемия переднего мозга... Любовь к пестроте!»

В пестроте не повинен профессор: халат перетащен сюда Василисой Сергеевной, а привезен Харкалевым.

Профессор, привстав, наблюдал этот грубый показ туалета; поправив повязку, он ждал объясненья: зачем привалили сюда

неизвестные люди? Он хмурился, жесты вобрав; не влетают без спроса: докладывают, посылая визитную карточку; значит, он зверь, выставляемый под этикеткою: «бе́стиа сту́льта».

С недавней поры ощутил всю обидность сиденья в, что ни скажи,—желтом доме!

. . . .

Теперь он гулял за оградой лечебницы.

Ставши под маскою фавна, очки подперев, наблюдал он, бывало, как свет—ясно желт; выходил за ворота; и шел переулком с сестрою—к Девичьему Полю,—в багряное рденье листов, чтобы видеть, как стены далеких домов, точно призраки, смотрят медовыми окнами.

Долго сутуло стоял, глаз зажмурив; оглаживал бороду: вот удивились бы, если сказать: этот трезвый, достойный старик—сумасшедший.

Раз праздный прохожий (такие есть всюду), к нему подошедши бочком, снял картуз; и—раскланялся:

— «Вы, извините пожалуйста—кто?»

— «Я? Иван».

— «Извините пожалуйста»,—праздный прохожий фуляровокрасным платком утирал потный лоб—«что за звание? А?»

— «Был профессором».

— «Так-с!..—Извините пожалуйста...»- Но Серафима Сергевна его повела, опасаясь последствий беседы.

В последнее время достойно, мастито и даже торжественно выглядел он; с таким видом стоял, пред гостями, готовясь их выслушать, как депутацию.

ПРЕД СИНЕПАПИЧЕМ

Глава правительства, правда еще вероятного, соображал, как его монумент со столба государственного склонит голову перед наукою:—

—сколькие аплодисменты!

К профессору, руки по швам, подошел; склонив лоб (до чего пробор четок!); и—замер:—

—такой-то (отчетливо тихо)!

А не «князь такой-то!»

Стоял с оробелой, висящей рукой, не стараясь коснуться профессорской: ждал, чтобы приняли: робость и скромность величия!

Но не повертывая головы, не сжимая руки, с сухотцею профессор ладонь ему сунул:

— «Могу вам служить?»

Ладонь выдернул.

Князь был фрапирован.

— «Прошу!»

Нос на маленького: —

— как —

— как —

— как?

Си-не-па-пич?

И—нос Синепапичу.

И—Синепапич ему:

— «Синепапич!»

— «Так-с»—прыгал с потиром ладоней вокруг Синепапича — «имя-с,—взять в корне... и,—в корне взять... отчество?»

И—Синепапич ему:

— «Пatирим Ильич».

Взгляд уважения на Питирим-Ильича отмечал всю дистанцию меж единицей с нолями и между нолем; он сердечно приставив два пальца к очкам, нос просовывал свой между пальцами; вот он какой,—Синепапич: бесплечий чернич; но, как меч и как бич,—труд, кирпич, разбивающий психиатрически школу пэпэшеву.

И—ринулся к креслу, чтобы Синепапичу кресло вкатить под коленки, величие князя светлейшего перенеся к Синепапичу; а—невеличка какая! Макушкою князя в микитку, а носом—под пуп.

Кресло выкатила Серафима Сергеевна, ланьим движеньем слетев с подоконника; в ней жест профессора всплыл, точно в зеркале; грацией нарисовался: в улыбке, с которой она от профессора перенеслась к Синепапичу.

Грации этой не видели; ведь для влетевших она—скучноватое рукопожатие, или—претык: время ж дорого!

А Синепапич, профессор, коллегу, профессора, спрашивал:

— «Нравится вам в этом розовом доме, профессор?»

И руки профессор развел иронически:

— «В желтом, хотите сказать? Что его перекрасили в розовый цвет, это только подчеркивает...»

Не окончивши фразы, он сел.

Николай Николаич, хозяйское око напуча, пожал лишь плечами; оглядывал комнату:

— «Стулья-то где?»

К Плечепляткину дернулся:

— «Стулья».

И вылетел бомбочкою Плечепляткин, студент, Куланскому и князю по стулу втащить.

Синепапич у столика сел; князь, оправивши фалды, осанисто сел пред профессором; а Куланской сел за князем; он дивное диво, мечту,—не профессора,—видел впервые; и скорчился робко за князем.

Висело молчание.

ВЕЧНОСТЬ — МЛАДЕНЕЦ ИГРАЮЩИЙ

Паузу князь, вероятно, нарочно продлил—склоном лба и бородкой; как ласково щурился он, и как бархатно высказал тенором внятным:

— «Давно искал случая я нанести вам, профессор, визит»— где был прежде?—«чтоб дань удивленья»—с о б о л е з н о в а н и я чуть-чуть он не дернул было; и—помедлил—«с осмотром прекрасного здания этого: соединить».

И бородкой на фавнову рожу: в окно.

На дворе он с Пэпэшем любезничал: цель посещенья—лечебница-де, не визит; и Пэпэш, боднув ножкой, вскричал Препопанцу глазами:

— «Вы слышали, что было сказано—там? И вы слышите, что говорится теперь?»

Наступило молчанье; всем стало неловко; профессор, стреляя очковыми стеклами в руку, рукой барабанил; он не отзывался.

Все ж экзаменуемый возрастом, знанием, опытом, силой таланта и видом, и позою экзаменаторам робость внушал: как экзамен начать?

И—с чего?

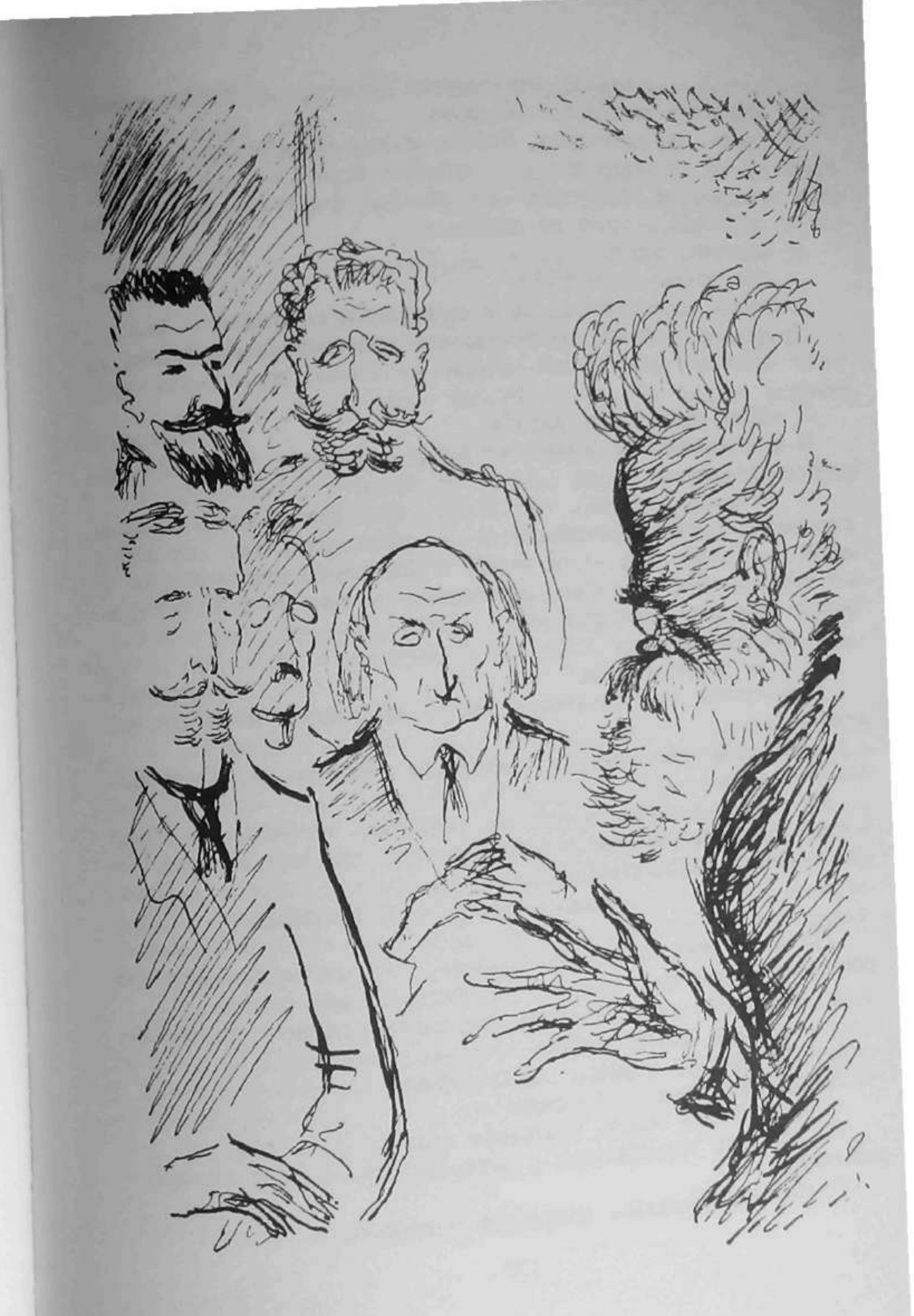
Но забывши о всех, через голову всех—к Серафиме Сергеевне он, суетясь озабоченно носом:

— «Вы, ясное дело, впишите: для памяти».

И преисполненный думы, свирепо локтями на стол он упал:

— «Минус «бе», плюс два «це», взяв в квадрат!»

Синепапич, сидевший за пузом Пэпэша,—на пузо Пэпэша, который, довольный таким оборотом беседы с убийственным юмором, впрочем почтительным, выдал курьезный секретец, «и г р у н а д в о р е», Синепапичу:



— «Это-с,—наглядное изображение формул в пространстве».
— «Скажите пожалуйста!»—князь.
И улыбки не сдерживая, бросил взгляд Синепапичу, двинулся белой рукою, отставив мизинец; спросил деликатно: какими мотивами руководился профессор,—абстракцию, формулу, перелагая во что-то, подобное,...—слов не нашел он.
И—задержь, замин:
— «На каком основании?»
Двинулся корпусом вместе с рукой: полновесно.
Профессор, упавший на локти, как ждавший атаки солдат, из окопа штыком вылезающий,—носом на князя полез из-за стола:
— «Для упражненья ума-с!»
И отбросившись к спинке, на ручку припавши, рукой Синепапичу высказал:
— «Я держусь мненья, что Спенсер был прав, выводя из игры достижения высших способностей»—и облизнулся, как кот перед мясом на мысли свои—«меж игрой и фантазией нет перехода; и нет перехода меж знанием»—выпрямился, озирая их всех—«и фантазией; так полагал Пирогов».
И огладился.
— «Так полагаю и я».
Явно—князь не понравился; явно,—по адресу князя он выбросил:
— «В ком нет игры, тот едва ли способен к культуре,—что?»—к князю.
Но Спенсера князь не читал; Пирогова не знал; он уныло осекся; и хлопал глазами в окно, под подъезд, над которым баранная морда, фасонистый фавн,—

—Николай Николаевич,—

—пучился.

Тут Синепапич, забыв про экзамен, со вздохом, исполненным сентиментального воспоминания,—в нос: для себя самого.
— «Гераклит полагал, будто вечность—младенец играющий».
— «Темным его называли»,—отрезал Пэпэш.
Синепапич,—вот шельма: ломал дурака?
А профессор очками блеснул:
— «Диалектику мысль Гераклита ясна».
Но согласие экзаменатора с экзаменуемым в пику Пэпэшу—пощечина.
И Николай Николаич напучился в окна.

Там тень появилась из ниши; суровые, синелиловые ниши пред вечером; фоны фронтона—багровые.
Твердая морда из сумрака –

—в черные ночи—

—морочит.

ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ

Бит экзаменатор, князь,—экзаменуемым!
— «Шахматы, лучше заметить,—теория чисел «ин стату насценди...» [1]
— «Теория чисел имеет историю?»—бросил вопрос вперебив Синепапич.
Профессор, как конь боевой, отозвался:
— «Начальный трактат по теории чисел написан Лежандром в средине столетия».
Встал:
— «Восемнадцатого».
Распрямился.
Но вдруг перегляд Синепапича и Куланского; кивок Куланского, что—«так»; «настоящий экзамен»—прошлось в Серафиме Сергевне:
— «Он выдержит ли?»
— «Извиняюсь, профессор, я—не специалист»—Синепапич опять вперебив и с какими-то тайными целями выставил нос из-под пуза Пэпэша—«как вы характеризовали б теорию чисел?»
Он только что выбил теорию чисел историей чисел; теперь выбивал он историю чисел теорией; так он, вбивая вопросы в вопросы, сбивал; генетический «приус»—«постфактум» логический; сколькие сбивом таким заставляют ответчика глупо разыгрывать неисполнимую роль: коли ты о хвосте,—сади в голову; о голове—сади в хвост!
Узнаете себя, мои критики?
Явно гримаса Пэпэша означила: цель Синепапича бьет мимо цели; он выразил мимикою, что научная память больного,—одно, а больной—совершенно другое; так: знание математических принципов—не доказательство здравости; с неудовольствием видел: беседа свернула с дороги.
Профессор ответил:

---

[1] В состоянии возникновения.

— «Теория чисел—теория групп числовых: она—царь математики».

Князь вильнул корпусом:

— «Что, если свергнуть царя?»

Что за глупость?

Профессор—небрежно, с достоинством, разоблачая намеренье князя: запутать.

— «Не я выражаюсь так: Гаусс!» [1]

Он жаловался Серафиме Сергевне пожатьем плечей и глазами:

— «За что меня травят?»

И взглядом во взгляд: точно ветер сквозь ветер прошелся; в нем вспыхнуло:

— «Да, ты—еси!»

Он стоял, как гвоздями, глазами припластанный к камню тюремному.

Точно снежинка, слетела ей в сердце; и—стала слезой: как жемчужина, павшая в чашу.

И екнуло в ней:

— «Ты—еси!»

И ее он почувствовал.

Тенью немою и белою на подоконнике полусидела, схватяся руками за край подоконника, чтобы слетать на предметы и их подавать по команде Пэпэша, который, увидевши здесь Плечепляткина, выпер его бросом носа:

— «А вам-то тут—что?»

Он, как деспот, желающий встретить схожденьем с трона почетных гостей, оставался нарочно без стула, вскарабкавшись над Синепапичем на край стола.

Препопащ распластался халатом на двери.

НИЛЬС АБЕЛЬ

— «Мы слушаем: Гаусс... Что Гаусс?»–ввернул Синепапич, напомнив профессору, что он—с гостями, а не в безвоздушном пространстве.

Профессор, себя обретя, руку бросил, как кот, зарезвившийся с мышкою: с экзаменатором:

— «Гаусс–создатель теории чисел комплексных, в которой рассмотрены свойства больших числовых совокупностей».

[1] Знаменитый математик (1777–1855).

— «Так»—прошептал Куланской, скрипнув стулом.

То шею вытягивал он: из-за князя; то—прятался вовсе: за князя.

Профессор докладывал князю:

— «И Эйлер работал в теории чисел; а мысли Лагранжа к теориям Эйлера нам упростили знакомство с теорией этой».

Искал разрезалку.

Движением из-за профессора—

—«Вот разрезалка!»—

—ему Серафима Сергевна: и—из-под руки, разрезалку искавшей, схватила ее; и—просунула в руку.

За каждым движеньем глазами следила, из них выливаяся: два колеса,—не глаза!

И улиткой под домиком, пузом, свернувшийся, тихо поник Синепапич, ликующий, что дал беседе уклон, вызывающий негодованье Пэпэша.

Князь взвешивал, не понимая:

— «Пустые слова: Абель, Абель!»

— «Нильс Абель...» [1]

— «Да, да»—не стерпел Куланской, перебивший профессора—«Нильс Генрих Абель, которого имя—скрижали науки»—он князю.

Профессор, как бросится:

— «Абелевы интегралы»—рукой к Куланскому—«и Абелевы уравнения,—кто их не знает?»

Рукою ему Куланской:

— «Доказательство Абеля не было понято»—он через голову.

И голова, князь,—отдернулась.

— «Абель писал: пока степень простое число...»

— «Затруднения не представляется»—перебивал Куланской.

— «Когда сложное»—перебивал Куланского профессор.

Но тот, перебивши профессора:

— «Вмешивается...»

— «Сам дьявол»—пропели друг другу они, соглашаясь: носами, очками, руками.

[1] Гениальный норвежский математик начала XIX столетия, рано умерший, работавший над разрешением алгебраических уравнений высших степеней; сформировал принцип невозможности алгебраического решения уравнений 5-ой степени и необходимость введения новых математических символов; дал толчок для известных работ Кронекера. (См. «Оче ки по истории математики» Г. Н. Попова.)

И вспомнив, что тут же—профаны, носы повернули к профанам; и им разъясняли:

— «Имея в виду»—разъяснял им профессор «решение алгебраического...»

— «Ческого»—эхом пел Куланской.

— «Уравнения»...

— «Енья»—вибрировало басовое, воздушное тремоло: эхо.

— «Должны мы...»

— «Должны»—сомневалося тремоло, не представляя себе, что «должны мы».

— «Почтить Галуа» [1]—уже кавалерийской атакой ударил профессор.

— «Ну, что же—почтим»—согласились глаза Куланского.

— «Его оценили Бертран и Долбня»—бомбардировал психиатрический фронт Куланской.

— «В нем теория групп числовых—геометрия тела, вращаемого в многомерном пространстве».

Профессор на головы выдвинул «танки» свои из имен, никому неизвестных, из мыслей, которыми эти ученые люди не пользовались: Синепапич читал Гераклита,—не Абеля, а Николай Николаевич—ни Гераклита, ни Абеля.

Но пароноика бледная маска за окнами шмыгала; встала в окне, замигавши глазами оранжевыми; и—язык показала; и—спряталась: под подоконник.

Профессор увидел ее; и—споткнулся.

— «Труд Клейна...»

Молчал.

— «Какой труд?»—раздалось из-под пуза.

И все, что дремало,—проснулось, поняввши, что сбился; так стая мышей: заскребется она,—зашуршит:

— «Что?»

— «Какой же?»

Как будто штаны отвалились; он помощь искал в Куланском; Куланской, не припомнивший также труда рокового, за князя ушел головою, ужаснейшим скрипом ответило стуло,—не он.

---

[1] Гениальный французский математик, работавший в сфере теории групп; дал импульс для ряда математиков: Кронекера, Эрмита, Бертрана Лиувилля, Софуса Ли, Клейна.

Дыра в памяти,—

—черный квадратец заплаты,—

—для всех

подчеркнулся.

И—факт, что—белей полотна, что—морщинист, что шрам стал лиловый, что руки тряслись; наблюдали, ловили, записывали с откровенным злорадством, чтоб после рассказывать, чтобы с фальшивым сочувствием доброе имя подмачивать.

Мучился!

И Серафима Сергевна, взяв руку,—глазами в глаза, потому что зловещее ухо Пэпэша, которое он, приложив к нему руку, вытягивал—ширилось; пузом провесясь, и пузом отпрянув, он ножкою воздух бодал:

— «Сами видите!»

КЛЕЙН

Дверь—врасхлоп; голова заглянула—архаровца старого: серенькой, рябенькой ящеркой, дверь притворивши, на цыпочках перепорхнул по стене Никанор, перевиливая между стульями; быстрый кивок, жест руки, отражающий брата, Ивана, рванувшегося через голову князя с «мое вам почтенье-с».

— «Я—нет: не мешаю».

И—брату, Ивану:

— «Так—чч-тò: продолжай!»

К Серафиме Сергевне, которая место ему уступила, юркнул, сложив руки, и ноги скрестив; всем закидом ершей выражал, что он слушает, что ничего не случилось.

Носы—на него.

Тут профессор, с курбетом, отшаркнул и брата поднес, как на блюде—носам:

— «Никанор,—говоря откровенно,—Иванович: брат!»

И взглянув,—дело ясное—в корень вопроса, его разрешил рационально:

— «Докладывал я»—он забыл, что еще не докладывал, путаясь,—«Das Ikosaeder und die Auflösung der Gleichnungen vom fünften Grade»—труд Клейна [1], дающий возможности нам перейти

Немецкий математик Клейн в упомянутом сочинении предлагает средства решения уравнений пятой степени уравнение икосаэдра; впоследствии он показал, что уравнения высших степеней разрешимы путем изучения свойств правильных многогранников пространства «эн» измерений.

от решения алгебраического уравнения к геометрическому в изучении свойств многогранников, в «эн» измерениях, в «энных» мирах».

— «Мнимый мир»—пояснил Куланской, снова ехавший из-за спины,—«есть вращение тел...»

— «Многомерных»— поправил профессор —«с трудом измеряемых».

Труд измеренья почтенным поклоном он выразил.

— «Есть»— вылезал головой Куланской.

Он наигрывал блеском очков, раздаваясь руками, ногами.

Одна Серафима Сергеевна с ланьим испугом, оглядывая психиатров, украдочкой, вскользь—к Никанору Иванычу носиком; он, сломав корпус,—к ней: ухом:

— «Что, как?»

— «Возвращенье Терентия Титовича успокоило Элеонору Леоновну».

И—он отдернулся.

— «Так-то, мой батюшка»,—бросил профессор: и «батюшка», князь, уничтоженный Клейном,—отхлопывал веком.

— «Я мыслями Клейна питался тогда, когда понял: предел скоростей—не прямое движение, а—винтовое-с!»

Теперь он питался куриным бульоном.

— «Еще Грибоедов, механик, над змеями опыты делавший, это провидел!»

И тут Синепапич, как будто всадил хирургический нож в гробовое молчание,—с писком простецким:

— «Профессор, у вас самого-то открытие—есть, что ли?»

Мысль подловатая высунулась из глаз князя; из глаз Куланского вопрос вылезал; но Пэпэш скорчил рожу; и ей интонировал: —

—этот вопрос—есть вопрос для научных болванов, решающих там, где решенье дано: клизма, воздух, физический труд и лечебница!

А в Серафиме Сергевне лишь «ай» поднялось: есть открытие, нет ли его,—все равно; лишь бы «он» не убился.

Все замерли, точно под шелестом; торжествовали: попался! Один Синепапич невинно глядел, точно он ни при чем.

Да профессор с отличным спокойствием после молчания выговорил:

— «Никакого открытия нет у меня».

Никанор полетел с подоконника с грохотом после того, как он ерзнул ногами.

Все вздрогнули.

Он—улыбнулся пленительно; и—облизнулся: нет,—брат, брат-Иван, овладел в совершенстве собой.

Синепапич мигнул ему ласково:

— «Я так и думал».

Пэпэш, в свою очередь, чуть не слетел со стола: было видно, что два психиатра во всем разошлись: разошлись до конца.

МИКЕЛЬ-АНДЖЕЛО

Разрезалку прижал; ушел глазом под веко; бельмо синеватое глянуло на психиатров: суровым укором за зрелище это: за этот «экзамен», распятие напоминавший; стоял головою в окошко, где вырезы чащи березовой взвесились розово—в желтое волоко облака; стекла холодные молнились.

— «Что вытекает из сказанного?»—взял футляр от очков.

И—футляр от очков положил.

— «Вытекает огромное следствие».

Выскочил, быстрый, невинный, простой, точно пляшущий пляской руки с разрезалкой, рисующей истину в воздухе,—глазик.

— «Все числа—комплексы, фигуры, иль геометрические композиции: в вечном движении... Три»—начертил разрезалкою «три»—«это есть треугольник, растущий, вращаемый данным спиральным движением; форма в движении он».

Никанор, в это время засунувший пальцы в карманы и рывшийся в них, наконец вместе с сором записочку вынул и сунул профессору; время нашел! Тот ее повертев, не заметив, рассеянно тыкнул в карман:

— «Где один треугольник, там—множество: вписанных, или описанных; площадь последних равна четырем площадям».

Никанор, передавши записку, чесал Серафиме под ухом словами,—и громче, и громче.

Услышали явственно:

— «Все-таки есть затрудненье... Что ни скажи там,—неблагоприятное время для перемещения брата, Ивана... Приходится повременить...»

— «Тсс»,— вспшикнул Куланской на него.

Серафима Сергевна отдернула ухо; профессор докладывал:

— «Принцип фигурный для «трех» есть «четыре»: там, где треугольник, четыре их; далее, уже четырежды, ясное дело, че-

тыре; так далее, далее-с»;—он разрезалкой высчитывал—«то есть: на плоскости это тетраэдр расшитый, иль два треугольника: раз— основной; и два,—вписанный; и основной равен,—ну, разумеется же,—четырем»—показал.

— «А в пространстве фигура такая—тетраэдр, который в проекции плоскости—куб, квадратическая пирамида, квадрат; и еще очень многое-с; тройка дана в «четырех-с», а четверка—в «пяти-с...» Я бы мог показать... Карандаш?»

— «Карандаш»—подала карандаш Серафима.

— «Фигура числа в геометрии, взятой наукой вращения,— метаморфоза текучая чисел,—сращаемых, переводимых друг в друга-с; она есть вариация в круге вариаций».

И—вдруг он:

— «Бумагу-с!»

Схватила бумагу.

— «Бумага»,—слетев с подоконника, стала с бумагой.

Профессор чертил на бумаге число; и, забывшись, мурмолку схвативши, ее всадил в космы; она с головы повалилась бы, мялась, топталась бы пяткой, кабы не рука, подобравшая из-под профессора и положившая пестрый предметик на столик, откуда обратно хватался он.

— «Вот»—показал на фигуру числа.

Но никто не поднялся: увидеть фигуру числа; лишь Пэпэш перевесился пузом; и пузом откинулся.

— «Вы извините, какая же связь»—князь, смеясь,—«этих выспренних мыслей с действительной жизнью?»

— «Такая-с: число—композиция, целое».

— «Общее?»

— «Ах, да отвыкните, батюшка»,—«б а т ю ш к у» он разрезалкою тыкнул—«от... от...»—искал слов—«от безграмотного выраженья: «в общем и целом...»

Мурмолку в затылок.

— «От смеси понятий...»

Мурмолка упала.

— «Сливающих принципы, в корне иные-с...»

Мурмолку затаптывал.

Громкий расчмок: это воздух лобзал Николай Николаевич.

— «Общее-с,—ну-те-с—понятье анализа; «ц е л о е» в логике аритмологии—образ, фигура; там—счет, обобщающий; здесь—построение!»

И упреждая движенье руки Серафимы Сергевны, присевшей

на корточки, чтобы мурмолку спасти, он,—на корточки: с ожесточением вырвал мурмолку, всадивши мурмолку в вихры; и показывал крепкие белые зубы.

Мурмолка—свалилась; и—пала, подхваченная Серафимою.

— «В общем и целом есть гиль, тарабарщина, едущий, ясное дело, «в к а р е т е в е р х о м»: набор слов!»

Кулаиской, отзываясь на шутку профессора, прогрохотал каблуками и задницей, дернувшей стул, или—стулом; сидел перекошенный и глуповато отдавшийся фырканью; а Николай Николаич расжимами в воздухе пальцев, откидами корпуса вылился весь в вопросительный знак.

Никанор,—отзываясь на жест психиатра,—с сарказмом ему:

— «Так вы с братом, Иваном, повидимому,—не согласны?.. Мысль брата, Ивана, вопрос поднимает, по-моему... Что?»

Но Пэпэш, не ответив, сдавил из приличия иком—зевок.

И вперившись в Пэпэша, профессор стоял: головою серебряною на оконном квадрате; за ним вдалеке рисовались заборы; повесились пересеченные, черные вычерчи, ветви,—на светлые тверди.

И голову эту из ярко кровавого золота листьев обрызгали светлые просветы зорь.

Серафиме Сергевне казалось, что выписан он Микель-Анджело, фрескою,—под потолок:—

— Моисей,—

— громко грянувший в пол

с высоты потолочной Сикстинской капеллы.

ДА ЛЕВА Ж ЛЕОЙЦЕВ!

— «Теория чисел врывается в диалектические представленья, применяя триаду в тетраду, в гептаду, в какое угодно число; треугольник, как синтез «т р е х», в ц е л о м»,—профессор ногою притопнул на «целом»—«проекция в плоскость тетраэдра, иль пирамиды, допустим, которой квадрат—основание; общее синтеза,— третьего-с, трех-с,—в четырех-с»,— разъяснил —«треугольниках-с, нам нарисует семь фаз диалектики, не нарушая триады никак, потому что понятье гептады—понятье триады в разверте спиралью вращаемого, говоря рационально, тетраэдра».

И—подождал:

— «Диалектика, ясное дело, имеет свою диалектику в свойстве числа; если этого мы не усвоим, то и диалектики мы не

усвоим; и будем по кругу вращаться, себя повторять, потому что — в спиральном разверте она; и триада — растет: переходит в сращенье триад, в свое целое; символ его есть «четыре»; так «пять» — теза в целом; гексада — вариация в целом двух, как антитезы. Гептада есть синтез в понятии «целого»; я — повторяю: не «об-ще-го»!»

Оргии блесков — очки Куланского; оттенками пырснувши, переливались: —

—«Вниманье!» —

— «Прекрасно»! —

— Очками кричал из-за плеч; с.ратории стулом наигрывал; книжечку вынул ядреным, мужицким движением; чмыхнул.

Отдернулся князь, вероятно подумав:

— «Невежа!»

И сдержанно около носа платком помахал; и волной тройной одеколон разливался; не выберешься; нет — как он затесался сюда? Притащила — сенсация; пресса кричала:

— «Открыл!»

Появленье сюда — лишь желанье глазами пощупать сенсацию (дамы — материи щупали; — «лев» же кадетский профессора глазом ощупал).

Решил: никакого открытия не было; был — старикан шутовской.

Он не слушал: в нем выступили: перебрюзглая пухлость, просер перезрелый; да дряблая смятость — не бледность щеки, перечмоканной, видно, кадетскими дамами.

Вместо теорий — только теории от Милюковера и от Винавера: вот так «лев»!

Просто: —

— Лёва Леойцев, — каким он учился в гимназии у Поливанова!

Куклу глупую, пусто надутую, фронт политический выбухнул в воздух.

ТРЮХ-БРЮХ

И профессор ему:
— «Сударь мой, — надо помнить фигуры комплексов».
Не выдержал князь:
— «Для чего?»

— «Для того-с! Дело ясное: аритмология есть социология чисел; в ней принцип комплекса есть такт социальный, безграмотно так нарушаемый».

Чуть не прибавил он:

— «Вами-с!»

Ногой и локтем кидался, как вьолончелист, исполняющий трудный пассаж, — Куланской; вьолончель, стуло — пело; и шар, яр и рдян, — там упал: за окном; и медовый косяк стал багровый.

Тогда Николай Николаич — с наскоком, с отбросом, со скрипом стола, — Синепапичу что-то доказывать стал; Синепапич безмолствовал, ручкой укрывши зевок.

Николай Николаич, увидев зевок, точно руки омыл; он рукою бросался за мухой: его интересы — что? Муха-с, а не Синепапич. Да, да: обнаружилось, что Синепапич, — не муха: под-муха! Профессора ж, — если бы даже оставили здесь, Николай Николаич теперь из лечебницы выбросит: выеденное яйцы, — не больной!

И — не выдержал:

— «Можно подумать, — коллега Коробкин читает нам курсы по психиатрии».

Профессор, как дернется, как побежит на него:

— «Да-с, — без Абеля психиатрия, как всякое знание, — бита-с... А мы — лупим мимо; мы вилами пишем по, ясное дело, воде!»

И затрясся под носом он:

— «Трю́хи да брю́хи-с!»

Присел: рукой — в нос:

— «Получается — «в общем и целом».

И — шиш показал он:

— «Без масла-с!»

И тотчас к окну отошел; и — задумался; и — стал суровый; и — мучился, что неответственно он безответно внимавшим ему, неответственным, бисер метал; и себе самому он внимал, в окно глядя, где строились —

— в карем пожаре окраины, где — стеклянистая даль, где смертельное небо, в которое вломлены гордого города грубыми кубами абрисы черных огромин, —

— домов!

Серафиме Сергевне казалось, что мраморною бородой и рогами на кафедру входит, чтоб истины блошьему миру читать, — Моисей Микель-Анджело.

Встала с ним рядом.

Как в увеличительных стеклах, слагающих блеск нестерпимый,—до вспыха, из глаз ее вспыхнуло то, чем светилась душа: они стали—две молнии!

НАДЕНЬКА, КИЕРКО, ТОМОЧКА!

— «Как?»—Куланской, наклоняяся к князю.

И князь, показавши рукой на профессора:

— «Как-нибудь, что-нибудь там».

И—грудь выпятив, горло прочистивши,—встал; и к профессору: «все-таки» рад он—

—без всякого «все-таки» он поздоровался

— «Все-таки: случай приятный... Так, все...»

К Николай Николаичу:

— «Павел, увы, Николаевич—ждет... Николай Николаевич, мне чрезвычайно приятно... вас к делу «Союза» привлечь,—кстати уж...»

И—замин.

— «Кстати».

Задержь пожатия; и—с плеч долой: он—исчез.

И за ним: Николай Николаич и Тер-Препопанц: коридором зашаркали.

А Синепапич пищал Никанору Ивановичу из угла: затяжная болезнь; но здоровообразием станет она; обитатели шара земного—здоровообразы; земной шар—лечебница; буйств никаких,—значит: что же держать его!

— «Что вам, профессор, здесь делать-то? Дома, поди,—лучше будет?»

Сердечно пожал ему руку; и—ринулся к этой руке Куланской. Был услышан, когда две спины в сюртуках проходили сквозь дверь коридора, восторженный вскрик—

—«голова за троих!»—
Куланского.

Профессор же с бледной, как мел, головою, поставленной наискось, вдруг просутулясь, осел, стал расплеким, губа отвалилась; и шрам прочернился; казалось: дорогою ровною шел; и наткнувшись на мрачную пропасть,—отдернулся; странно глазную повязку рукою сорвал и кровавою ямой глазницы показывал—ужас.

— «Зачем это вы»—Серафима его оправляла: глазную повязку надела; а он, отдавая себя в ее руки, прощался с «малюткой» своей, от которой его отрывали:

— «Куда я пойду,—дело ясное?»

— «Дом?»

— «Дома—нет: никого».

— «Дома—нет!»

Уронил меж ладонями голову.

А Никанор—по плечу его:

— «Ты, брат-Иван,—не волнуйся... Так чч-то: образуется... Есть помещенье, возможности... Ты, я—так: ум хорошо, а два—лучше... Три—лучше всего: Серафима Сергевна,—так-эдак. Втроем проживем!»

Серафима, взяв за̀-руку:

— «Милый,—обидели вас; нет, не вас, а—себя лишь: слепые, достойные жалости».

Он, представляя непомерно раздутое пузо Пэпэша, в которое этот Пэпэш, как в мешок, надуваемый газом, зашит—ужаснулся; усесться в мешок, за собою мешок волочить!

Пережил это тело; Пэпэш, как Хампауэр, Иван: а Хампауэр, Иван,—

—брат, Иван!

Сострадание—вспыхнуло: «да»—как удар по затылку (слом черепа)—молотом; выжженный глаз, издевательства, тряпка, которой заклепано горло; «со»—на̀ковальня: вспых из сердца,—любовь; «стра»—се-стра; и тут вспыхнула многолучевая лучами звезда, со звездой сочетавшись.

Созвездье двух звезд: близнецы!

. . . .

Никанор, чтоб отвлечь от раздумий, к нему приставал:

— «Ты, Иван, прочитал бы записку, которую я передал; а то...»

— «Как же-с».

Достал, развернул: прочитал; и—присел, густо вспыхнув, руками схватившись за бедра; и радостно взлаял:

— «Да это же—Киерко, чорт побери!»

И хватил кулаком по воздуху, шаркнув и перевернувшись, как перед мазуркой; и тут же, зажавши свой жест, как в кулак, его выжал в лицо заигравшее: пальцем—в записочку; ею—им в лица.

Увидели, что ремингтоном настукано:—

— Старому другу

привет. Николай Николаевич Киерко». Снизу: «Прошу разорвать».

— «Ты—того»;—Никанор, подмигнувши, рвал пальцами воздух—«ведь он—нелегальный».

Профессор любовно записочку рвал, точно розу ощипывал,— носом на брата, и носом в малюточку:

— Наденька.
— Томочка-песинька,
— Киерко!

— «Время приходит, друзья мои: тени родные вернулись!»

МАДАМ КУБОА́

Меж двух оглазуренных и белоблещущих круглых колонн,—над тремя ступенями, пятью ассистентами в белых халатах, стоявших под пляшущим пузом Пэпэша,—Пэпэш, пузо выпятив и разлетаясь полами пальто, шляпу сжав, ей махая,—отдался, как водный кентавр, кувырканью среди волн, разыгравшихся:

— «Слаб Синепапич!»

И чмокнул губами пред ручкой, к губам поднесенной, как бы для лобзания, пузом взыграв, точно в пузе Иона, им съеденный, тешился перекувырками:

— «Слаб, слаб: до баб!»

И присел, перепрыгнувши глазками;—

— слева направо—
— и справа налево—

—меж жадно просунутых пяти голов: ассистенты с натугой пустой вожделели дождаться конца каламбура: присели и ели глазами Пэпэша: Как, как?

— «Весом—хе-хе—у краббика этого с берковец—бабица-с!»

Тут, привскочив, разорвался—очками, руками, ногами—меж двух колонн блещущих; и—передрагивал пузом.

И—

—хо-хо-хо-хо̀ —

го-го-го—

—расплескалось пять белых халатов пяти ухватившихся за животы ассистентов, присевших от хохота между колонн.

Николай Николаевич,—шар, выпускающий газ (свою шуточку),—с ожесточением в голову шапку всадил и меж них прочесал, перепрыгнувши через ступеньки,—в подъезд, где седой Пятифыфрев стоял оголтело.

И треск оглушительный: аплодисментов.

— «Каков».
— «О!»
— «Го-го́».
— «Николай Николаевич!»
— «Глуп Синепапич!»

Тогда Николай Николаевич перевернулся в подъезде, как клоун, притянутый аплодисментами; шапку сорвал, помахал; да и—бахнул:

— «Как пуп!»

В глуби кубовочерные кубовочерного выреза двери пропал,—под подъезд; над подъездом же—черная рожа; спешил в «Бар-Пэар»: в кубы кубовые; ждали—Мирра Миррицкая, Тертий Мертетев и Гурий Гурон.

И ждала—юбка кубовая под боа: в кубы кубовые; иль—мадам Кубоа̀,—из Баку.

. . . .

А все пять ассистентов, вильнувши халатами меж двух колонн, коридорами вправо и влево—как пырснут!

Стоят две колонны; меж ними—дуга; посредине из лампочки злой белый бесится блеск.

В БЛЕСКИ ЗВЕЗД

Пестроплекий оранжевыми, сизосиними, голубоватыми пятнами складок халата из ультралиловой он шел в инфракрасную полосу—по семицветию спектра—листов облетающих, вид же имея тибетца, скрепяся до каменного, землей сжатого, угля (вполне адамантовый!), и разрешая вопрос овладения междуатомным теплом, своим собственным, внутреннею теплотою своею!

Что делалось с правым зрачком,—неизвестно: заплатою черною он занавесил.

Ходил занавешенным.

Ободы облак окрасились странным, оранжевым жаром.

Вдруг выскочил из-за кустов—шут гороховый в желтом и в сером; да—в спину ему, с пересвистами,—выкрикнул.

— «Дурень Иван думу вздул, как индейский петух: в зоб идет дума эта; и—то: борода растет густо, а нос—как капуста: ум—пусто!»

Профессор же, как обернется, и пальцем как щелкнет под нос, расплеснувши халат:

— «Я—Иван: да—не дурень!»

Распятивши ноги и руки (от этого полы халата, как крылья тропической птицы, взлетели),—как гаркнет:

— «Я, брат,— всем Иванам Иван!»

Запахнувшись полой, вид имея не то дурака полосатого, не то тибетца, как в бой барабанов пошел он: вперед.

И в сквозном, в леопардовом всем из заката—изогнута: ясного глаза там ясная бровь.

. . . .

Воздух—красная свежесть: в нем зов.

— «Я ищу вас,—профессор!»

В сиреневосером фигурка малютки, снегурочки, с личиком милым, с малиновым ротиком: в мысли о нем.

Мысль,—

— снежиночка чистая,—

— в сердце скатясь, став слезой,
как жемчужина, павшая в чашу,—

— так екнула в ней
ясным жаром; овеяло
личико ей, точно ровным и розовым паром...

Два ветра, два вестника: прошлое с будущим!

Два близнеца!

А небесная мысль повисала из неба меж ними: звездинкой.

Молчал даже в россверках левый зрачок, о чем правый зрачок не сказал еще, скрытый заплатою.

И светорукое солнце лучилось невидимо из красноглавого облака; и синерукий восток поднимал свою тускль.





ГЛАВА ПЯТАЯ

ТИ́ТЕЛЕВ

БОРОДОЮ ТРЯСЕТ, КАК АПОСТОЛ

Лизала метель через колья забора: сквозной порошицей, с серебряным свистом; замах за замахом хлестал; заморочили белые ворохи, прядая, двери шарахая.

В быстрых разрывах выскакивали: синеватый простор с забледнением, с дымом, с угластыми кровлями домиков дикорябиновых, синих и розовых; ржавый Икавшев тулупил и сыпал песок.

Из сквозной порошицы скрипел, как забор, перержавленный голос:

— «Хорош бы домец: да жилец!»

Что такое?

Заборы, осклабясь прорехами, заверещали по-бабьему:

— «Знаем: не все говорится, что варится в нем».

— «Ты—копни; и—найди!»

Порошица серебряная, покрутясь простыней завиваемой,— стлалась.

И—думалось: колокола отливает Егор Гнидоедов, сосед; Ника-

нор ухо выставил: недопонять; слова ясные, грубые; смысл их неясен, как слово Терентия Тителева; как ужимки Леоночки, как положение брата Ивана.

И он перекрался сугробом, прокопом, общапканным лапой вороньей,—вдоль тропки; и вза̀бочень стал он в прореху заглядывать; видел: Егор Гнидоедов, да бабица (писаной мискою рожа), да рыжий тулуп, да какой-то, по виду рабочий.

— «Сварили с корову, а нам показали с воробушка».

— «Сам бородою трясет, как апостол».

— «Сама—раскрасава».

— «Как пава бесхвостная»—Психопержицкая дверь распахнула с ушатом помой.

— «С приживальщиком драным»—помои в снег выплеснула—«по прозванью: б о л в а н!»

Да и в двери.

И кто-то снегами отхлопал вдали.

Невесомые истины крались сквозь души людей; и они же, Егором оплеванные, как ковры, на заборе развешаны в бабьину рожу, которая писаной миской кричит на базарах.

Надысь искосочком он шел; ему в спину:

— «Какой нищеброд!»

А Икавшев?

— «Настрял на зубах у меня тут!»

А Агния?

— «Ишь,—топотун, наставитель какой!..»

А Леоночка?

Слышался звук ударяемых дров; и снежиночки падали; и Никанор пригорюнился: травля при помощи грубых тулупов; а он—только ветром ломимый заборик сквозной, под которым присел брат, Иван.

Тут опять оцарапало в ухо:

— «Бородкою в Минина; и сухорукий такой же; очками выходит, что в филина».

— «Бегал третéннись в больницу».

— «Иван, Никанор: много всяких «Иванычей», как под березой поганычей».

— «Супа не сваришь из них».

Тут рабочий вступился:

— «По-моему кура быка родила; тоже,—слушай: такого наслушаешься, что от чаду счихнешь».

— «А по-моему,—кура, корова ли,—были б быки; а говядина красная—будет»—кулак умертвительный в воздух зажал Гнидоедов.

— «В говядину, братцы, мы пустим бугров этих красных».

— «Какой черный дрозд!»

И машисто вошел серодранец; с ним дергал седой архалук.

Встали ворохи—мороком, рокотом; и из пустого простора шарахнул, заухавши, страх, как косматый монах: на оранжевый домик; пригорбился брат Никанор, чтобы стужей стальной не зашибло.

А в павертне слышалось:

— «Морозобой!»

«Пропустить бы мерзавчик!»

И—выступили за забором сугробища да серебрéнь; никого; только на леднике, дерном крытом, на целый аршин—снеговина, как белая митра, надета.

И кто-то—

—встает от нее и рукой снеговою и строгою в снег—
подымит!

. . . .

Жались голуби; слышался звук ударяемых дров; жестяная флюгарка, вертяся, визжала с соседнего домика; пусто глядел Непереврев в свои пустоглазые окна.

Сугроб за сугробом с соседних пустующих двориков встал за забором,—нетоптанный, непроходимый; нигде—ни души; покопайся,—неведомки всюду:—

—как белые вши, вездесущие, ползают.

Вьюга пустилась по кольям забора, как стая несытых смертей.

НА КРОВЯХ, НА КОСТЯХ

И из снежного дыма расслышалось еле:

— «Живое мясцо, когда режут, мычит—говорю я Шамшэ Лужердинзе».

— «Геннадий Жебевич Цецосу рассказывал...»

Белые массы бросались сквозь белые массы.

— «То—правильно: карта России—пятно кровяное; Москва—на кровях».

— «Петербург—на костях».

— «И пора ликвидировать это».

Охлопковый снег повалился за шею Терентия Титыча; он же,

в сугроб проваляся, едва выволакивал валенок; в шапке рысине, в тулупчике с траченным мехом, шажисто шарчил из сугроба и слизывал сырости с белых усов.

Глядя вбок, Каракаллов, Корнилий Корнеич, мотался кудрями и не поспевал; загораживал рот он рукою; метался очками; и пар пускал: пачечками:

— «Скоро партию новых листовок»—а в рот хлестал ветер—«на дровнях доставит Пров Обов-Рагàх, ну и ловко ж из моря ловили их».

— «Кто?»

— «Бронислав Бретуканский, Артем Уртукуев, Мамай-Алмамед, Мовша Жмойда... Тюки им бросали за борт: буря, ночь; лодки старые»,—жался в серявом пальтишке, с которого шарф голубой, закрывающий рот, завивался змеей в Гартагалов, мелькающий еле; счихнул.

— «Чох на правду!»

— «Тащили за три с половиною верст из Батума; Цецос при разборе листовок присутствовать должен, а он точно в воду упал».

И скользнувши, рукой—за очки он; а Ти́телев, даже не слушая, выставил бороду,—белый ком пуха; походка—со стоечкой; задержь в посадке спины:

— «Ветерец!»

О Цецосе,—ни звука.

Под сниженным боком заборика, собственного, в снег—коленями, а бородой—под забор; снег слетел с бороды; разъерошилась,—желтая, шерсткая:

— «Сорвана».

— «Что?»

— «Да доска, чорт дери!»

А в отверстие—психа.

— «Ну, гавочка...»—валенкой он отпихнулся—«Кукушка полезла в чужое гнездо!»

Сдунул иней, под ним обнаружив следок собачиный; под руку ему Каракаллов заглядывал, точно собака в кувшин.

— «Ну, чего надо мной заплясали, как чорт над душой?»

И шарчил из сугроба; опять Каракаллов:

— «Цецос,—точно в прорубь».

Терентий же Титович снова—ни звука.

Оглядывая Каракаллова, думал:

— «Жердяй: точно чучело на коноплянике; рот, как дыра; кос, курнос; рыло—дудкою; глух, точно тетерев!»

С силою шел: руки—зà-спину; клином волос изъерошенных—в ветер:

— «У нас соберутся Иван Буддогубов, Богрупи-Бобырь, Галдаган этот, Нил, Откалдàкал; галдят—врозь, вразвалку!»

И—смык смышлеватых бровей:

— «Все Шемяки да Шуйские; как кулаком, заезжают друг в друга»—мигнуло лукавое, польское что-то—«партийным оттенком; я не о рабочих»—взусатился он—«проработались славно в ячейках заводских; я—о комитетчиках; эти в подпольи гниют; их—проветрить, на воздух; им все невдомек: хладнокровие и осторожность—десница и шуйца»—упорил он валенком, в снег ударяющим. «Шутка—нехитрая? В том-то и дело: нехи́трое—очень хитро́ как огонь, в кремне скрытый».

В его хохотавшем баске с перезвоном икливым, как... хвостик.

И—вдруг:

— «Меделянского пса заведу».

И—на Козиев Третий свернул он, ступая с притопом; и—зная: он—сила больших обстоятельств, которые властно подкрадывались,—уже изнемогает; а вихрь—хлестал в горло; порыв утаив, жестко шел, припадая на правую ногу:

— «Кадет полевел; вылезает эс-эр; и садит меньшевик из-под локтя; пиликает всякий кулик про болото свое... Наши темпы трещат; расслоение спутает карты программ; надо знать из сегодня же схему поправок на время, когда меньшевик и эс-эр нас загонят в подвал; не бояться вливаемых ядов, их схватывать, кристаллизуя из них силикаты полезные; сила движения—верткая, да-с... Ну,—а мы? Хороши ли? Глафира Лафитова,—та лупит славно; а Римма Ассирова-Пситова,—дай волю ей: тебе кровопускатель откроет; живет на Кровянке, а не на Солянке».

И руку с черешневой трубочкой выбросил:

— «Небопись,—эк?»

Вздул усы; и—с посапом:

— «Леоночка: тоже за ножик; она—декаденточка».

С силою выпустил облако дыма, порыв утаив:

— «Разложение капитализма погубит не сотню, а тысячу эдаких!»

Точно рыдваны, в ухаб опроки́нутые,—перегромами пали, снеслись за забор, где сугроб скорбно скорчен, и где Непереправа дом пятнил издали.

Он, педагог удивительный, силой и сметкою бравший, надеялся все же, что есть исключения: служит же общему делу и он, хотя дед—откупщик; в нем замашки кулацкие сжаты в кулак, его собственный: пикнуть не смеют; под бурей и натиском, старый стояло, скрепясь,—развернул-таки красное знамя.

Под собственным домом, вобравши движения, вытянул шею, как сетер на стойке,—в плюющую муть; стать—закал; сталь—не поза.

Но дернулись уши: он выбросил:

— «Во все лопатки лупите: за мной!»

Под ворота летел—от ворот, своих собственных он; и за ним Каракаллов, который и—рухнул в бревно, как кобыла в оглоблях.

В месте, где только что шли, расхлестался рукав; и—занизился, сгинул; и тумба торчала; над ней прошел бритый: безглазием.

Ти́телев выбросил руку, скарячась в прися́дь; а другую—под глаз.

Бросил:

— «Это—Маврикий Мердон: провокатор».

И на Каракаллова:

— «Эк же,—строчи́т настроеньем с бревна!»

И зубами щемил свою трубку:

— «Обычное дело!»

И красная церковка,—

—всплывшее бывшее,—

—сфукнулась.

ТЕРТИЙ, ТЕТЕРЕВ

Тертий Терентьич Мертетев, блистая кокардой и ясной подковой сапог, перехрустывал в снег—там, где еле тусклило лиловым забором; мелькнул номер дома.

Рукою в молочной перчатке махал и пятью белоснежными пальцами воздух отхватывал; статная талия, стянутая бледносерым пальто, проходила в сквозной, улетающий дым; он подрагивал вымытым, синим своим подбородком, погоном серебряным и эксельбантом серебряным; глаз,—как в атаке; в атаку бросал за собою пахучий тулуп и невзрачную личность, которую тыкал он пальцем, лица не повертывая:

— «Говорю, Каконасним, что — зря: Жюливор пишет — Знаменка...»

И увидавши Мердона, возникшего из-за забора, он бросил Мердону:

— «Как с радио? А?»

Снег попадал с усов; и они прочернели, как кокс.

И Мердон:

— «Не похоже».

Мертетев, понюхав, как дымом воняет, в Мердона уставился; и—промелькнуло:—

—матерый мерзавец; и—неутомимый подлец: не доспит, не доест, а—напакостит!

Тертий Мертетев к подобного рода субъектам испытывал только гадливость; к Мердону—напротив:

— «Почтенная гадина!»

Серо рябил из-за них мимобег: мимоезд, мимолет!

И заборы ломящему ветру подставивши спину, Мертетев закуривал:

— «С радио- — вздор: ну, а с гелио-»,— и проблистал огоньком папироски в бормочущий, пусто сквозной веретенник— «а с гелио- — некуда».

И он пошел, передрагивая подбородком, погоном серебряным и эксельбантом серебряным.

— «Что же те двое?»—к Мердону с дымком.

И Мердон изъязвленной губой изъяснялся:

— «На Знаменке: номер семнадцать, квартира двенадцать».

И шел независимо в белые призраки между морковных и желтых домов, разевающих темные окна; загривина лепку орнамента,—морду клыкастую,—взлизывала.

Возникала проблема: а стоит ли лично ему, когда здесь исполнительный этот Мердон, неворующий вор, не подлиза, не червь,—с положением, с весом; Велес-Непещевич снимает пред ним котелок; и Миррицкая, Мирра Мартыновна, кремовым тортом кормила.

И шли; и—высвистывало: и уж издали выметились, как из занеба, сложения серых, кофейных, сквозных, фиолетовых стен, задымившихся трубами; грохотом труб ветер ржал.

Но вмешался тулуп.

— «Они с энтого места, из энтой дыры в Гартагалов таскают ночами тюки».

— «И вполне не относится к делу»,—Мердон: и к Мертетеву:— «левые просто».

Но не унимался тулуп:

— «И живет непрописанный с ними: и лазает ночью в ледник».

— «Не профессоров брат?»

— «Нет,—Муфлончик, эс-дек: это дело не наше».

Мертетев согласен:—Маврикий Мердон бескорыстную ненависть чувствовал к явным «предметам» своих наблюдений, зачеркивая все случайное, не относящееся к прямой цели; ему прикажи: «Проследи!» Бескорыстная ненависть вспыхнет; своих мнений—нет: предавая, смотрел он на руку, сжимавшую кандалы, с нежным порывом: ее лобызнуть,—как невестушка на жениховскую руку, держащую сердце:

— «Что, милая?»

— «Гадится мне!»

Что же,—гадил исправно Маврикий Мердон.

И уж издали всплыло сложение трех-двухэтажных цветочных домов—

—как пион, как лимон и
как лютик;—

—взлизнули вьюнки; завизжав, как стрижи, затрещав, как чижи, под колонну лимонного дома, под фризом серизовым; улепетнули под небо.

— «Позволю заметить»,—подергал Мердон перебитым, мездрявеньким носом,—«на Знаменке, от углового окна, дом Фетисова, явно мигает окно с половины второго: в Ваганьковский; тушится ровно в одиннадцать свет; с половины второго—«р а з-р а з»!»

— «Вы-то видели сами?»

— «С подзором ходил».

Он давно изучил все оттенки подлогов: подлог на письме, на счетах, на товарах, подлог государственный!

Прядал серебряный пар: промаячил домочек резной, деревянный, коричневорозовых колеров, с легкой, резной, полукруглой надстройкой; там вырезанный Геркулес, размахнувшись дубиною, льва добивал: из-за снежного облака.

— «Кто жилец-то?»

— «Да дамский портной, Цвишенцворш».

— «В списке значится?»

— «От Николаевского с двумя ящиками эти самые—прямо: к нему».

— «А в Ваганьковском?»

— «Грек Филлипопи с жильцами: Лори́йдисом, Маго-Маогой, из Индии.

Тертий Мертетев под небо молочного цвета перчаткой с дымком:

— «Значит—Знаменка; значит—не Ти́телев; здесь—делать нечего».

Порх, перемельк: ничего; перепырснулось все; из-за свиста провесилась кариатида, одною рукою держащая грузы балкона, другой—опрокинутый факел.

Мертетеву вспомнилось: из Хапаранды писали ему: ожидается нынче иль завтра развоз аппаратов берлинских для крыш по шпионским квартирам в Москве; аппараты в разобранном виде-таки унырнули от зоркого ока с границ:

— «Глаз—сюда; глаз—на Знаменку».

И осенило: да что? Тигроватко! Ее и прислать; баба с носом, с принюхом.

К тулупу:

— «Аптека ближайшая?»

— «На Петероковой».

— «Вы уж, Маврикий... А я—к телефону».

И Тертий Терентьич Мертетев, подбросивши руку к фуражке, другою рукой замахав и пятью белоснежными пальцами воздух хватая, от них захрустел в перевзвизг рукавов, куда все унеслось; только—

—кучер в лазурной подушечке задом растолстым провесился
из белой пены на белую пену.

А саночек—нет; коней—нет.

. . . .

И матерый мерзавец,—

—Маврикий Мердон,—

—усмехнулся...

С Велес-Непещевичем,—не с Манасевичем,—путь; как же: Ти́телев—лакомый кус; не для царской охранки же; «князю», премьеру, его, точно торт, поднесет: «П о р а ж е н ч е с к и й з а г о в о р п р о т и в в о й н ы д о к о н ц а!» Чего доброго: «князя» в придачу с Велесом, он Ти́телеву, сберегаемому до последних, решительных действий: он знает, «к т о» Ти́телев; и презентует, как торт, потому что Велес—неглижирует Ти́телевым; Сослепецкого он прострочит; капитан Пшевжепанский—мозгляк; а Мертетев—токующий тетерев.

А то—охранка!

Скажите пожалуйста: как же!

Вернулся, прищурясь, глядеть на лысастое место, как Форд, озирающий шкаф несгораемый.

Винт снеговой, развизжась, полетел из-под ног, развивая рои перевертней; как ухнет из них:

— «Тоска бешеная!»
И тарахтом полозья снега шерошили; и белой овчиной тороченный, старый тулуп над полозьями мордой рябою скользнул.

СВИРИСТЕНЬЕ ВЬЮРОВ

Куралесило.
Свист, свиристенье вьюров из пустых рукавов: в разговор подворотен:—
— «хлоп» — крыша; «дзэн» — склянка; —
— и серые тени прохожих из белого дыма, —
— как издали!
Провод дрежжит; свора борзая храпами бьется о красный забор; вырез серый прохожего гнется в него; жестяной жолоб ржет; подворотня ворот—
—без ворот!
И морковного колера выступ без стен, поднимаемый каменной мышцей, безглавой, безгрудой из снежного дыма; а вьюрчивый юркий вьюнок—подлизнул под колонну.
Сутулая шуба, без ног, пронеслась за колесами черной кареты в сухой и рассыпчатый дым; и ударилось звонкое что-то; от жолоба свесились гущи снегурьи.
Проткнулись:—
—фонарь, верх прэснеженной будки и штык часового с казенного места, которого—
— нет.
И прошел инженер, пыхтя паром туда, где отцокала свора морозная—
—гривистых, нежных, серебряных, снежных коней—
—сквозь забор, переулок, ковровый платок, полушубок, тулуп и сквозь стену, с которой, как рапортом, отбарабанила крыша.
Москва,—
—как на крыльях, без стен, перегрохами в воздухе виснущих крыш —
—улетает.
Их—нет.

Санок—нет; людей—нет: шелестение ботиков, цоки и поскрипы мерзлых полозьев; и—
—«Ноо!»
Головою мотается лошадь.
И серебропероЙ загривиной переострился сугроб, от которого юркий вьюнок, вознесясь, разрываясь,—
—сквозной синусоидой ширится:—
—синие линии вьются и крутятся!

БЕЛАЯ ВЕДЬМОЧКА

Терентий Титович из-под ворот появился: лицо его светом стальным полыхнуло:—
—Леоночка:—
—все же предательски держит себя: в настроеньях—сума переметная; перекати-поле; совести нет ни полушки; садись на нее; и—катись: как в санях; и—пиши с ней восьмерки: налево, направо; едва «гильотина», уже—«л идер-абенды»; как в полуобмороке; эта лютость—жирок буржуазный; а рыльце в пушку: появились знакомства: какие-то Гелиолобовы, Флитиков-Пли, Тигроватко; ныряет куда-то; шпика привела: он, Мердон, записной!
Это ж в их положении—выстрелил дымом—начало предательства!
И протончилось лицо, точно горный хрусталь; и рукою держась за калитку, не взглядом, а смером обвел: вон—колун стоит в снеге; песок для усыпа в ведре; и лопата, которою снег разгребают, в снег воткнута, перекрестяся с метлой; Никанор там с лопатой, как чорт с сатаной, то ужаснейше морщась под тяжестью кома, а то впереверт, мимо снега махал, проливаясь испариной.
Вдруг:
— «Кровцу выпустим все же: с поры до поры—в топоры; вещь естественная!»
Верещало; и—проволока дребезжала: и—белая ведьмочка, вылетев из-за трубы, вверх ногами и вниз головой, развизжалась икливыми криками в воздухе...
Леоночку—предупредить: дружба дружбою, а—служба службою: как же иначе? Стальная душа у него; не послушается,—он доложит о ней в комитете.

И—хлопнув калиткой, не слушая вздор о Цецосе, который порол Каракаллов, он упорной походкою меряя снег, жестяными глазами глядел на лысастое место, откуда пустым снегодуем, сквозным пустоплясом винтила, вихрами взлетев, коловерть на размои, наметы, канавы, поля.

Вдруг, присев, руки в боки; а нос—в Никанора:

— «Совсем, как мамзель: вы полегче; а то накомсали тут рытвин, смудрили с подкопами».

Варежкой в варежку, валенок в валенок: точно приплясывал:

— «Зря».

Накоробил гримас.

Из тулупа кровавою клюквой пылала огромная рожа Икавшева, тут же стоявшего: теркой,—рябая, как вспаханная; этот—рылом не вышел; и толст: натощак не объедешь.

Ему, с Никанора слетевши зрачком:

— «Вот Икавшев-то—что̀ говорит? Говорит»,—и зрачком в Никанора,—«что—«мамочкин» сын».

А Икавшев, взоржав,—«раз» метлой на него:

— «Ну, чего вы лазгочете!»

Рот—до ушей, хоть лягушку пришей.

— «Ты, Акакий,—брыластый: тебе бы итти в трубачи!»

Руки в воздух:

— «О, интеллигенция! Что говорить, хорошо Чернышевского грызть; а вот эдак»—рукой в Никанора он—«мат; ну да из неврастеников быстро смассируем мускулы!»

БЫСТРЫЕ СМЫСЛЫ МИГНУЛИ ПРОСТРАНСТВАМИ

Гарком—Икавшеву:

— «Ты на ворота—замок...»

Каракаллову:

— «Ну-те,—в обход?»

Ясны действия: сила устоя—неведомая.

Под конюшней, где в снеге затоптаны щепки, он сметливо из-за сугроба разглядывал, быстро отрезывая:

— «Утварь—вынести!..»

— «Дровни тюки подадут».

— «Прова знаешь?»—Икавшеву.

— «Так их сюда».

И рукою в открытые двери конюшни показывал; чувствовалось: не свернешь.

— «А тючок ты неси в кабинет: этот вот».

И следил, как Икавшев тащил:

— «Осторожнее с ним»

Каракаллову, вскользь:

— «Динамит!»

И—задумался: видно решенья свои проводил, как сквозь строй, разъедая анализом; но с простотою «дурацкой» выбрасывал.

Вдруг подпираясь руками, почти бородою лег в снег, побежав на карачках:

— «Эге: следы дога...»

— «Ищейка...»—прослеживал.

В криво затиснутом, скрытом усищами рте,—точно спорт:

нос—собачий: с принюхом:

— «А вы не смотрите, а вникните: вот,—да и вот!»

Распрямясь, и спиною откинувшись, свистнул под форточку, где Никанор обитал и откуда трепалася синяя тряпка-махавка; пождал.

Как загаркает:

— «Гей! Заросли у тебя, что ли, уши,—товарищ?»

И тотчас из фортки взъерошились дыбом оранжевокрасные волосы; и голова, спугнув двух голубей, вылезала усами и скулами; яркий румянец заржал во всю щеку:—

—Мардарий Муфлончик!

— «Махавку убрать!»

— «Есть!»

И пуще, и пуще отгрохало крышами; свистнулись свисты: ни дома, ни фортки; когда пронеслось, то трепалася желтая тряпка в том месте, где синяя веялась.

— «Теперь узнают, увидят; они, «н а ш и»,—близко!»

Под черепом, как муравейник: мурашиков, мыслей, свершающих одновременные выбеги,—гибель: решения—многосоставные, многоколенчатые!

— «Ну,—поехали?»

И—на лысастое место повел; и зрачком облетевши сугробы, как будто свои диспозиции выметил.

— «Вы скипидаром подметок не мазали? Смажьте при выходе... Я—уже мазал... Не в том вовсе сила»—на бревнушке сел, с силой топнув, «что,—ну-те—кобыла сива...»

И вскочил.

— «А в том сила, она—не везет!»
Стальным торчем с лысастого места он виделся: видели местность, кричавшую громким галданом солдатским.
Лишь тут, узкоглазый и верткий, склонясь к Каракаллову, быстро ответил на давешний, видно, его удручавший вопрос: о Цецосе:
— «Цепос—пошел раков ловить: пузыри от него на воде!»
Каракаллов:
— «Что? Как?»
Вкоренясь в точку трубочкой,—в воздухе варежку сжал; и стальным кулаком погрозил в щелк железных листов, в дикий скрип подворотен:
— «Цецос—арестован!»
Смотрели на местность с лысастого места, где взапуски ветры, взадо̀х—дуновенье, где в тихие дни прозияла Россия,—немая, суровая, где повисал сиротливый дымок и лесочек тоскливо синел.
Нынче—белое поле; и—за̀верть; и—нет ничего!
. . . .
А когда опускались под дом, он—заказывал:
— «Ну-те, с Мардарием из кабинета стащите тючок в это самое место».
И тут усмехнулся, представивши, как сапогами они прогрохочут в гостиную, дверь приперев; там, погрохают; как языком их слизнет: рухнут в прорубь; припомнивши, как Никанор удивлялся и как на коленях исползал гостиную, стал похохатывать.
Да оборвался:
— «А вы осторожнее; пахнет бедой с динамитом: взлетим; коли пир—на весь мир; коль взлетать,—с растара̀хами!»
Чувствовалось: дай упор,—ось вселенной свернет!
— «Пообедаем»—с милой, простой, безобидною ясностью; делалось жутко: что в ней?
И какие-то быстрые смыслы неслись; и какие-то быстрые вихри мигнули пространством сорвавшимся.

И, и, и...

— «Ну-те-ка!»
И Каракаллов уселся, диваном натрескивать, целяся пальцами в клавиатуру машинки; Терентий же Титович, взяв в руки списочек, и зацепясь за расштопину карего поля ковра, клюнул носом, носком отцепился и светлым пятном, точно солнечный зайчик, мигнул на стене:

— «Эк!..»
— «Валите же...»
И—дроботнул «Ундервуд»—
—Колбасовкина,
—Мымзина;—
—и тюбетейка — запрыгала; пальцем отрезывал, точно щелчком:—
—Герцензохер,
—Рехетцев-Гезец!..

— «Это?»
— «Меньшевики: проживают в квартале у нас».
— «Для чего этот список?»
— «Хватился Малах!.. Нужно знать—все, решительно: ну-те».
И—щелкнул:
— «Эс-эры теперь».
И—трещал «Ундервуд»—
—Бомбандин, Вододонова, Агов.
— «Вы знаете,—Сенекерим Карапетович?.. Дальше...»
Трещало:—
—профессор Нервевич, Кирилл Куромойник, Сергей Гусегурцев...
— «Я,—ну-те—сказал в Комитете—отчетливо, с цифрой в руке: большинство будет наше; противников, меньшевиков и эс-эров, теперь же—
—и всем выраженьем лица сделал стойку—
— «учесть!»

И пошел синусоиды строить ногами, отшлепывая в темносиние каймы ковра: голозою—вперед, темносиние кайма отсчитывая и прислушиваясь; и—там снегом визжало, как пулею.
Список швырнул Каракаллову:
— «Сами справляйтесь: немного осталось!»—
—Нил Стрюк, Нина Пядь, Юрий Песарь, Помыхом, Фуфлейко.

— «А как с Циммервальдом сношения?»
— «На волоске...»
В шелестениях снега несущихся взвизгнет Россия.
И—
—тысячами развернется знамен!
— «Все же есть».

И уже там повизгивает из-за визгов: иными какими-то визгами; и—Химияклич—

—«старик»—

—из Лозанны глядит.

Почему же—с густой укоризной? И—он, стало быть? Нет же,—в руки себя он возьмет.

И как хватит по воздуху, взвив в воздух руку:—

— «И—меньшевиков!»

— «И—эс-эров!»

— «И... и...»

Будет дело: разрушится этот квартал!

Треск:—

—Те-ка-ко-ва!

— «Кончили? Пойдем обедать!»

СУП С САЛЬЦЕ

Обедали же у Леоночки, на круглом столике; столик качался; плохая посуда; Леоночкин ножик без ручки: с железным торчком; а тарелки—с потресками; вилки—не чищены.

Терентий Титович выскочил, бразилианскую бороду бросивши:

— «Эк,—насосал папирос Никанор!»

Передернул короткую курточку-спенсер; Леоночке—вскользь, мимоходом:

— «Опять зажевала очищенный мел?»

Желчь и зелень локтей оглядел:

— «Износились».

И сел за обеденный стол:

— «Ну-те, милости просим, Корнилий Корнеевич»—бросом руки; бородой,—желтым клином,—Леоночке:

— «Гость: ждали—с гор; подплыл низом!..»

Леоночке стало казаться: она, как на вешалке, виснет в развислый дымок папироски, который проклочился в воздух из ротика; а Никанор подвязался камчатной салфеткою: с меткою «М».

Чтобы что-нибудь,—Ти́телев руку к бутылке, а бороду на Каракаллова:

— «Эк? Кахетинского?»

— «Нет, благодарствуйте!»

И—за графинчик с водою; но руку отдернул: отстой,—не вода.

Леонора со скошенным ротиком передавала тарелку остывшего супа (с сальцом) Никанору, крича о каких-то разгласиях каждым своим изогнувшимся пальчиком; видом показывала, что наскучили ей раздабары его; глаз агатовый,—в окна, где дым из трубы, выгибаясь, как чорт голенастый, в минуты затишья, выскакивал рывами в белые рывы;—

— в разрыв белых вей:—

—двор, забор: за забором дома деревянные колером вишневым и незабудковым, нежным, едва показались; но свисты засыпались снова.

Леоночка, точно косая: агатовый глаз за окно, а другой, зеленый и злой, наблюдал Никанора, который давился: как мерзлую корочку ворона,—долбит своим видом и лезет в глаза, как оса, Никанор; он сопел и отчавкивал громко (дух блюд подаваемых Агнией—сало свиное); он насморк схватил, нахлебав сапогами снежищ.

Каракаллов пытался опять завести разговор о Цецосе, но Ти́телев—сбил:

— «Эк, метет!»

Мигунками, сквозными вьюнками, забор и домок помигали.

Наблюдательность с учетверенною силой, как десять поставленных автоматических камер, работала: мог крепко спать, все же зная, когда там Мердон, не по адресу присланный, ходит заборами; глазом, как шилом,—в тарелку, в стакан, в Никанора, в Леоночку: видел, как злилась, как глазик, зеленый и злой, перепархивал: под подоконник, под скатерть, под руку.

И глазом забегал за глазиком: под подоконник, под скатерть, под руку; и—бегал за ними очком Никанор.

И тут ручка с салфеткой—салфеткою в нос Никанору:

— «Несносный!»

— «Леоночка!»

— «Терентий Титович, я вас прошу...»—Никанор.

А Леоночка:

— «О, уважаемый наш Никанор: не разбейте тарелки мне!»

И Никанор, закусивши бородку, прискорбно давился; и губы, сухие и черные, стали сухими полосками в серых усах.

— «Ты, невзрючка какая!»—ей Ти́телев, переблеснул тюбетейкой.—«Ты рожечек, ну-те, не строй: Никанор, он—хороший»;—рукой трепанул—«трубадуры, голубчик мой, в нынешний век,—трубокуры; иначе они просто «д у р ы»; не будьте таким!»

И как будто ему наступил на мозоль он, затронув какую-то тайну его отношенья к какой-то особе.

И тотчас—к Леоночке:

— «Эк, закаталася глазками... Нéохоть, что ли, тебе?»

— «Опаскудило, что ли, тебе наше дело?»—пытался сказать его взгляд, потому что не губы, а—ржавая жесть; прожесточил усами; в глазах—добродушие.

Ровность подчеркнутая приводила ее просто в ужас; она—верный признак паденья барометра: знать урагану ужасному,—быть.

Но она передернула плечиком.

Пискнула белая стая мышей:—

—за окошком взвилась шелестящая мантия нежно серебряным прóсверком; и громокатный удар тараражнул по крыше.

— «Ну, ну,—и обеды же!.. Лучше в столовую бегать»—вздохнул Никанор; и—схватился за ножик качавшийся: ручка некрепкая; бросил.

Схватился за скатерть: суровая и с бахромою из синих павлинов; глазами рассматривал брюки, которые он растиранием пепла о них перепакостил:

— «Лучше язык за зубами припрятывать».

И—облизнулся: ни звука.

И—ухнуло с неба.

Низринулась снегом на снег, промелькавши сквозь черчь размахавшихся веток на бледном, оранжевом домике, бледная девочка, ножками дергаясь в черчь размахавшихся веток, чтоб спинкой разбиться об острый сугроб; и ее пропорола ворона летящая; и все—взвизжало; и тотчас ей вслед прочесала свистящими космами баба хрипящая: снегом упала, как скатерть, на снег; и—беднявый оранжевый домик с оранжевой силою выкровил в снеге; прислушивались, как мотор стал подпрыгивать.

— «Кончили?»

Ти́телев бросил салфетку.

— «Пошли?»

Но мотор у ворот профырчал, ход сорвав.

КАК ШУТОВКА ЮРОДСТВУЕТ

Черная шляпа, махаяся перьями невероятных размеров, влетела в калитку экспрессией бедер и таза, с лицом, злым и длинным.



За ней развевалося дымчатосерым отливом мехов, точно плащ героический, шелковая, шелестящая, черная, но с гиацинтовым пробверком, мантия, схваченная на груди серебрящеюся пряжкой.
За мантией иноходью побежал котелок.
И—звонок.
Из передней: походка с шумком, юбка с шуршем; слова закатались, как яйца; тотчас фонтанами страусовых черных перьев плеснулась на них: Тигреватко!
И—что-то: за нею.
И Ти́телев всем выраженьем лица сделал стойку, как гончая.
— «О, моя девочка!»
С желтого носа посыпалась синяя пудра: на Ти́телева.
— «Не имея приятности лично вас знать...»
Пертурбация перьев: поля черной шляпы закрыли лицо:
— «Зная вашу прелестную женку»—моталась серьгами.
Коза, а не дама!
— «Простите за стиль ф а м и л ь э р».
Но он с верткою силою мускулов, перемуштрованных в нервы, ей кресло подвинул.
И тут:
— «Ташесю!»
Чисто выбритый, чисто одетый, душистый, но старый пижон, как букет, прижимая к груди котелок, подбегал—к Леонорочке, к Ти́телеву, к Никанору; и каждому, точно взапых, —

—«Ташесю!»

Он сел с видом невинным и розовым на кончик кресла, держа котелок на коленях и нежно любуясь им.
Каракаллов, за ширмочкой сгинул: моргал из постели Леночки: сел... на... постель.
И очками пылал Никанор на перчатку грачиного колера: руку схватила она вперетяг, до подмышек.
— «А я, мон анфан, на секундочку: ждет—лорд».
И—пауза; и—с серенадой, с руладой:
— «Везет на моторе нас»—долгая пауза—«к князю».
И быстро пустилась мишурить разбором заветов, имен, ситуаций.
— «Парблё,—ангажирую... завтра: придите же... Прелесть, что будет: такой получила сервиз... И—давайте сестриться!..»
И к Ти́телеву:
— «Вы—не против?»
И юбкою шуркнувши,- в креслице, выставив как напоказ, неприлично икрастую ногу; и муфтой, которою бросилась в стол, половину стола заняла.
— «Отнимаю ее; после вас у нее отниму; вы по слухам»—за глазками злость—«независимый, так что отнять—невозможно; и—наоборот...»
Выходило, что он—отнимает.
— «Из стаи ворон, закружившихся над Леонорой Леоновной».
И Никанор наблюдал, как она безобразничала искривлением талии, бедер и таза.
— «Ведь я—маркитантка, хотя не при армии, но—тем не менее: мы,—Ник и я,—при заботах о страждущих; я появилась—за «н е й» и за вами; за «ней»—для себя, а за вами—для дела: для общего, «н а ш е г о»... Ник,—начинайте»—и муфтою, сняв с половины стола ее,—на Ташесю.
И поставила тощий свой локоть, согнула когтистый мизинец, чеснула им нос, облизнувши сухим язычком губы кубовые; и жестокое, злое лицо ушло в нос—хрящеватый, большой, с маслянистой площадкой, посыпанной пудрой, с горбком, круто сломанным.
И Ташесю полетел в котелок, собираясь сорваться и призамирая, до вздрога, от этого.

ВОТ-ВОТ

— «Леокадия»—и к Ти́телеву—«Леонардовна к вам меня гонит, я, видите ли... Комитет, нами организованный, нам поручил пригласить вас читать в моем доме».
Он—путался:
— «В пользу «Яичка»!»
— «Какого?»—взусатился Ти́телев.
— «Красного... Дьё!.. Для увечных...»
— «И раненых»—тут Тигроватко вмешалася муфтою.
— «Воинов»—едва он кончил.
— «О чем же, помилуйте!»—Ти́телев: дымом стреляющим; и наблюдательность с учетверенною силой опять заработала в нем.
— «Вы»—сгорал от стыда Ташесю—«всеми признанный, незаменимый знаток социальных...»
— «Вопросов»—вмешалась опять Тигроватко, которую звал он на помощь; и всеми сокровищами разбросалась: лорнетка в оправе

молочного цвета дрезжала стаканом; перо щекотало Леоночку; локоть теснил Никанора, который заметил, как —

—пользуясь переговорами, эта «мадам», сцапав ручку Леоночки двумя перчатками, сжавшими верно цыплячьи, когтистые темные лапы, затискала ручку; и тиская втиснула в ручку конвертец; конвертец—исчез: во мгновение ока!

— «О вас»—продолжал Ташесю—«говорил капитан Пшевжепанский: вы—знаете?»

— «Нет, я не знаю!»

— «Как?.. Как?.. Капитан Пшевжепанский!»

Мосьё Ташесю перепуганно прядал плечами к мадам Тигроватко, к Леоночке с видом обиженным и. говорившим:

— «А вы говорили?!»

Леоночка стала белей полотна.

Как назло Ташесю смешал «Ти́телев» с «Ти́телев»-«а»: буква «а»—разрушительна:—нюх розыскной ее всюду разыщет: не слежкою глаз, а ушами, которые слушать умеют, как мысли растут:

Вот —

— вот —

— вот —

«Капитан Пшевжепанский!»

И—кончено!

И невзначай разглядела взгляд, брошенный от теневого дивана: взгляд грустный, серьюзный, значительный:—

— точно в пучине кипящей спасительный круг —

— Никанор!

Ташесю волновался, настаивал; свой котелочек от сердца бросал, точно вазочку с розочкой:

— «Вы... вы... прочтите... Вы... вы... просветите, пожалуйста!»

Ти́телев весело дзекнул.

— «Я не просветитель».

И—«ух»: отдышалась: «он»—нет, не ищейка: следов не разглядывал; ждет, что—покается; знала: жестокий и грозный ее ожидает о, нет,—не разнос, а—суд партии!

Но собралась: лишь в зубах дроботок оставался.

— «Итак решено»—интонировала Тигроватко, с мизинца свергая лорнетку молочного цвета: в стакан.

— «Я же—не специалист: я—статистик».

И громким щелчком, как отрезал:

«Отказываюсь!»

Не свернешь.

— «Ник,—милорд?»

И лорнетка прыжком из стакана на «Ника».

— «Я—жду вас»—к Леоночке.

— «Вы почему не бываете у Ташесю?»—снисходительно: Ти́телеву.

— «Извините же...»

— «Сделайте милость...»

— «Я... мы...»

И все, встав, загремели и быстро прощались друг с другом.

И с силою, с натиском мускулов, перемуштрованных в нервы, он, ставши галантным, по-польски, ее выпроваживал; и шелестящая, но с гиацинтовым про̀сверком, мантия легким полетом шушукнула в дверь.

И за мантией—

—выбритый, чисто одетый, душистый, но старый пижон, перещелкивая каблуками, летел с котелком.

И снежиночки, бледные цветики, падали, плача: все—минуло; все—прожитое.

ПОД ЧЕРНЫМ МОТОРОМ

А черный мотор, тараторя дымком, у ворот передрагивал; черный шофер двумя черными стеклами ел колесо рулевое, вцепяся руками в него, чтобы стужей стальною не сшибло.

И сумеречило; двери огненным отброском бросили.

В черном, моторном окошке, склоняся на палку, следила за вьюгою бритая серобазальтовая голова; еле серые волосы злились под черным цилиндром.

Уже начинался закат; и над Козиевым полетели косматые тучи: в закат.

Тут калитка расхлопнулась. Перья мадам Тигроватко махнули к подножке мотора; не двинулся лорд, перевернутым корпусом; глазки открылись, которых и не было; были—

—протыки под череп, откуда белясо и фосфорно мыслью мигнула материя серого

мозга; и воздух куснул электрический ток, когда—

— Ти́телев, скорчась, мадам Тигтроватко за локоть подсаживал; выоркнул локоть; ладонь же осталась повешенной в воздухе; клин бороды глянул в вырез мотора, откуда лицо показалось.

И, точно железо к магниту—

—два глаза—в два глаза—

—сверканием произнесли роковой монолог.

И, как хвост скорпиона, расщербом морщина прожалила лорду базальтовый лоб: и прожалился лоб расколовшийся Тителева—

— потому что—

—потому что—

—он лорда узнал по портрету.

И кто-то ударил из воздуха—воздухом—в воздух; и снегом набился без вскрика разорванный рот; и он—шмыг: за калиточку.

Лорд—

Ровоам Абрагам,

— ставши серым, блиставшим мерзавцем, за ним головой прянул в вырез; и в спину глазами своими хотел—

— изомститься!

Но черный мотор, громко гаркнув, как десять козлов, фыркнул вонями; и, тараторя, отпрянул.

И тотчас же прянул—вперед, перемаргивая на заборах расширенным диском; фырчит—

— и—

— уносится...

И ОТВАРГАНИВАЛ ОН

Никанор, отварганивши доброе дело,—стыдился, как нищий с рукою протянутой; он настоящих монет не стыдился; при Ти́телеве состоял и протягивал руку, в которую Ти́телев скороговорочным бряком совал за монетой монету:

— «Не я-с!»

— «Поручители...»

Брал: с подфыфыком:

— «Добрит кашу масло!»

Так думая, он засигал к флигелечку; и—в дверь; мимо пестреньких комнаток перемелькнула рябая фигурка седыми клоками по переплетению синих спиралек с разводом оранжевым; креслица, в аленьких лапочках, в белых ромашках, стояли, готовые брата, Ивана, принять; Никанор засигал мимо них в неказистый чуланчик; махнул рукавом: брякнул ножик, упав:

— «Будет гость!»

Он ходил, опаленный Терентием Титовичем, точно молньей,—с того разговора: субъект, обещающий в рог согнуть... мир!

Так фигура Терентия Титовича над Москвою, из Козьего Третьего, выбухнула дымовыми столбищами.

И Никанор раз пятнадцать на дню перерезывал двор, постоянно выскакивая (не полиция?) из уважения, смешанного с опасеньем за брата, Ивана, который ведь—будет себе выздоравливать здесь!

Он—дурак дураком: как оплеванный ходит: в Ташкенте мальчишки однажды приклеили... к креслу!

Схватил папиросу и в дыме исчез; снял очки; и почувствовав веред (лопатою мышцу себе раструдил), повалился в кровать, подскочив на пружине на четверть аршина: кряхтунья кровать; да и—детская; сам себе выбрал в конюшне из ста́рбени: не оказалось нормальной; ему ж предлагали... двухспальную!

Скрипнул; и—на́бок; таким завалюгой лежал; полушонку скомчив, подложил себе руку под щеку; и функции мозга справлял в подзасы́п; разговор Гнидоедова с Психопержицкой поплел:

— «Передать, и—скорее: Терентию Титычу!»

Ликвидировали типографию—правда: машины-то где? Если переносили, он видел бы; нет—ни тюков, ни шрифтов.

— «Она—в воздухе!»

— «Посередине гостиной?»

— «Так-эдак!»

— «На пересечении диагоналей, которое воздух?!»

Мардарий Муфлончик, Трекашкина-Щевлих и доктор Цецос проходили в гостиную; в ней... исчезали! Дверей, кроме той, коридорной, в ней нет; и замазаны окна.

Она, типография—

— в воздухе?!?

Терентий Титыч же громыхает свинцовыми валиками прямо в хор... голосов... бестелесных—из воздух.!?!

— «Надо бы брата, Ивана, серьезнейше предупредить!»
Он себе самому пересказывал это: и прыгал кадык; и из этих себе самому пересказов—

— опять —

— возникала— —

— Леоночка!

КОШКА ГОРБАТАЯ

Это ж -разрыв окончательный?

И Никанор прядал задом и ржаной пружиной визжал; и подметкой глядел на растреск потолочный, откуда опять перед ним возникал «этот случай».

— «Чудовищно-с!»

Третьего дня, проходя черным ходом из дома, увидел он: двери наружу—открыты; Леоночка в них подставляет метелице грудь; ветер снегом охлестывает и рвет юбку; глаза сумасшедшие выскочили в рыв звбориков.

И пережив это все еще раз, Никанор развизжался пружиною

. . . .

Как гренадерик в штанах, а не барынька, в снег по колено, она, вздернув юбку — на хворост, через веретенник, бормочущий пусто, царапаясь юбкой за сучья,—так чч-то: опустил он глаза; все же цапаясь, фыркрая и вереща,—

—«Леонора Леоновна!»

в хворост — и он; но — скатился!

Он же, одною рукою схватившись за зубья забора, —в метелицу: шейкой и ручкой с платочком.

Он, выкинув руку, подпрыгнул: за юбку стащить.

На него как зафыркает:

— «Бросьте вы,—брысь!»

Рысь,—не дамочка!

Ну - махать: в ветер!

Тогда он - к калитке; да — в Козиев, голову выставив.

И —

— с изголовья тормашками —вверх; из постели—на угол; сигнул меж углами; и- рухнул опять, чтобы —

. . . . пересказать!

Снявши черные стекла очков, иностранец, брюнет сиеватый глазами ужасно живыми, ужасно живыми, - Леоночке передавая

без единого слова из бури об... ужасах, стрясшихся, видно, над ним; разлетаясь мехами с плечей упадающей шубы, подставив крахмалы и бронзовый просверк своей бороды, ударяющей буре,—рукою, затянутой черной перчаткой. он снял свой цилиндр под фонарь, затрезвонивший с ветром.

И ветер цилиндр, вырывая,—так странно ужасно качал.

Точно гипсовый труп, белизною лица, темнобронзовым сверком пробора вырезывался на заборе; и только живели его неживые глаза, точно ввинченные бриллианты—в такие же ввинченные бриллианты, которые из-за забора стреляли в него.

Над забором, как кошка горбатая, в режущем скрежете жолоба, скалясь, готовилась прыгнуть за гвозди забора—

— Леоночка!

Миг, и Леоночки—нет, иностранец же, взмахом цилиндра черпнув бурю, уже тащился сутуло, оскалясь в снега.

И тащились по снегу меха.

Фрр—

—и все перестроилось: —

— только морковный, кисельный и синий процвет, как неясные пятна в потопе, обрушенном на Никанора; стоял: отдышаться не мог, трепачка наддавая зубами; и—перкал; и—перкал, и—перкал.

Из гребней какой-то под ухо:

— «Пардон! Я—Мердон: господина в цилиндре, Мандр...»

«Рррр!»—буря.

Он—не расслышал.

Расслышал:

— «Разыскиваю».

И какой-то прохожий:

— «В цилиндре?»

И—выбросил руки в метель:

— «Вон—идет...»

И все странно, ужасно, разъялось в душе Никанора.

И вспыхнула цепь фонарей, а из морока снежного черный мотор с перекрестка проглазил, свернув в ор и в деры пустых рукавов.

. . . .

Все же к—«н е й»: все ж—впустила.

Ну—вид! Грудь—дощечка дрезжащая; точно раздавлена:

— «Вы-то—при чем?»

— «Леонора Леоновна, я... Вы напрасно меня понимаете...»



Так трепанул он рукой, что манжетка бумажная, вылетев и описавши дугу, тараракнулав пол.

А она:

— «Домардэн: публицист из Парижа...»

— «И все!»

— «И — не думайте...»

— «Думайте все, что хотите...»

— «Все — вздор».

Узкогрудой дурнушкой, захныкала:

—«Жалко его!»

Да и он, Никанор, прослезился.

— «Вы — что?»

Он — шарк, бац — вверх тормашками: в дверь; и — ходил с той поры без манжетки.

. . . .

С тех пор у нее разгулялась метелица злая в душе; на кого опрокидывала раздраженье, того как кусали мурашки.

С этого ж дня горячил ее вид Никанора; бедняга присутствием в доме гневил; своим носиком пренебреженье оказывала; и перчатку натягивала, убегая из дому,—с насмешкой; а то начинала шарахаться, будто за ней, прощемивши кольцом своим нос, негритосом гоняется он.

Раз, напав из теней, защемила: на коже ее коготочки остались:

— «Язык за зубами держите!»

. . . .

— «Эк я» —

— затрещала кровать,—

— потому что он видел, —

— с какой осторожностью взвешивала свое слово пред мужем, и как, подойдя к кабинету с опаской, глядела на дверь кабинета; и—мимо на цыпочках шла...

. . . .

На прерыв отношений ответил удвоенной предупредительностью.

Тут живи, когда—

—брат,

— брат, Иван,

— Леонора Леоновна,

— Ти́гелев,—

—каждый врезался; и каждого врез — перерезывал: каждого; так что душа—перерезалась; странно дрезжали разъятые части: в метель из метели...

Да, да,—угоняется смысл, угоняется смысл отношений; и смыслы истории—рушатся.

Ветер в трубе, точно мучаясь, плачет о том, что уже ничего нет святого: последняя ставка!

«Хлоп»—крыша железная; с нею история, как от пинечка Терентия Титовича—«тарарах!»

«Дзан» — защелкало с крыши; он рушился в сны; допроснуться не мог; и—стучало —

—стучало —

—стучало: под дверью!

. . . .

— «Войдите!»

В открытых дверях—милолицая крошка стояла в мехах; и — малютила глазками.

Видела: даже предметов не видно: дымищи заухали.

А из расклоченной дряни расклоченный кто-то, ерошась, пленительно ей продобрил:

— «Так чч-то,—милости просим в хоромы мои!»

И—стал взабочень он.

В представленьи его Серафима росла, как гигантша.

ГИГАНТША

И шубку состегивая, Серафима страдательный бросила взгляд и оправила платье, какое-то пышное, круглое: цвет хризолитовый, с искрой златистою; села на стулик; косынку — на плечи:

— «Я шла» — начала; и оправила волосы: русые, с отсверком золота, тупясь:

— «Как вы?»

— «Я?»

И за папиросой: глазами показывал, будто дичины с мешок настрелял: ее крепко любил, но стыдился: прорезывалось из доверия странное, чорт дери, чувство: любовь из любви; эдак-так, эдак-тàк!

— «Я давно замечаю: судьба посылает меня на расхлёб; не завариваю, а — хлебаю; по дням тащу с кряхтами!»

Слушала сосредоточенно: в муфту:

— «Брат — раз! Леонора Леоновна — два-с!»

Папиросу, вторую:

— «Терентий» — вкурился он — Титович — три-с!»

В синем дыме исчез.

— «Владиславик — четыре! Пять» — пепел рассыпал, вперясь в чемоданчик: с кулак; весом — с фунт!

— «Ну, рабочий там класс: я читал; а тут, пòд-боком, и под бока запихавшись, докладывал с тòропом, с зàвизгом — «шито и крыто шаги принимают «о н и» — и вздымил папироскою третьей — «к тому, чтобы все ликвидировать: даже Россию закрыть, точно лавочку... Явятся, и — опечатают!»

И облизнул черноватые губы, полоски сухие. Язык за зубами стал перепелкой.

— «Шестое-с!» — исперкался: кровь на платке.

— «Надо ж к доктору» — думала, быстрый задох утая.

Не любила она сердобольничать; жаркое сердце лицо каменило; и точно сердилась: морщинки, сцепясь коготочками, дернулись.

Он свои руки — в карманы; и нàбок головку: такой перепелкою вылетел между углами, рисуя ногой грациозные па и рукой с папироской, с четвертой, винтя; и посеял в подол Серафиме охлопочки пепла.

— «Так чч-тò, — все заботишки!»

И принялся за Леоночку снова: «Леоночка» — так вот, «Леоночка» эдак вот.

А Серафима в ответ на «Леоночку» только:

Она человек раздражительный!»

Руки сложив на груди, себе в руки смотрела: все дни в ней ходило, как море; они переедут, а что будет после? Боялась Леоночки; бегала даже к Глафире Лафитовой; та ей:

— «Да что вы... Да Ти́телевы... Не носитесь с Леоночкой: баба двужильная!»

Вздернула плечики, став некрасивой: лиловые тени пошли под глазами; а лоб стал тяжелый, квадратный; и локти в коленки; и ноги расставились.

Шла, чтоб узнать, что для нового дома купить: Никанор ей не раз давал деньги; и знала, что — «т и́ т е л е в с к и е»; удивлялась: а как же «жена»? И самой приходилось метаться, забросив профессора: тут — керосинка, а там — полотно: для белья; с Домной Львовной они по ночам подшивали его.

И — расслышала:

— «Не отложить ли — а?»

— «Что?»

— «С переездом».

И пепел седьмой папироски осыпался.

Два коготочка явились на лобик:

— «С лечебницей конечно: нет — остается одно!»

И Пэпэш недвусмысленно стал их преследовать, мстя за визит Синепапича: —

— бедный старик: оказался на улице; надо скорее устроить его!

И мучительно позеленела.

А ВСЕ — ЛИВАНОРА ЛЕВОНОВНА

Тут Никанор спохватился:

— «Да вы... Да садитесь сюда: на постель... Стулик кос: не пастулишь на нем».

На кривуш свой упав, он ногой — на колено, любуясь, дырявым носком; вырисовывался на обоях: —

— узорик едва розоватый; а жидкий цветок, — как прыжком пританцовывал: коврик — оборв серобелявой невзрачности; коврик — оборвыш; столишко — не стол: половина стола раздвижного и драная скатертца; стопочка, а не стакан; и хоромы ж!

Вид-ямы...

И вздрогнула: холодно!

Видно дом—с при́дурью; видно, что он не домашничал, а—куралесил; сам печку топил; вероятно,—дымил, угорал; и от стужи подрагивал: глядь: а жилетец о трех только пуговках; где же четвертая?

Личиком ласточкой сделалась; крылья косыночки,—справа и слева: малютка и милочка: а волосята—пушились.

— «Давайте-ка я вам жилет подошью!»

И мордашкой, раскругленькой, беленькой, заулыбалась ему; платье щупала:

— «Нет, позабыла иглу».

Грохотнула передняя: шамк угрожающий:

— «Ах, ты, топтыжник: грязищи принес со двора; половик-то он—вот!»

И—ковровый платок бабы-Агнии выставился:

— «А вас Ливанора Ливоновна просит: она из окошка увидела вас»—к Серафиме.

А—где Серафима?

Зажмурилась: рот—рот суров: «Что-то непереносное!» Снова представилось, как Леонора Леоновна, встретив ее, залицуется классом рабочим, которого вовсе не знает она.

— «Право,—я уж не знаю...»

— «А что?»

— «Мне пора».

За окошком, под месяцем, из зажужукавших там верете́н, пролетали воздушные; прытко белье перемерзлое, с мерзлой веревки срываяся, прыгало: на снеговом помеле снеговая какая-то перетрепалась под месяцем.

— «Что же: идем?»

Серафима оправила добренькой ручкою волосы; ясным согласием лобик разгладился.

Встали.

МАРДАРИЙ МУФЛОНЧИК ПОД ПОЛ ПРОВАЛИЛСЯ

На Никанора взглянула: зима, а—осенняя шляпа, калошики рваные и перетертое до серой нитки пальтишко; шарф—новый, пушистый, коричневый: великолепно свевается в снег:—настоял-таки Ти́телев, чтобы он принял подарок; носил этот шарф с таким видом, как будто не шарф—омофор архирейский!

Заборики, кучи: вон сизосеризовый верх Неперепрева над фонарем серебреет снегурками; как все легко и летуче: в накуре сидели; смотрели, как падала буря; и слушали: безутолочи догромыхивали с дальних крыш.

И—безвременна брызнь; и—небременна жизнь!

Никанор, став под кремовым, бледным веночком из листьев морозных, серебряных, блещущих видел Леоночку: встала под свет за окошечком, как в полуобмороке, затерзавши на грудке узорное кружевце: в желтом халатике; глазки, агатики, став золотыми, мигнули своим изумрудистым выблеском; и—их закрыла она: папироску к губам; дымок выпустила: и... и... и...

Не глаза,—две звезды, соблеснулись как солнце!

И тотчас, нащупавши их, стали звезды, как точечки: злые; мельк, мельк.

И—в окне: никого.

. . . .

Проходя коридором, в гостиную, носом нырнул: и мелькнуло; что здесь, меж стеной, потолком и ковром повисают невидимо ассортименты машин, поднимающих грохоты в хор голосов: бестелесных?

. . . .



— «Пожалуйте: вас ожидала давно... нам о стольком условиться надо... Привычки профессора, вкусы, чего не хватает...

Леоночка ласково, очень сердечно, излишне, пожалуй, но сдавленно, вогнуто, с быстрым издрогом стуча каблучками, спешила навстречу:

— «Входите же»—на Никанора.

И красные губы раздвинувши, белые зубы,—не душу,—ему показала.

— «Потом»,- к Серафиме «потом» — и икливенько выкрикнула, Серафиму схватив, — «вы же знаете: я ваша чтительница».

А лицо стало дряблое, злое, в морщинках, когда Серафиме подвинула кресло она.

Никанор влетел с искоркой; он, из кармана, чурбашку достав, к Владиславику юрким скачком; Владиславика взявши в хапки, сел на корточки, в воздух подкинул, поймал и поставил: чурбашку показывал—

— хоть бы игрушку купила ему!—

—Поднимаясь, коленкой трещал с видом гордым, достойным, учителя русской словесности.

Но, оглядев Леонорочку и Серафиму, он понял, что—лишний; и—в дверь; и—и—

—«ррр»—грохотала гостиная; в полуоткрытую дверь—видел он,—что отдернут ковер; под ковром люк квадратный, в который, рурукая, пол, вероятно, проваливался; но он пола не видел; он—видел: усы, скулы, красный махор головы: и— Мардарий Муфлончик—под пол провалился! И тотчас: рука неизвестная хлопнула дверью; и щелкнул запор!

Никанор перед дверью: очками блистал:

— «Эге!»

— «Вот оно что!»

Бестелесные звуки,—имели телесную, эдак-так, почву?

Тут Владиславик, который за ним вылезал,—ему пòд-ноги; с ожесточением правой рукою мальчишку на левую руку швырнул:

— «Они ж газы там делают?»

— «Шиш,—ишь?»

Сломавшися, ширококостое и искаженное очень лицо бросив пупсику, и обдавая едва обоняемым, луковым духом его, он—представьте—запел: деритоником тоненьким; точно писк крысы; руками качая младенца, как мамка, локтями закидывая и полой пиджачишки взлетая над задом, лопаткой и лысинкой; и засигал коридориком, такт отбивая под вой, верещание: белые перья, как пальцы, летали по проводу, по подворотне, по крыше: «Да,—да-с, они, видно, отмачивают вещи очень сериозные; газы... А брат Иван, будет посиживать, пока и пол и квартал, и Москва, и Европа, и мир—не взлетят!

Он, в испуге летая туда и сюда,—ну тетенькать, подкидывать пупсика, строить из пальцев «козу».

Носом—в пол гоголечком, почти мотылечком порхал, бороденкой мелькнувши в оконном пролете; в его кулаке оказался платочек: Леоночки; и, точно хвостик, платчишко вилял:

— «Э, они - ди-на-мит-чи-ки?!?»

А Владиславик, метаемый, точно кулек, —в оры! Бабушка Агния дверь распахнула из кухни:

— «Чего ты трындыкаешь? Малый не мячик? Чего ты кидаешь его? Ты бы песенку спел, али гукал».

Он, пойманный, перкать, схватяся за грудь; не отперкался: даже с постоном рычал, чтобы перш горловой не душил.

— «Я тогòдля тебе, топотун, говорю, чтоб ты слухал».

И—дверь отворилася; голос Терентия Титовича:

— «Надо к доктору».

Но Никанор, мимо Агнии,—вот, потому что в дверях разлетившийся Терентий Тѝтелев встал.

Постоял он; и—

—он...—

ПРОЛЕТЕЛ В КОРИДОР

Пролетел в коридор, притопатывая, но бесшумно; предметы дрожали, а пятка не шлепала; и он—застопорил, вытянув шею; он видел:—

—из зеркала—

—голубоватое поле стены, туалетик, гребеночки белые, щеточки белые.

На туалетике локтем какая-то—мал-мала меньше, с неврачненьким личиком, тяжеловатым, в хорошенькой шубке с коричневым мехом; обвисла ушастою шапочкой; муфта огромная, мехом свисая, лежит на коленях; в нее опустила с улыбкою ротик неправильный в тяжеловатом усилии высмыслить; сосредоточенно слушает, лобиком вцелясь в икливенький голос Леоночки; и сожалеет впереннием в муфту.

И вдруг она тихо зазубила: и растворились черты в нежном цвете лица: как миндаль розоватый!

— «Какая такая?»

Рассыпались звездочками из прищуров глаза.

И—вся быстрость, которую он развивал, улизнули в него, притаились в плечах и в руках, подлетевших к подтяжкам, блистающим яркими пряжками:

— «Экий миленок!»

И—вытянул шею: и—видел Леоночку; ножки поджала она под себя на подушке зеленой, которая—в синих изляпинах карего коврика; ручкой берет цвета тертых каштанов она подпирала, следя за развислым дымком папиросы, который проклочился в воздухе; другою гладила желтый капотик, по тканям дымок папироски ведя.

Но—о чем? Но—про что?

И он выставил ухо: ему, как звоночек, икливенько задребезжал голосок:

— «Я овцою паршивой стою перед вами!»

Опять психопатия?

И незнакомка страдательно переложила с колена на стол руку с муфтой; глаза опустила, качая головкою; складки на лобике сделали «же»; и лицо, став квадратным, казалося старше.

Но чудно пропела грудным своим голосом:

— «Вы, Леонора Леоновна, ходите, как в перепряжке; не к вам эта упряжь: зачем на себя вы клевещете».

Тут Владиславик, приползший опять, зацепился за юбку Леоночки и перебил своим «ааа» разговор; но Леоночка грубо его оттолкнула: «Да бросьте его: тоже—вот!»—Серафиме, как бы извиняясь за жест; вышел—грубый, не дамочкин: бабьин!

— «Несносный мальчишка. С ним—не оберешься хлопот: он—расстроил живот».

Незнакомка вторично, как арфою,—ей:

— «Иноземцевы капли полезны ему».

— «В социализме родителей нет!»

И скривилися губы Терентия Титовича, потому что родителей нет: есть друзья; а—какая тут дружба: игрушку купила бы; «есть» в социализме друзья, а не эдакие гренадерики с личиком, напоминающим—скопчика!

А незнакомка внимала вперением в муфту лица с таким видом, что совестно ей, что она виновата; и вдруг—вверх головку ушастую: виделись только белки закатившихся глаз от разгляда в себе Леонориных слов.

Леонорочка, ей с огонечком, звоночком:

— «У нас, в социализме...»

— «Эк»—дернулся Ти́телев.

И—перекрикнула:

— «Вы, Серафима Сергеевна».

Так вот «о н а» кто? Их жилица? Такая «дитёныш»? Тверденька: морщиночки, как коготочки, на лбу

А Леоночка ей:

— «К счастью я не знавала пустых этих нежностей: мать умерла у меня; гувернантка моя докучала достаточно все ж половым извращением под формой нежности к детям... Совалась во все... И носила два цвета: фисташковый, серый; ходила с опухшей щекою; и все вспоминала Штурцваге какого-то».

Тителев—глазом—

—топазом,—

—как ярким кинжалом, сквозь шерсткую, бразилианскую бороду сердце свое просадил: и—кинжал перевертывал в сердце.

— «Петровка проклятая!»

Топанье пятки отчетливо пол сотрясло.

. . . .

Леонора Леоновна и Серафима Сергеевна вздрогнули; и—Серафима Сергеевна стала испуганной ланью: глаза—в круговерт.

А Леоночкин глаз стал зеленый.

И—видели—

—голубоватый отлив куртки-спенсера из теневого ничто появился; и—брюками дымного цвета шагнул: яркокрасный жилет прокричал,—

—и—

—все это утопало: в тень!

. . . .

Пролетел мимо них в кабинет, хлопнув дверью.

И слышался шаг: как кузнец, ударяющий молотом в кузне, вышлепывал в синие каймы ковра, их отсчитывая, равномерно и быстро.

Вдруг, вставши, глядел, как слепой, в дикосизые стены своим кадыком волосатым и желтым.

И—в дикое кресло упал.

С СОБОЙ СПРАВИЛСЯ ОН

С собой справился; и—притопатывая, но не шлепая пяткою, в спальню влетел, став в пороге; и руки подпрыгнули к кубовым ярким подтяжкам; и—смык смышлеватых бровей.

И—

—«Терентий»—

—с прищурами—

—«Ти́телев!»

— «Ах!»
Точно сжиг на щеке!
С невесомой какою-то поступью, легкой и быстрой,—к нему.
— «Мне приятно...»
И личико стало котеночком.
Добрым, задзекавшим смехом, ее упреждая, и даже как будто конфузясь ее, подлетел, щелкнул туфлей, ломаясь под муфту, к руке: отблистать тюбетейкой.
— «Смелехонек»—думала...
— «Точно для виду сробел».
Глазки стали, как искорки:
— «Мы уж знакомы...»
— «Надеюсь...»
И—екнуло:
— «Вот он какой?»
И с задором, как будто к нему приступая, она потопталась на месте, смешная и маленькая, как синичка.
Леоночка ей указала на кресло: с ужимкой, желающей выразить:
— «О, преклоните почтенные ваши седины; вам этот ребяческий вид—не к лицу...»
И—под дым: на подушку.
А Ти́телев в кресло склонился, рукой захгативши колено, серебряной пряжкой и синим носком проярчев; и от столика свесилась мягко ладонь:
— «Вы ведь переезжаете к нам?»
И невидную глазу улыбку разгляда, которой она отмечала разгляд ее жестов, скорее узнал, чем увидел; портной кроит глазом натасканным:
— «Белочка—вспыхнуло в нем».
И—лукавое, польское что-то явилось в баске,—с перевизгом, как с хвостиком:
— «Видно на воздухе много бываете вы?»
— «Чистый воздух полезен!»—она объяснила.
И розовым носиком, очень задорным, потупилась, думая: от доброты этой, деланной, веяло бойким напором и стропотством; и чтобы—что-нибудь, как-нибудь:
— «Время у вас отняла?»
— «Квас не дорог: изюминка!»
— «Бросьте»—она перебила.

И—в смехе зазубила; и—отвернулась; и—в муфточку; а цвет лица,—как миндаль розоватый.
— «Здоровье профессора?»
У Леоноры—зачем опасок, а в зубах—дроботок?
— «Благодарствуйте...»
— «Ну, а Глафира?»
И стало смешно, что они друг за другом подглядывают.
В черносерое кресло светлейше вдавясь, вдруг он сиверко мелким раздробчивым смехом рассыпался.
— «Вкрадчивый»—ёкнуло—«точно подушку подкладывает; а склонись на нее,—оглоушит».
Леоночка задребезжала с подушки.
— «Не нравится ей?»—коготочком царапнулся лоб Серафимы; и взявши книжонку, глазами испуганно к Элеонорочке:
— «Ибсен?»
С Терентием Титовичем—что такое?
Как солнечный зайчик, он выскочил в голубоватое поле стены; головою—под зеркало, в зеркало бросив глаза жестяные; и тер жестковато сухие ладошки:—

—опять некрофагия: Ибсен, грызение прошлого!..

— «Что это?»
— «Сольнес...»
Он—знает, «кто» Сольнес: «Петровка»!
Леоночка видела:—

— точно рапирой стальною он ткнулся глазами из зеркала; тотчас: мигнула из зеркала ей тюбетейка зеленая — золотцем: перевернулся:—

—невинно и дружески...

— «Ну,—я пошла?»
Серафима пошла с невесомой какою-то поступью, легкой и быстрой, мехастою муфточкой носик укрывши,—к Леоночке, видясь не личиком, а меховою, ушастою шапкой.
— «Я вас провожу»—к ней Леоночка.
Ти́телев вслед бросил взгляд.
Обернулась; и—

—«ах»,—
—точно сжиг на щеке!

В двери скрылась.

За нею Леоночка, явно двояся глазами меж ним и носочками, с вниз наклоненной головкой прошла.

. . . .

Обе остолбенели в передней: подвязанный фартуком бабушки Агнии, напоминающим белый капотик, прилежно себе улыбаясь в усы, Никанор грациозно водил половою, огромною щеткой, склонив нàбок голову, напоминая седую, морщáвую и бородатую... Гретхен.

— «Вы что тут?»—Леоночка.

Он же очковыми стеклами точно трубил Серафиме о том, что его положение здесь трудноватое.

— «Собственно, я—ничего: не мое это дело: так-чч-тò!»

Фартук, сброшенный в нос.

— «Расправляйтесь-ка!»

Вылетел!

Тут Серафима задох подавила.

Мышонком—

—испуганно—

—в двери!

БЕЖКОМ ПОБЕЖАЛА

И—«ффр»: шелестнула юбчонка...

Ее захватя,—муфту вверх, пред собою, как щит,—в куралесицу быстро неслась; и развив золотой волосят в фонаре просиял; а мехастая муфта покрылась звездинками.

— «Вот он какой?»

Громкорогий позвал за забором.

Казалась в сердцах.

Представлялся «Терентием Ти́телевым», домовитым хозяином; тонкая штука; и—трудная; и—с перемудрами!

Точно в сердцах, когда сердцем кого понимала!

И бурной походкой прошла: от восторга, что все, что ни есть, раскидает навстречу.

Зачем не писала давно Николаше?

И все в ней кипело: сплошным состраданием; как ей писать, когда нечего думать о будущем.

И—рот суров; и, как рожки, морщинки; на лбу яркий блеск волосят пырснул бурей:—

—как лебеди, переливаясь в темноты, алмазно взвились из темнот завывающих; точно несется навстречу до ужаса узнанный; и —

—решено, суждено!

— «Что?»

. . . .

Представилось: дома письмо Николаши—из Тòрчина, с фронта; она разрывает его: он ей пишет, что он возвращается; и предлагает ей—

—руку и сердце?

— «А!»

. . . .

Жизнь будет трудная; жить с мужиками седыми,—втроем; без мамуси она не жила; не сумеет она!..—

—Вытаращивая свое черное око, прошел черноусый в шинели, при шпаге; и—дама;—белеет боа, как змеей; веет белыми перьями...

— «Нет!»

С Леонорою трудности—будут: она—человек раздражительный то, что сказал на ушко Никанор, ей ломает ось жизни; трагедия—будет.

За сердце схватилась.

И—беглые взгляды; и—руки; она походила на отрока быстрого, когда бежком побежала в танцующий блеск и хрустела серебряным бархатцем;—

—фрр!—

—в кружевные винты ей блиставшие в непереносное счастье и—в космосы света.—

—подняв свою муфту, как щит на руке, защищался им от предчувствия.

— «Правда и солнце!»—сказала, в снега принахмурясь.

И грозные космы всклокочились.

Дама в ротонде прошла.

И лицо,—

—как раскал—добела—интеллекта, огромного волей.

Чувств—нет!

. . . .

Ледоперые стекла, сквозь ясное облако,—пурпурны лампочки; пурпурно снежные пятна ложатся на снеге.

Он—мудрый, а все же—больной.

Кто, какой?

Николаша? Профессор? Иль...—кто же?

Профессору—нет: не понравятся стены.

Скорее бы «это»?—

—И «это»—

—скрипучие ботики: шуба; усы хрусталями; огнец,—а не нос.

Снеговые вьюны рассыпалися; ясная пляска алмазных стрекоз и серебряных листьев, ей пырснула в веко: кипела под веком.

— «Так вот он какой?»

Николаша?

Который из двух, или... трех, или...

— «Путаюсь я!»

Из глаз—жар; во рту—скорбь: от узрения всех обстоятельств; но в блеск электрический; блеск электрический: блеск золотых волосят.

А мехастая муфта,—

—направо —

—налево,—

—по воздуху!

Свертом, направо: к мамусе!

СЕРЕБРЯНАЯ ДОМНА ЛЬВОВНА

Быстрехонько, не раздеваясь, в шубчонке, в шляпенке,—под цветик, под скворушку,—в пестрый диванчик: головкой.

— «Мамуся!»

— «Что, ласанька?»

И небольшого росточку серебряная Домна Львовна зашлепала к ней.

— «Нет, мамуся,—скажите: как быть?»

Села, ручки зажав меж коленок, дыханье тая и прислушиваясь, как старушка молчала дыханьем: подтянутым ртом и очками.

Головкой ей в грудь: в платье карекофейное, с лапками белыми; и подбородком легла на головку малютки старушка, руками ее охватив; и прижала к пылавшему сердцу.

И ей Серафима отрывисто: с пылом:

— «Была фельдшерицею...»

— «Стала—сиделкой...»

— «А думала,—докторшей буду!»

Старушка вдавилась в диванчик веселых цветов; и глядели в обои: веселого цвета.

— «Дитя мое,—благословляю тебя: труден путь, да велик; обо мне и не думай; я—здесь: с Мелитишей моей; Николашу ты любишь...»

И—носом дышала; и после молчания:

— «Истина—в этом пути: он—прямей».

И проснувшийся скворчик: «чирик!»

— «Ну, а платят—солиднее: дров прикупить, вам на платье, посуду какую...»

Не думала: жизнь отдает без остатка: так все, совершенное ей, от нее отпадало, как сладкое яблоко с дерева; пользовалась не она, а—другие.

И—нет:—

—не любила она сердобольничать!

Нет же,—

— любила пылать!

И—согласием лобик разгладился:

— «Буду сиделкою!»

Тихо!

Старушка глаза опустила в пестрявенький коврик; блеснули очки очень строго; в дыханье—покой; а из глаз—золотистые слезы; и бабочка зимняя бархатцем карим порхала под лампою.

Нет!

Уверяла себя, что верна Николаше.

С мамусей прощаясь, мамусе она говорила какие-то трезвости, ластясь прищуром на все.

Домна Львовна вязала чулок.

— «То-то будут жалеть на дворе; ты—любимочка ведь у собачек, мальчишек...»

И—

—знала:—

—у «гулек!»

. . . .

— «Мелькунья!»

Старушка, качаясь, на кухню пошла, проводив Серафиму; а ложкой махала она Мелитише:

— «Да,—мал малышеныш...».

— «Любуется, барыня,—солнышком, небом, котенком».

— «И самую малость показывает»—Домна Львовна грозила ей ложкой своей—«от великого, что в ней творится!»

— «Уж,—иий...»—Мелитиша отмахивалась—«Ее знаю: слова—пятачки; рассужденья—рубли...»

— «А сердечко—червонец»—ей ложкою в лоб Домна Львовна.

— «Дарит свою милость»;—прихныкивала Мелитиша—«а-как-с? Без огляду!»

И бабочка каряя бархатцем—

—перемелькнула—

—под лампою.

. . . .

Бурею ринулась в бурю.

В глазах—совершенство; во рту—милость миру; и белые вей на щечке огонь раздували; на муфте—звездинки.

Звездинка лизнула под носиком.

Снежные гущи посыпали пуще; и—нет—не видать; лишь блеснули и сгинули искры из искр—не глаза!

Да серебряной лютней морочила пырснь.

САЛАМАНДРОВЫЙ БАРС

Выключатели щелкали; планиметрические коридоры бледнели; и блеск электрических лампочек злился.

Профессор—

—седатый, усатый, бровастый,
брадастый,—

—бродил коридорами.

Ждал Серафиму, вздираясь усами на блеск электрических лампочек.

Плечи прижались к ушам: одно выше другого; с лопаткою сросся большой головой; с поясницей—ногами; качался лопатками вместе с качанием лба; серебрел бородою; оглаживал бороду, с черных морщин отрясая блиставшие мысли.

А издали виделась комната: склянки, пробирки, анализы, записки; там—Плечепляткин; студент.

И оттуда дежурная фартучком белым мигнула; и—скрылась.

Туда оттопатывал.

Точно давно не имея пристанища, странствовал он, разлетаясь халатом, с которого оранжеватые, белые и терракотовокарие пятна на кубовом и голубом разбросались.

Он думал о том, что открылось ему, как другому, и что, как другому, себе самому пересказывал; глаз разгорался, как дальний костер из-за дыма.

А там—

—из палаты в палату,—

—став в пары, халаты прошли, предводимые Тер-Препопанцем, врачом, ординатором, дядькою, профиль Тиглавата-Палассера долу клонившим.

И—кто-то оттуда шептал; и—показывал:

— «Он—стоголовою, брат, головою мозгует».

— «Губою губернии пишет!»

. . . .

Он помнил, пропятяся носом,—что именно?

— «Каппу, звезду?»—нос, как муха, выюркивал.

— «Математическую,—чорт,—механику?»

Нос уронил в земной пуп: вырастает из центра на точке поверхности!

— «Сколько же было открытий?»

— «Одно?»

— «Или—два?»

Он с отшибленной памятью, паветром схваченный, жил.

— «Или ж»—нос закатил он в зенит—«наша память не оттиск сознания, а—результат, познавательный-с!»

Нос говорил, как конец с бесконечностью, жары выпыхивая.

В бесконечности планиметрических стен саламандрою пестрой на фоне каемочки синей выблещивал.

Вдруг:

— «Поздравляю вас!»

Кто?

Пертопаткин.

— «А что?»

— «Уезжаете?»
— «Это еще—в корне взять...»
— «Ах, оставьте пожалуйста: следует, знаете ли, павианам иным показать, извините пожалуйста, нечто под нос; и вы—мужественно показали; от всех—вам спасибо!»
Кондратий Петрович вспотевшими пальцами руку горячую тискал; но кто-то взорал в отдалении:
— «Не скальпируйте меня!»
— «Полюбуйтесь же, что происходит под игом тирана!»
И—нет Пертопаткина: блеск электрических лампочек: шаг—громко щелкает.

. . . .

Помнишь не то, что случалось, а то, что—случилось бы; носом, как цветик невидимый, нюхал.
Ресницы прищурил на блеск электрической лампочки; луч золотой, встав в ресницы его, распустил ясный хвост, как павлин; глаз открыл; и—павлин улетел из ресниц.
— «Дело ясное»—он показал себе точечку в воздухе—«память то, чего не было».
Целился носом на точечку.
— «Воспоминание-с воспламененное в совесть сознания,—повесть!»
И точечку взял двумя пальцами; точно пылинку, разглядывал.
— «В корне взять: вспомнить—во всем измениться, чтоб косную память утратить!»
И точечку бросил, закинувши нос; точки—не было: перекрещение воображаемых линий она!
На скрещении двух коридоров стоял с разрезалкою, точно с зажженною свечкой, плеснувши полой, на которой малиновые, темнокарие, синие и терракотовые перетеры, серея износом, всплеснулись, когда перед воображаемой точкою, ставшей профессором, в точке, такой же, всплеснув желтосерым халатом, Хампауэр Иван, с костылей своих свесился:
— Очень жалею я вас, потому что меня»—и тут руку с гнилою картошкой, которую грыз, с костыля, в потолок—«вы лишаетесь!»
Желтую спину подставил; вскомчил седину; костыли гулко тукали за поворотом.
Профессор же носом, которым кончалось лицо, покачал с сожаленьем; добрело лицо, утопающее в бороде, успокоенно доброй, серебряной, мягко спадающей в кубовые, в желтокрасные пятна; казался седой саламандрою; крупный, стенающий воздухом, нос защищался усами.
И вдруг, точно барсы, усы полетели прыжками, почуя добычу.
— «Открытие»—вспыхнули щеки огнем, отчего борода побледневшая бросилась в бледную зелень.
— «Открытие—сделано»—барсы, усы, залетали.
— «Открытие—
—«сделано»—
—«мной!»
— «Не одно-с»,—убеждал он себя же скачками своей бороды—«два открытия сделаны мной: Серафима открылась! И—«Каппа», звезда!»
И пошел, торопясь коридором, искать Серафиму—в открытую дверь своей комнаты; из глубины коридора затыкались в пеструю спину—два пальца; слова раздавались о том, что губою губернии пишет, и что—стоголовой башкою мозгует.
Мелькнули халаты пяти ассистентов: за пузом Пэпэша.

КАК МОРДА РАЗБИТОГО СФИНКСА

Вошел.
И увидел—предметы стояли сплошной перебранкою: стол проливался потоками слез, а не скатертью; кресло закорчило рожу; мурмолка сидела под столиком красною жабой. Профессор боялся восстанья предметов и стен, из которых застенный сумбур нападал; Серафима ему укрощала предметы; казалось: вокруг нее воздух зыбеет улыбками; а без нее стол слезился; и кресло гримасничало.
Серафима—открытие, вышедшее из удара оглоблей, над ним разразившегося, потому что события жизни, которые бьют, как оглоблею,—благодеяния.
И—залетал разлезалкою: жало вонзил в свое прошлое,—в то, от которого он выздоравливает.
Залетал его нос за концом разрезалки:
— «Да-с, жало вонзил!»
Руку он уронил, распрямился; и—замер:
— «Припомнить,—опомниться, вырваться: с корнем исторгнуть!»
И—руку вознес: как бы с пальмовой ветвью торжественный

ход вытопатывал:

— «Память—восторги живого ума».

Его лоб нарастал, точно снежная шапка; в сплошных мускулистых морщинах ходили огромные, лобные кости, волнуя седины свои; имел вид, как в венке из ковыли.

Тут—свечку увидел; и—вспыхом жегнуло; морщины, скрестясь, как мечи, поднялись; и повисли—угрозою: он пепелил свое прошлое, точно зажженной свечою, бумагу; наткнулся на свечку; поправил заплату квадратную.

Сел, положив на груди свои руки; покрыл бородою; и—замер; как умер,—от дум:—

—если только—

—не ткнули зажженной свечою его, как во сне, им увиденном?

Страшным отсверком выблеснули сквозь усы его зубы.

Видел во сне:—

—из дыр вылезал на него очень тощий, кровавый, седой мексиканец, весь в перьях, с козлиною, узко пропяченною бородой, над которой всосалися щеки; и пламенником, размахнувшись в жестокое время—огонь всадил: в глаз!

И—взвизжал.

И—все сделалось красным затопом, расплавившим землю.

— «Слепцы—прозревают, а зрячие—слепнут»—взблеснулся он глазом.

Так «Каппа», звезда,—

—опускалась кометой в глаза!

Ослепительный глаз, ослепляющий глаз, но слепой, вобрав блески, ушел за пределы миров, как комета, взорвавшая орбиту солнца, свернувшая с оси систему вселенной и ставшая даже не точкой, а—местом ее в черной бездне.

Чернела заплата, как глаз, ставший углем, который, в алмаз переплавленный—

—чиркнул:—

—по жизни!

И жизнь, как стекло, перерезалась: на̀двое!

Да, эфиопское что-то в лице; голова, точно морда разбитого сфинкса; щека—расколупина; нось—глядит дырами.

Встал,—заходил: в повороте выбрасывал руку—направо и вверх, как весло, и потом опускал, как весло, глубоко, как веслом, ей

загребывая свое прошлое; и на загребе, с подскоком, повертываяся—на прошлое.

Жил прозябанием—в мороке серозеленых обой; вырывался в поля; старый, серозеленый туман,—как обои,—в полях настигал.

Не улыбка, а отсвет улыбки явился в лице, потому что припомнилось, как—

—в котелке, в черноватой крылатке, под желтою тучей бежит он из серозеленого поля; а кто-то, седой, догоняет: в зеленом, прокрапленном желчью,—его—

—как себя!

Страшным отсверком выблеснули сквозь усы его зубы; и—выблеснуло стародавнее,—то, чего не было в жизни!

Открытие—дома,—в бумагах, рассунутых в томики! Надо спешить в Табачихинский! Надо—скорей, поскорей,—в них изрыться!

И—к двери: в дверях—

—Серафима!

. . . .

Они как бы замерли, не замечая друг друга; и вдруг—бородою, как облаком, он к ней навстречу вскочил за рукою летевшей, расширясь полою, как пестрым павлиньим хвостом.

И—ударил серебряным громом ей в уши:

— Я—сделал открытие!»—

— «Вы?»

— «И—забыл!»

Бородою—вразле́т; тормошами—враздра̀н.

— «Скажите мне,—где оно?»

Ноги и руки разъехались; стал буквой «ха»; глаз—с лицо; а лицо расширялось в исполненную выражения, провопиявшую плоть:

— «У кого?»

. . . .

В двери пузом вдавился Пэпэш, передрагивая, точно лошадь, сгоняющая оводов, красной кожею:

— «Тише, пожалуйста: здесь—не кофейня-с!»

Тогда, отступая, две руки на груди в кулаки зажимая и выбросив голову, мрачной Эриннией, точно щипцами затиснула вдруг Серафима в морщинах тяжелого лобика взгляды Пэпэша.

И—лобиком в бод!

Два шажечка, с притопом, как в танце,—на согнутых твердо коленях; в позицию встав, помотала головкою;—

и

—Николай Ни-

колаевич прочь ушлепал.





ГЛАВА ШЕСТАЯ:

«ПЫРСНЬ»

ЦИТАТЫ

— «Па-па́» — Никанора за руку схватил, изловчившися, Ти́-
телев.

— Стой-ка—попались: идемте-ка!»

И—в кабинетик: «топ-топ»!

Никанор же, на пуговицы застегнув пиджачок, переюркивал.
Тителев стал над столом; руки—фертиком: вметился в мысли
какие-то; бросивши их, стал хвататься за дикие пятнами папки;
одну он рванул; шлепнул в сизое поле стола, развернул: и—посы-
пались вырезки.

Все это—хватом.
газет»;—он показывал—«о ва-
— «Вырезки из иностранных
рыбу»—он зубы показывал.
шем брате; открытие: видно, унюхали
что ж,—Яков кивает на Яко-
— «Это строчат: для французов;
дело плевое».
ва... Вот—«Тагеблàтт»...[1] На досуге,—потом:

---

[1] Газета.

— «Вот «Фигаро»[1]; прочитайте«—ткнул пальцем... «Да что вы тут все топошите... Оставьте трепак!»

И пошел синусоиды строить ногами, вышлепывая в темносиние кайма,—вперед головой.

Никанор же—прочтет, ужаснется; и—вскочит; и—сядет.

— «Прочли? Ну,—«антанта» старается дело поставить иначе: открытия—нет: почему?»

Замигал Никанор.

— «Трепетица не дошлая,—вникните! Да потому, что—рассчет на открытие; значит,—прицелились: шуба была бы, вши—будут!.. А прежде писали, что—есть».

Никанору казалось: в мозгу вырезает,—простым сочетанием вырезок.

— «Версия третья»—и новая пачечка.

— «Ну-те?»

Глазами блеснул; и, закинувшись под потолок, похохатывал. Лунные пятна за окнами тускли; кисейно летали снега; голосили, бренчали, качались, курились, клочились.

— «Прочли?.. Эге!.. Выскочил, как чорт из ада, кинталец Цецерко-Пукиерко, парень-ловчак; он открытие выжал из брата—рабочему классу, ведомому в бой Гинденбургом; и это-с, конечно-с, немецкие денежки-с!.. Вот до чего англичане додумались: Энгельс и Маркс полстолетием ранее, выдуманные немецкой армейщиной, для Гинденбурга рождали Либкнехта!.. Да вы трегубительно так не смотрите... Вы—вникните: и ароматы ж!»

Взусатился:

— «Американцы при помощи Англии хапкают... Мало: им все—недохàп... Ну-те,—прежде писали о воре, Мандро».

Топотец Леоноры вдали.

— «О том самом, который... Я вам говорил...»

Никанор, перестегивая пиджачок, стал узехоньким; а топотец приближался.

— «Теперь нет Мандро; англичане не верят-де; вор-то—Цецерко...»

Скрипение цыпочек остановилось у двери.

— «Французы ж молчат на иных основаньях: нащупали; нет-де Пукиерки: две орьентации!»

Выскочил из-за стола; ухо выставил: он—многоухий!

Леоночка, с тихой опаской глядевшая в двери,—вошла.

[1] Французская газета.

— «Брось, Леоночка,—брось: не мешай... Негораздо!»

Снял руку с плеча; взгляд сказал:

— «Коли ложь,—лги во всю».

И она их оставила: он ей казался опасен: во всякое время; и он ей казался сугубо опасен теперь; а спасителен был в роковые минуты.

И вспомнила первый его на нее рассверкавшийся взгляд; с этим взглядом в «Эстетике» встал перед ней: взгляд опасный!

. . . .

Конвертец, ей сунутый (от Тигроватки), достала; опять перечла содержание: «Не поминай меня лихом, Лизаша. Я все же—отец».

И прочтя, с горьким плачем записку она растерзала.

. . . .

Луна рвала, тучи, как фосфором; в голубоватых сутробах—какие-то тени; оранжевый вспых бросил луч; и его перерезала тень; фонаришка маячил далекою звездочкой: знать у заборика.

В ПЕНЗЕ-ТО...

Тѝтелев выпохнул новую пачечку дыма:

— «В российских газетах».

Прислушался к шуму под окнами.

— «Что я сказал? Да; об этом о всем—ни гу-гý, потому что ваш брат—русский подданный; стало быть: дело полиции, дело разведки».

Под окнами—топоты, шурки:

— «Ведите...»

— «Валите...»

— «Идем?»

И наставилось ухо: на окна.

— «Нас держат в прицеле; у них данных нет... Вы оставьте трепак: мы кровавников этих повесим...»

Как стулом придвинулся, как две руки положил пред собою на стол, как сцепившися пальцами, палец о палец зертел, была силища.

И Никанору мерещилось: стул, на котором сидел—точно выдернут.

— «Правда—из силы растет; оправдание есть волевое начало; оправдывать: взять, да и сделать; немецкое слово «беграйфен»,

что значит «усвоить», в первичном значении—«схватывать»; ну-те: собака хватает говядину!»

В окнах сквозной, застонав, пал в заборики.

Падала—

—ко̀ндовая, неживая Россия.

«Синица» Терентия Титовича Никанора сражала без промаха.

Но, чтобы вид показать?

Воротник—торчея; нос—торчок; грудь—колесиком: гордость, величие, пренебрежение!

Дергал словами, как блошками.

— «Чч-то̀-с? Мировое значение»—плечи взлетели—«Терентия Ти́телева — эдак-та́к, эдак-та́к, по «Лаврову» — не так-то уж каменно!»

Ти́телев встал, подняв трубочку в за̀мути зеркала, чтоб увидеть лопату своей бороды; и увидел растреск потолка.

В кресло сел:

— «Ну-те, что-то вы галиматейное подняли?»

Будто страдал ломотой всех суставов.

Разглядывал, как замурованный, ногу дерущий штиблет Никанор, положив на колено, метал в нос его:

— «Я и сам был народником: резал лягушек... И в Пензе...»

— «Да,—слышал: что и Пензе-то... в Пензе...»

— «Дубинушку пел,—так-чч-то: Маркс—про одно; «мы» с Иванчиным-Писаревым—про другое,—так что̀!»

— «Взвз»—

—сугробы разматывались, как клубки у забора; и снова наматывались, как клубки: у забора.

И Ти́телев в бразилианскую бороду глаз уронил: и забрысил ресницами, точно слепой.

— «Неотвязчив, как гвоздь в сапоге!»

И в сукно сизосерое аолотецм он тюбетейки на серые руки упал: не лицо,—тюбетейка глядела в лицо Никанора, как масочка.

А Никанор—наседал: кто же лучше-то? «Ти́телев» с Марксом «Коробкин» с Лавровым?

— «Я думаю,—чч-то̀: оба лучше!»

И так посмотрел из-за стекол очковых, как будто открытие это Америки испепеляло: чорт с ведьмой! А разве его, Никанорова жизнь не есть форменная революция быта—так что? Задопятова, брата, Ивана,—обфыркал; Ермолову у Стороженок (лет двадцать назад) едкой критикой встретил? Он, он «им» покажет!

Не Ти́телеву—тюбетейке, лежавшей на серых руках: видно, Ти́телев спал; тюбетейка слетела: глядела открытая лысинка и закрывала под черепом—лабораторию взрывов.

Решил Никанор очень твердо, что после открытия люка, в который проваливаются «они» и в который Иван, брат, еще, чего доброго свалится,—так—чч-то̀: противиться будет тому, чтобы брат—переехал.

А кто-то в окошко царапался: там—тень тулупа.

Терентий же Ти́телев—значит не спал,—вдруг квадратной спиною взлетел, вырезаясь из синего кресла, как серенький зайчик; глазами, как шилом хватил:

— «Сила—сила!»

Защелкало: свистнуло; с дворика на перламутровоснежном коне пролетел в переулок невидимый воздух.

И—резкий звонок.

И—ввалились рабочие с грохотом, с кашлем: в переднюю; Ти́телев мячиком—к ним, разлетаясь рукою, прощелкавшей в мраке передней:

— «Здорово, товарищ Жерозов, здорово Трещец: ну,—и как? Боевая дружина?»

— «Как видно»—басило.

— «Запомните: синяя тряпка—валите; а желтая тряпка—ни-ни!»

— «Есть»—басило.

— «Товарищ Торборзов?»

— «На улице: у ледника стражу держит».

— «Так вы позовите...»

Ушли.

ХИМИЯКЛИЧ

— «Ребята славнецкие: с ними легко; дай упор,—мы вселенную с оси свернем»—дроботнули два пальца.

— «Упор этот дан!»

Припечатал к столу кулаком:

— «Мировою войной... Погодите, что будет; что есть уже!»

Бросило в дрожь пред безумием этого лысенького господинчика; и Никанор посмотрел на него, будто полинезиец трепещущий на фетиша; так бы вот и орнуть на него:

— «Куда? Стойте! Себя, свою партию, класс, да и нас—Серафиму Сергеевну, брата, Ивана,—свергаете в бездну!»

А тот лишь стальными глазами блеснул:

— «Независимого положения—нет: быть не может; эге: либо с нами,—вполне-с; либо—против: с мерзавцами; там—диктатура; и здесь—диктатура».

Влёр руки в карманы; и сдвигом морщины решение брата, Ивана, оставить в лечебнице—стер в порошок.

— «Будет поздно!»

Запырскало: снежный, сквозной, извизжался отряд кавалерии, снегом пропырснувшей на переулочек.

— «Я—подставное лицо»;—подбирал свои вырезки Ти́телев в дикую пятнами папку—«сигайте с Иванчиным-Писаревым, точно с торбою расписанной—по деревням: лыком шить по парче... Только...»—

—пальцем настукивал—

—«Брат с поручителем встретится»—палец он выбросил в пол—«у меня-с!»

И—товарищ Торборзов вошел; сталь—не мускулы; серый гранит—не лицо; Никанор его сразу узнал: тот рабочий, который на дворике Психопержицкой прислушивался, как ругали их; значит—подосланный...—«нашими» чуть не сказал он себе!

— «Коли ночью сегодня, товарищ Торборзов»—оскалился Ти́телев—«что, то—ракетою дерну вам: с крыши... Валите тогда через Психопержицкую: в сло̀мины; сталелитейщикам роздано?»

— «Роздано: в двадцать минут душ пятнадцать при бомбах слетится...»

— «Не думаю, чтобы сегодня, а все же: чуть что,—так? Торборзов,—как не́-было.

Ти́телев, локти расставив, схватясь за подмышки, откинулся, переблеснул тюбетейкой; и, выставив красный жилетец, зевнул в дикосизые стены, оглядывая Никанора, решавшего смутный вопрос, все недели тревоживший:

— «Кто ж поручитель? Цецерко-Пукиерко?... В сущности,—новый полон?»

Над окурком тираннничал: рвал и разбрасывал. Ти́телев, пряча портфели, портфель показал:

— «Тут бумажки, которые ну-те, щипали из томиков вы в Табачихинском... Целы... Коллекция... Вам—не отдам; брату ценный подарок,—не вам».

В каждой хватке—орудие, в поте лица передуманное.

— «Ну, а я»—Никанор; и—пошел.

Ему Ти́телев—вслед:

— «Вы—окурки, окурки-то: вы их берегите-ка: торжище...»—он показал на рассор.—«Да вам, может, монет?»

Никанор, разъерошенный,—вза̀верть:

— «Как видите: сыт я по горло; обут и одет»—руку сунув в жилетный карман, перебренчивал, точно полтинниками, пятаками своими.

— «И то: у меня куры тут»—перебренчивал он—«не клюют...»

В коридор.

— «Ну,—как знаете!»

Ти́телев точно ломотой суставов страдал: простонал, потому что сквозь вой снеговой он расслышал, как—в стены бросается белое поле, дверями шарахая, точно оттяпывая толстой пяткою; вот «он» войдет, колыхаяся зобом—сереброволосый, под бременем болей заохавший.

«Он»—

—Химияклич—

—старик!

И сжимая в грудях кулаки, он попросит опять, как просил уже (громким, грудным человеческим голосом), чтобы открытие взять от профессора,—ясным профессору сделавши: долг его силу открытия делу рабочего класса отдать; это дело Терентию Ти́телев, убегая в Лозанну, «старик», как ребенка, в колени сложил.

Если бы только «старик» догадался,—открытие уже в руках!

Почему утаил перед партией?

Интеллигент с сантиментами—

—Терентий Ти́телев!

Если старик догадается?

И—из бессмыслиц, качающих все, что ни есть под окном, чтобы все, что ни есть, разорвать,—человеческий голос:

— «И «ты»—меня бросил?»

— «И «ты»—отступился, товарищ, друг, брат!»

Если он, даже он зашатался, так—что же Леоночка!

«Бац»—крыша—

—«бац!»

И ЛЕОНОЧКА

В двери—Леоночка!

Видела профиль его удлиненный и волчий: прижатые к узкому

черепу уши; и нежною жалостью все передернулось в ней: он—овца в волчьей шкуре, которая травит... волков!

И, подкравшись, погладила:

— «Брось ты,—Лизаша!»

Но—знала: «овца» разнесет все препоны; ее разнесет, коли что!

— «Ты бы лучше постукала мне!»

Узкогрудой дурнушкою, бровки сомкнув, села; целилась в текст; дрезготнул «Ундервуд»; перещелкивали, как зубными коронками, клавиши; буквы плясали в присядку.

И вдруг перестала: не слышался щелк.

Как вода рвет плотину и сносит стога с берегов, так неслась она в прошлое; под неосыпные свисты; там пырснью отсвистнулся Козиев Третий, как занавес сорванный, из-под которого старая драма,—в который раз—пусто разыгрывалась; перед ней—промелькнули—

—Анкашин Иван,

—Кавалевер,

—Мадам Эвихкайтен!

Терентий же Титович, лежа на старом диване, наскакивал лбом—не глазами, закрытыми книгой, которую, лежа, проглядывал он: он ей—«м у ж».

Приподнялся на локте с дивана потертого:

— «Что ж ты не пишешь?»

Да как ей писать?

«Он»,«о т е ц»—невидимкою!

Мрак, одев фрак, из угла выступает двумя черносиними баками, а не заостренным бронзовым черчем теперешней, перекисеводородной своей бороды, но все с тем же цилиндром; его громкий голос,—родной,—как густой фисгармониум.

Он в ней живет темпераментом негрским: она ж—негритянка!

— «Опять все напутала?»

И над машинкою,—клок бороды, желтой, шерсткой: не бронзовой!

— «Нет, я уж сам!»

НЕГРИТЯНСКИЕ ПОЛЧИЩА

Двери остались открытыми; видела: Терентий Титович в тускленьком свете стоял—руки в боки, вперясь бородою в колпак «Ундервуда»; снял, сел; чистил клавиатуру; нацелился в текст; двумя пальцами задроботал.

Завернулась она от него занавесочкой черной; сугробы острились серебряно в голубоватом растворе; и—думалось: неописуемый ужас прошелся меж ней и отцом—вот уж два с половиною года.

Из ротика—быстрый дымок; окно желтое из кабинета стреляло квадратами света; и крест проморчил в снега за окном; но в кресте теневом—вдруг очком встарантил... Никанор: точно сыщик!

Язык показала в окно; и—упала на черное кресло, чтоб желтым ужасным пятном вырезаться с него:

— «Знать преступник: отец,—до рожденья!

Упала: но пав, раскосматясь, вскочила; и—бегала в желтом халатике с крапами, в воздух стреляя дымками.

В открытых дверях кабинетика лихо могучие плечи упорились, жестко усы подымались; трещал «ундервуд»:—

—тах-тах-ах!

Пусть «о т е ц», изживающий высшие чувства свои детородными органами,—каторжанин! Пусть он гримасирует рожей, надетой на духе мятущемся,—пусть! И на ней—его маска: распухшие губы!

Преступны и он, и она—до рождения,—в мире, преступном еще—до творения!

. . . .

Агния, злая, беззубая, сунулась в дверь перевязанным ртом:

— «Самоварчик-то—вздуть?»

— «Как вот это морщавое тело, душа у меня!»

Верещало: за окнами.

И полосатою шапочкой цвета протертых каштанов и желтым капотом в подушку зеленую коврика карего с креслица черного грохнулась.

Из-за окна бирюзовый прорыв, скалясь желтою тенью и черною тенью,—сквозь серые, бледные, бирюзоватые и серебристые прорвины фосфорами улепетывал, силяся с оси сорваться, как лошадь с оглоблей.

И вдруг:—

—как рукой теневой, по головке погладило облако черное—

—скрылась луна.

Ей казалось, что это погладила черная тень деревянного негра,—того, под которым валялась на шкуре малайского тигра она. Ночь смыкала свои негритянские полчища.

БРАТЕЦ, СЫН?

Черненький котик, с подушки ей руку царапал:

— «Брысь, брысь!»

И ногой оттолкнув Владиславика, стрелками глазок нацелилась, припоминая тот самый (увидела перед «тем самым») свой сон,—

—как явился чернявый мальчишка во сне; он с кривою улыбкою (и Владиславик, когда остаются вдвоем, улыбается так)—ей протягивал ножик: «Ножом ты его». Показалось: «Ножом ты—отца»; оказалось: «Ножом ты—меня!»

Еще вспомнилось: видели ж лужицу крови пред дверью отцовской квартиры; и видели, как незадолго до этого сел черномазый мальчишка пред дверью.

Расслышалось, как, прилетевши к окну, Вулеву с Мердицевичем, с Викторчиком, с Эвихкайтен,—

—«Ссс... Слушшайте!»
—«Ссс... ссс... ужжассно!»
—«Сс... С ней!»
—«Ссс—ссс!»

Снег!

Так во сне приходил до рождения к ней Владиславик с ножом, чтоб... его она... этим ножом, если он в ней посмеет зачаться; им в ней преступленье оформилось; так из нее он вломился насильно из бреда крове́й—в эти комнаты; он не рожденец, а—взломщик; и ей с ним конфузно вдвоем: может,—вырастет серебророгий такой же; и—

—кто же он ей?—

—Сын... по матери!
—Брат... по отцу!

Уронив подбородок на пальчики, с ненавистью на мальчишку глядела, своим животом растирая ковер и бодаясь ногами, расставленными, точно кошка, которая кинется—вот: расцарапать мышонка!

А он, точно старец, с карачек косился, ее урезонивая:

— «Успокойтесь, пожалуйста: вы,—как вас звать-то,—мамаша, сестрица?»

И—в двери сигнул Никанор.

— «Леонора Леоновна,—так чтò!.. Я вижу... Я... я... Вы—меня... Происходит недоразумение: я—объясниться пришел».

Но увидев, что—кинется, прыг от нее, защищаясь ладонями и закрывая собой Владиславика:

— «Нет, нет... Не буду... Я, собственно, даже совсем не о «том...»

Вдруг:

— «Отдайте мне—эдак-так»—и к Владиславику—«ши́шика»: я ведь могу его взять к себе; вам все же—некогда; и—эдак-так—и наставник; так-чтò: на бульвар поведу; и—там всякое... Я...»

А она с живота,—к финтифлюшкам, калачиком ноги, спиной к Никанору:

— «Вы... вы... вы ведете себя, как мой враг; и вы—враг-враг-вра̀г!»

Затрепетал подбородком и штаниками:

— «Леонора Леоновна,—я ли ваш враг?»

А фальцет «Ундервуда», который надзекивал громко, всхрапнув, оборвался; и—клин бороды над ним выставился.

— «Вы с добры́днями вашими вертитесь между ногами: мешаете мне добродетелями, дон-кихотствами!..»

— «Вы что же выдумали?» — с перефырками он—«Доброделен?.. Я?!?»

Быстрым корпусом бросился к ней—на аршин:

— «Я же... Я непорядочность сделал—такую, что вам и не снилось!»

Гримасу состроивши, подал—ладонью: с бородки—под носик:

— «Терпеть не могу добродетели»—взвизгнул, как будто, накрыв ее в добром поступке, летел, размахнувшись, на дверь, чтоб... прирезать за дверью кого-нибудь.

Уже за дверью свирепо он выбросил в сумерок:

— «Делай добро, брат,—не бойся!»

И воздух резнул этот всхлип; и простроились светами стены; прорыв бирюзовый явился из туч.

Черным ходом,—к себе, бормоча.

Бормотал пусто воздух.

РАСТАПТЫВАЛ ЖИЗНЬ

И она, как во сне, подборматывала.

Разрезальный свой ножик схватив,—скок-скок-скок: от подушечки, на Владиславика, как лягушонок: на корточках!

С визгом икливеньким—ну Владиславика, воздух зубами покусывая,—перекатывать и перешлепывать; и—закаталась с ним вместе.

— «Давай...»

— «А?»

— «Не хочешь?»

Он—в рёвы.

Рукою с ножом захватясь за юбчонку, как в танце, ее распустив, приподняв до колен, а другою скруглив над беретиком,—тонкими, худенькими, как у цапли, ногами, скруглив их, острея носочками туфель с помпонами—

—вокруг мальчонка—

– галопиком:
дохленьким!

Ти́телев—в дверь!

Он затылок в загривок затиснул, а бразилианскую бороду выбросил под потолок; как корсетом затянутый,—вышел.

А руки—по швам: на нее!

Отлетела: затылочком—в стену, а ручку, которая с ножиком,—за спину; глазки задергались; и забагрилось т о с а м о е пятнышко: вспыхом скулы!

— «Ты—чего?»

— «Я играла с ребенком!»

К ней, выкинув ногу,—ей в нос: бородою; а руки свои—в кулаки, зажимаемые на груди.

Продрожал,—не сказал:

— «Так нельзя!»

Она—руки к лицу; и—захныкала в угол: как будто в том месте, где шлепают маленьких,—шлепнули.

Он, подхвативши, младенца понес в кабинетик.

. . . .

И слышались топоты:—

—Терентий Ти́телев с хмурым лицом
в пляс пустился, стараясь растопать
младенческий плач; но он будто затаптывал жизнь.

И—растаптывал ветер железную крышу.

И ВЬЮТСЯ, И ВЬЮТСЯ...

Четвертый уж день, как визгливые нежити, руки взвивая из улиц, безглаво неслись; и, как нежити, призраки серых прохожих: морочили.

Там, где над тумбою заколовертило, синий околыш с бородкой, тороченной снегом,—по грудь отмелькал; николаевку ветер трепал напрохват; перебором трезвонили шпоры; и тяпнула, лед оцарапавши, сабля.

И голос,—простуженный, лающий,—тяпнул.

— «На мерзости мерзости едут!»

Околышем красным проткнулось другое лицо:

— «Успокойтесь!»

— «Я—с кем? С негодяем, которого бьют? Или я—с негодяем, который бьет? Все перепуталось!»

Кипнем кипит, дрожит, дышит, визжит, извивается; и—угочяется; выскочил карий карниз, от которого ломкий хрусталь ледорогих сосулек повесился с низкого и черносерого неба, где галка летела: к трубе.

Пшевжепанский под треск снеголома бежал; вон рукав, раздуваемый в ветер крылом от шинели, которую в бурю с плеча развернул Сослепецкий, худой, точно шест.

— «Что,—сюрпризами встретила Ставка?»—дразнился пан Ян—
Дураков генералы ломают?»

— «Сумели запутать: и—тут! Знать, не знают, что, собственно, есть Домардэн...»

— «А вы знаете?»

— «Я?»

И тут город, как в облаке всплыл.

Пшевжепанский руками разъехался—в бурю:

— «Допустим же, что Домардэн есть г е р м а н с к и й шпион».

— «Коли так?»

— Он—судим».

Сослепецкий ускорил свой шаг:

— «Оказался же—американским шпионом».

— «И это вам все перепутывает?»

Ветер сваливал.

— «Все же уверенность—есть».

— «Вопрос совести: недоказуемый...»

Молодцеватый квартальный, хрустя, канул в дым.

— «Мерзость—в чем»:—Сослепецкий в метель руку бросил, отдернув меха на плечо и царапаясь саблей о лед—«они думают, что похищенье открытия Соединенными штатами вовсе не кража, а...»

Черная кошка,—у ног, хвост задрав.

— «А услуга России?»

— «Откуда вы?»

— «Ну, Сухомлинов,—судим, или нет?»

— «Он—судим!»

— «Коли так, то и кража бумаг у него есть услуга—Антанты Антанте».

И выскочила крыша синего домика.

— «Лгут же—все, все...»—сипел носом в меха Сослепецкий—«Мандро—Домардэн: установлено, что выжег глаз, изнасиловал дочь, крал бумаги...—они сомневались!»

— «Состав преступления в воздухе!»

Где-то ворона откаркала из руконогов, друг в друге ныряющих:

— «Ясно».

— «А в руки взять—нечего, как вот... метель; крутит, вертит, а—воздух пустой».

Дверь шарахалась: стены ампирные белую каску показывали.

— «Протопопов, царица, Распутин, Хвостов, Домардэны!»—плясал под шинельным крылом, как в навозе воробушек, пан капитан.

— «Тоже птица: ломает Савелья с похмелья»—проржало.

— «С ним синий холера прошел».

Над забором вскочила папаха седявая:

— «Кинуться сзади, да шашки из ножен; да—раз: людорезы они!»

— «Разом двух истребителей пустим на дно»—гоготало.

И кто-то орал из-за снега:

— «Дома, братец,—в слом: до костей; с кости мясо-то слаще: режь, ешь!»

. . . .

Сослепецкий, шинель распахнувши, по воздуху лайковым, белым своим кулаком саданул:

— «Миллион чертей в рожу!»

Взмахнув рукавами, крылами, мехами, шинель подскочила с плечей, как медведь, собиравшийся лапить; и рухнула, в снег:

— «Истребить!»

Пшевжепанский набросил шинель, как ротонду на дамские плечи.

— «Тсс!»

Бросились.

— «Стой, миляк,—стой»—проститутка за ними малиновоперая.

Нет—никого!

. . . .

— «Они метят в Цецерку-Пукиерку: этот—фанатик, с идеями... Нет,—я из принципа действовать буду, скрывая его псевдоним».

— «И не стоит Цецерку ловить».

— «Хуже: метят в профессора!»

— «А Домардэна, по-моему, просто отправить!»

— «Позвольте»,—два лаковых пальца снега рубанули—«в Мельбури Домардэн не поедет: мы в Ставку притащим его,—в запакованном ящике: да-с!»

Сослепецкий неистовствовал.

— «Вы хотите дичину напырить на вертел? Не стоит... А знаете что? Ровоам Абрагам—здесь, в Москве, в таком именно смысле хлопочет: но только: он—за Домардэна; он хочет напырить на вертел профессора вместе с Цецеркой-Пукиеркой».

— «Гадины!»

И Сослепецкий взлетел кулаками в метель из шинели распахнутой.

Место, где шли они,—стало: танцующий снег: вон-вон—синие линии—

—вьются и крутятся!

ТОЧНО ИЗ ПАРА МОЛОЧНОГО

Каменным шлемом является белая статуя; дикая дева, над башенным выступом в небе.

Сиреневый колер сквозит; и сиреневый выступ балкона, подпертый колонной, как вздох, вылетает из роя снежинок—

—и—

—столбик снежинок над фризом винтит.

Выше, в выси—зачесы, как в облаке, пырскают блеском на гривистом гребне.

И—резко рога верещат.

Как из пара молочного,—
призраки дальних.
квадратов—
—и белых, и желтых, и
кремовых—
— в слезы ударились окнами!

Кубовый куб бременеет; и—крест колокольни, сквозной, вырезной—бриллиантами—
—плачет: из воздуха.

Выше,—
—из воздуха,—
—круглые и розоватые башенки, синезеленая рябь черепицы и нежные вырезы ясных домовых квадратов; и—перст колокольни худой, как наперстницей, блещет; морковного цвета дворец; полуэллипсис красный Суда; и—корона на нем, как на блюде серебряном.

В небе стоит это все!

Прямо, рядом: на розовом выступе—стая, как сахарных, белых колонн; и—воздушная арка ворот бледнорозовых,—в веющем,—в белом!

И—львиные лапы; и—львиные морды...

Подъезд, где какая-то дамочка в серой ротонде звонится; и кто-то над нею глядит из окошка—
—в серебряной блесни
мороза—
—на мельк мимолетных саней; и — на мельк мимолетных прохожих.

Отчетливо, тихо и ясно.

То—миг!

СЕРЕБРЕ́И, ВЬЮНКИ

Серебрѐи зареяли: засеребре́или; заверещали из скважин забора...

И—
—арка ворот бледнорозовых смыта метельною лилией, в воздухе взвеянной.

Нет никакого окна; нет колонн; безоконный брандмауэр пришел; и глумится своей вышиной.

И вывизгивает, и высвистывает.

И—
—сиреневый выступ стены,
серебрея, бледнеет: свевается—
—в оры и в дёры пустых
рукавов.

И сквозной синусоидой серые, синие
линии—
—вьются и крутятся—
—в месте далеких домовых квадратов.

И—«дзан»!

Лишь—
—орел золотой над кремлевскою башней, да каменный
шлем бледной статуи—
—в небе—
—намечены: еле!

Чугунная, семиэтажная лестница торчем поставлена в небо: без стен; чернокрылый каркун машет крыльями; и—треугольником врезался угол трезвонящей крыши с обрывистым жолобом.

Странно моргает метель теневыми, домовыми окнами; и овнорогая морда бросается в бурю—
—с оливковотемного
фриза—
—на—
—шапку мехастую с синей подушечкой
и на усы оголтелого кучера,—
—странно
летящие: в воздухе!

Саночек—нет; коней—нет.

Людей—нет.

Белоснежный, гигантский клубок зараспутничал от горбосверта, рукав занеся над давимою крышей; вороны летели сквозь белую руку его; и прохожий согнулся под ней в три погибели, голову пряча под руки.

И—ррр:—
—батареями грохнуло в рожу распутинцу!

И сквозь летящую бороду, рот разорвавшую, желтым и жестким закатом оскалилась даль.

Передергиваясь над забором, качаются призраки розоворыжими космами; снег, как стекло, дребезжит, разбиваяся свистом, как взвизги разбитых дивизий под Минском и Пинском.

И красною гривою врезалось в серолиловые линии поля и в синепунцовые линии леса—под ясною тучею, над—

—странно безгла-
вой—
— Россией!

И ТРУПЫ ПОВЫЛЕЗЛИ

Ночь.

Под вагонным окном генерал Булдуков ткнул в бумаги навислину носа, мотаяся черною лентой пенснэ и седыми разгрызинами перетрепанных бак; пенснэ—падало; и—не писало перо.

Тихо тикали часики; жаром и паром душило; и в желтую лысину блеск электрической лампочки бил.

Генерал Булдуков, перо бросив, похлопывая по серебряным пуговицам,—разогнулся; и, вставши, процокал кровавым лампасом, имея малиновым фоном вагонный ковер; шаг не слышался; выставив свой эполет, оглядев эксельбант и поправив орла, серебрящегося на груди, генерал в Сослепецкого, ставшего—руки по швам, подрожал неживыми глазными мешками:

— «Садитесь, пожалуйста!»

И на окно подышавши, к глазочку приставился; мимо окошка свистели сквозные; воздýх за воздýхом[1] раскидывал в воздух рукав без руки; на путях, точно звездочки,—стрелки; стреляла игла семафора вдали.

Генерал сел с прикряхтом, клокастою бакою—в дым:

— «Тэк-с!»

И пальцами по серебру портсигара побрякал:

— «Так вы на своем еще? Что-с? Все же Киерку—ищут».

Дрожали мешки под глазами:

— «Как вы говорите, его псевдоним вам известен?»—на палец пенснэ насадил.

— «Точно так!»

— «Вы же»—влил с передрогом в стакан из бутылки бургундского—«не соглашаетесь»—тыкнул стаканом—«его псевдоним огласить? Ну... За ваше-с»,—он выпил.

И ижицу сделал лицом.

— «Ваше превосходительство,—наше ли дело?»

— «А Англия—что говорит?»

Ухо выставил:

[1] «Воздух» — погребальная рубаха.

— «Американцы—и те...»

Сослепецкий вскочил:

— «Ваше превосходительство, —и Протопопов так скажет».

И тут генерал со стенаньем, в котором сказались усталость и долгий запой,—трепетавшими пальцами к лысине:

— «Знаю-с: не спрашиваю-с!»

И—кровавыми жилками сизого носа—в бумаги:

— «Политика Франции в сем деликатном вопросе—иная совсем...»

С хитрецою:

— «С французами, стало быть?..»

Битыми окнами дернулся поезд; из поезда грохали.

А генерал -рассердился:

— «Меня не запутайте!»—цокнул он ножкою в красном лампасе; заперкал, бутылку схватил; и в окошко ей тыкался:

— «Армия-с!»

Бросили светами мимолетящие окна; и поезд—который—бросался, на фронт: прочесал; и—мигали спокойные стрелки.

Бумажкою серенькой,—в нос Сослепецкому:

— «Вот-с...—телеграмма. На фронте—бубукают: рвака пошла».

Телеграммою—в стол:

— «Лопанули Россию—да так-с, что кишки ее вылезли; фронт стал—паршивое логово вшей... В полночь тронемся. А-с?.. Англичанин погнал поездами... Бифштекс себе жарит... Которая катит дивизия... Кто и вернется,—так...»

Налил бургундского.

— «Лютым-лютешенька жизнь... Ну-с. а—я-с...»—лбом в бумаги; а пальцем—в ладонь:

— «Знать не знаю-с!»

Пристукнул; и—побагровел.

— «Разговора такого и не было... Что-с?»

— «Точно так-с!»

Сослепецкий вскочил— кругом марш: —

—«д з а н» —
—и ткнулся в про-

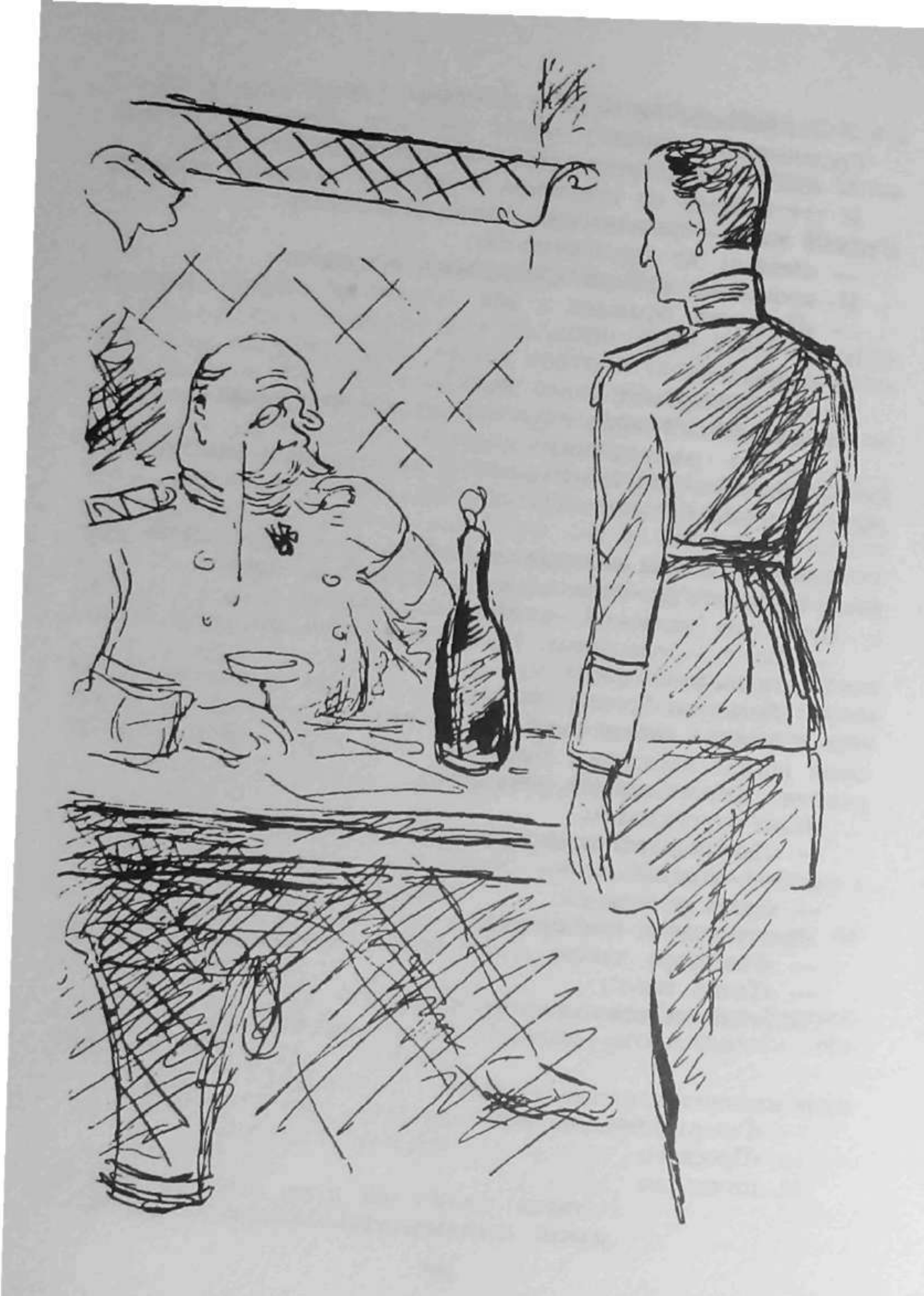
щелк мальчугана, отдавшего честь.

— «Генерал Бидер-Пудер!»

— «Просите!»

И тотчас же

с тихим чирканьем шпор замелили куриные ножки лампасами красными: кокала косточка, а



не безусый, безбрадый, безвласенький труп—
помесь карлы, шута и Кощея,—со слабой
улыбкою, с кожей серебряной, как от проказы.

Лицо—проострение бирюзоватозеленого носа с оранжевой, страшной ноздрей; и, как белые вошки, слезливые дырочки в недрах глазниц; ручки, серосеребряные, быстро бились из воздуха.

Голосом, слабеньким, как музыкальная и задилинькавшая табакерка, он силился выразить:

— «Нэ... вэ... мэ... квэ!»

Вероятно:

— «Ну вот,—я и к вам!»

Только белый Георгий, как впаянный в грудь, безобразие это оспаривал.

В нос Сослепецкому бросилась помесь из запахов: тлена с ванилью; он—в ночь: из вагона.

— «Кто это?»

— «Командующий пятой армией: новоназначенный!»

— «А из каких нафталинов «они» его вынули?»

— «Право не знаю».

— «Чем славен он?»

— «При барабане стоял, на котором сидел князь Барятинский, при полоненьи Шамиля...»

— «И все?»

— «Нет,—еще: этот старец ночами мазурку с собою самим в пустой зале все тяпает—для поддержания бодрости... Вы представляете: очаровательно!»

— «Трупы из гроба повылезли—к Константинополю маршем победы вести: конец—близок!»

И—

—в ночь!

МИЛЛИОНЫ

И стоны, и дзаны сливалися в плач паровоза; и песни звенели из воздуха; видел: покойники носятся, белые пляшут,—безруко, серебряно.

Разорвалися:—

—заборик—враздрáй; под забориком—жалобы:

— «Тут тебе уши отмерзнут...»

— «Отвалятся пальцы...»

— «Кампанию делаем».

— «Будет мамзель тебя: «Воин увечрый». Да — «наш», да...»

— «Уж пуямо бы резали».

Вон городьба, занесенная снегом; снега разгребные, миганцы домишек, бугор за путями; с бугра же — качается — маловетвистое дерево.

Сноп: поворот колес красных; платформа облещенная: разодранство мешков, серых лиц, сероватых шинелей с желточными пятнами; никнут папашники вшивые; шелест неслышимый:

— «Ишь!..»

— «Знать, не битый».

— «Серебряный глист!»

— «Самоправ: с чорта вырос».

И кто-то на локте с мешка поднялся; и к кому-то; кто сидя, кто лежа на брюхе, кто — в полуразвалку пристроился; давами глаз разгорелись на щеголевато одетого, в мех запахнувшегося офицера: — сплошной кривосуд поднимался от этих к нему присосавшихся глаз!

— «По затылку его: ты за доброе дело стоишь».

— «Уж таи про себя».

— «Что же, битому псу только плеть покажи; он скряхтит... Говори, братцы, смело: терять уже нечего...»

— «Два кулака под бока».

— «А то сел: «До победных проливцев!»

— «Из пушки им выстрелить в этот победный проливец!»

Не евший годами, засохнувший клоп, ставший шкуркой, когда из матраса кусаться бежит, то — брр — жутко!

А тут — не клопы: миллионов семнадцать парней, детин, дядей!

Он прочь — в бледный воздух.

С далеких путей дергал поезд отгуда, где злою щетиной штыков лихошерстый простор опоясался, где —

— за воз́духом безрукий воз́дух, рукава раскидавши, Россию оплакивал...

«КХХ-ПФ-ПФ!»

Желтой, короткою юбкой вильнула мадам Тигроватко, поставив на пуфик икрастую ногу:

— «Родная моя, — я о вашем отце: переносят не это еще...»

Подбородок — на палец; а носом — к Леоночке; на леопардовом фоне головка Леоночки, виделась старой шапчонкой, которую мех горностаевый, драный, белил.

— «Ну и вышлют, — неважно» — мадам Тигроватко разглядывала горностаевый мех: подбородок на палец; и носом—к Леоночке:

— «Нет ничего тут ужасного; он переедет!»

Трепала по щечке:

— «Фэ рьэн!» [1]

У Леоночки вспыхнули глазки.

В гостиной, завешенной сероoранжевой шторою, лопнуло:

— «Две орьентации!»

— «Нашим друзьям из разведки нет дела до ваших друзей; ну и муж... нелегальный, — эк невидаль? Ищут шпионов, — не левых; и пусть: это нас не касается!..»

Пальцами мнение ей подавала на лобик: от кубовых губ:

— «Нет, вы — милочка; в вас — же не сэ куа [2] — шарм... Развлекитесь» — и выгнулась, треснув корсетом, как будто она исполняла испанские танцы: под треск кастаньет.

— Только вот: одеваетесь; я бы» — и из-за ресницы ее желтый глаз оглядел Леонорину талию — «что это?» — палец затыкался в грудь, плечи, спину — «для стиля «дэгу́» [3], «нихили́ст» — назовите, как знаете: только штанов не хватает!.. К чему безобразиться?»

Вдруг:

— «В ресторан едем, — что?»

Как тигрица ей стиснула талию.

Пырск бриллиантов за окнами снесся: в окошко фонарь, не трезвонивший ветром, мигал.

— «Нет, — пошла...»

— «Не пущу!»

И одною рукою — за талию, с тиском; другою, с развернутым веером, — в бок; и ломалася, как балерина; оглядывала черноватой ноздрею; и с треском раздвинула штору.

И —

— «кк-кх» —

— «пф-пф!!» —

— Пшевжепанский, взяв чашечку с пепельносерыми бледнями, с золотоватыми блеснями, заиготал в

---

[1] Ничего.

[2] Я не знаю, что.

[3] Отвращение.

леопардовый цвет бархатистых и серооранжевых стен;

— и заперкавши в чашечку, бросивши чашечку, хохотом лопнул Велес-Непещевич, зашлепываясь в желтопепельном кресле.

РОЛАНД ПЕРЕД МАВРОМ

«Щелк-дзан» — Пшевжепанский вскочил, наклоняясь одной головою; «шлеп-топ» — и Велес-Непещевич, привстав церемонно, одной головою склонился к Леоночке; и — каменел, как мужчина перед непредставленной дамой.

Леоночка, — бросясь рукой с горностаевой муфтой под мех-горностаевой шапочки, рот разевала испуганно, точно она наступила на мерзость; лицо — ее сон, тупо-дикий, больной, где-то виданный, после забытый, но — сон, изменяющий судьбы! Ей будто старинную и позабытую гадину выкинули, чтоб отныне жила она с гадиной этою.

Все — один миг.

— «Вы знакомы уже» — Тигроватко с нее к Пшевжепанскому черною палкою веера.

Веером: от Непещевича — к ней:

— «Познакомьтесь: Вадим Велемирович, — друг!»

Шлеп-топ-топ!

— «Леонора Леоновна... Ти́телева».

Непещевичу:

— «Едем?»

— «Конечно».

Леоночке:

— «Я — проведу: вам Параша прическу поправит... И — прочее все... Же ву лэсс!» [1]

И с Леоночкой, павшей в безволие, точно колибри под глазом боа, — с переюрками: в двери...

Молчание — длилось...

— «В метель, говорите» — Велес к Пшевжепанскому, щелками тыкаясь в выцветы серооранжевых стен.

И вскипело —

— «шш» —

— ссвв» —

— за стеклом.

[1] Я вас покидаю.

«Представляете? Да: шашку выхватил, с ветром рубился» — руками развел Пшевжепанский и носиком клюнул.

Велес-Непещевич — за грушу; и — скороговоркой хохлацкою:

— «Даже не с мельницей?»

Шурш из передней: на них.

— «Сослепецкого я понимаю» — влетела «мадам» — «он же — рыцарь», — взмах перьев — «Роланд».

Как струна, лопнул в нос Непещевич:

— «Для пальцев Роланда — хо-хо — мавританское горло готово... Она — часто к вам?»

Влокотяся в подушечку, тускло оранжевую, Тигроватко в мизинец склонила свой нос:

— «Забегает ко мне: утешаться!»

Горбок почесала.

— «И вы утешаете?»

— «Да».

Облизнулась.

— «О, о, — утешайтесь! Зачем ее тащите?»

— «Слово дала показать ее — Мирре».

А он перенес подбородок натруженный, — красный квадрат, — справа влево; и красным квадратом оскалился:

— «Ну, а пока там она, — покажите же комнату».

— «Э бьэн, — идем!» [1]

Взявши за́-руки их, головою взбоднула пространство; и — диким галопом, втроем, — в коридор.

И за окнами пырскали змеи сквозные.

. . . .

Галопами — мимо обой цвета кожи боа, мимо пятен, чернеющих в бронзовотемном; вломились во мраки, где может подняться лишь вопль; и — сопели.

И жолоб, укушенный ветром, как вепрь — хрюкал, брюкал.

ЯЩИК, ВЕРЕВКУ, МЕШОК И КЛЕЩИ

— «Щелк»: все — вспыхнуло: серое, мертвое, тусклое; где пестрота?

— «Здесь и есть?»

Тигроватко им бросила черною палкою веера:

[1] Что же, хорошо.

— «Здесь».
— «А не слышно?»
— «Быка зарезай» — черной палкою веера в пасть — «Там же — кухня; а дверь запирают».
— «Простите, — минуточку: сам посмотрю» — Непещевич; и — щелк каблуков лакированных:—

— светом —

— безлобо, безглазо —

— он

бросился в черный квадрат; и оттуда — безлобо, безглазо — вернулся он: черным квадратом; и залопотал, хлопоча, как кухарка, над гусем ощипанным:
— «Вы приготовите ящик, мешок холстяной, но покрепче, веревку покрепче, рогожу, моточек веревочек, гвозди, иглу для зашивки рогожи, клещи... Все тащить — подозрительно будет: шофер... мы с собою привезем нечто маленькое, да удаленькое».
Телефонный звонок.
И Параша, прислуга, влетела:
— «Вас спрашивают» — Пшевжепанскому.
Вылетел.

. . . .

Став безобразной, мадам Тигроватко казалась совсем индианкою.
— «Ну, а зачем вы меня приплетаете: женщину... Разве нельзя — в другом месте?»
Велес с разволнованным, бабьим, каким-то слюнявым лицом заваракал, как старый фагот, в аллегретто пустившийся хриплым «пьянúссимо»:
— «Негде: везде наблюдают... От вас он — на фронт: в запакованном виде... Захватим на улице; и — с ним: сюда... Вы отпустите вашу прислугу, конечно; уедете сами; ключ — нам, чтоб Лебрейль с чемоданом приехала, — с визою, сертификацией, паспортом; место, купэ, будет занято; не Булдуков, — ваш Роланд постарается; в «Пелль-Мелле» знают, что может в любую минуту исчезнуть: на фронт... Такова его миссия, данная Фошем: се-крет-ней-ша-я... Больше — негде: везде следит око; а арестовать — невозможно: посольство, английское, тотчас вмешается... Фронт же, — там пули, там газы... Уехать живым ему нужно отсюда... И только отсюда!»
Он так посмотрел, что «мадам», закрывая свой нос, из прощелочка пальцев глядела напуганным глазиком.
— «Ведать не ведаю...»
И — помолчали.

— «Что «он»?»
— «Представляет собой замечательный просто феномен».
И — светски:
— «Для дела союзников» — бросился корпусом — «вы предоставите комнату — нам?»
Тигроватко ж, спиною к нему, надув губы и носом капризно бодаяся в веер:
— «Гамэн... Я не знаю, — зачем это комната вам: еще девочку с улицы мне приведете?»
Он — тоже гамэном:
— «Француженку вам приведу; с темпераментом; пальцы — стальные; веревку на шее затягивать — может».
— «Мадам», сделав вид, что она спохватилась — на дверь: громким сестринским голосом:
— «Милочка, — скоро?»

КИКИМОРА

А капитан Пшевжепанский, оскалясь, кричал в телефон:
— «Ездуневич?»
— «Прекрасно, корнет Ездуневич!»
— «К кому?»
— «Где, в котором?»
— «Дом?»
— «Шесть?»
— «Табачихинский?»
Из коридорика, точно из ада, явились: мадам Тигроватко с Велесом; пан Ян, не без юмора бросивши трубку, руками разъехался:
— «Ну, — поздравляйте: увижу сейчас знаменитость».
— «Какую?»
И щелкнула гнутым листом подоконница.
— «Самую, — э т у: Коробкина».
Жолоб взвизжал.
Непещевич:
— «Скажите!»
Мадам Тигроватко:
— «Пожалуйста!»
И отчего-то все трое, — как лопнут от хохота.
Грохнула крыша.

Мадам приложила свой палец к губам и показывала на гостиную, громко воскликнувши:

— «Милочка, — так вы готовы?»

В гостиной стояла Леоночка с красным, распухлым, надувшимся ртом перепудренного синеватозеленого и лупоглазого личика; так изменила прическа: на взбитых волосиках, напоминающих шерсть завитого барашка, тропической бабочкой встал желтый бант, отчего вся фигурка, — безбокая, с грудкой-дощечкою, в старееньком, черненьком платьице напоминала б кикимору, если б не шаль —

— ткань сквозная, тигриная (бурые полосы
в желтом); —

— она закрывала покатые плечи и талийку, падая и волочася по полу.

Мадам Тигроватко все это швырнула из шкафа, сажая под зеркало; прочее — дело Параши: завивка, прическа; сама лишь раскрасила губы.

. . . .

— «Ну — едемте... А в о́ с е р в и с...» [1]

Тигроватко вошла из передней, ведя Непещевича с громкими вскриками о Ван-дер-Моорене: друг знаменитостей Франции!

Видели в окнах: и гонит, и воет, обхватом качаясь, чтоб взвиться со всем, что ни есть, на земле; и — качаться со всем, что ни есть, на земле; басом охало где-то; и писком под окнами белые пыли бесились; и вдруг — между басом и писком, — страдающий, громкий, грудной, человеческий голос.

ВЕЛЕС-НЕПЕЩЕВИЧ ВЕДЕТ ИХ

Проход в первый зал, отделенный ступенью; шатня и туда, и сюда: шаркотали, шарчили, шатели, бежали в уборные...

В далях — жарь́: разлетались света́ из-за хмари — янтарными, красными, голубоватыми пятнами; даже не комната, а человечник, где головы, плечи, и груди, и спины, слипаясь, закрыли и стены, и столики.

Стены — цвет моли; такие ж диваны у стен; полосатые, голубоватые шторы в квадратах оранжевых.

---

[1] К вашим услугам.

Тут же — эстрада, где над головачащим, лающим, пьющим, жующим кишением — фрак капельмейстера, куцого; вовсе немые смычки тарантят; и метаются локти; один ерундан барабана.

Велес-Непещевич, Леоночка и Тигроватко не шли, — перетискивались, растираясь боками чрез хавки и гавки; их мелкой трусцой обогнал беломордый пиджак, подрожав подбородком; все бросилось пятнами.

Кто-то курносый, затянутый в серую пару, показывал гребни лопаток; и рот разрывая, бросал кружку пива в такие же кружки; и кружкою бился о них; и ходулила дылда вдали; и обсасывал кто-то, вцепившись в коричневожелтую кость, — эту кость; и какой-то художник, наверное, сивая масть, закачавшися на каблуках, стал икать на мадам Тигроватко; и дама в фуляровой шали, с гранатовой брошкой, голила руками; ей в спину — ерзунчик: стаканом вина:

— «Ооо!»

— «Отстаньте».

Пристулил к компании:

— «Ну, тилиснем!»

Хитроныры́й пролаз — тилиснул, сделав вид, что фривольничает перед маленьким сдохликом (видно — со средствами): деятель желтооранжевой прессы, а глазки — грязцой поедали грудиночку дамскую, — лиф «Фигаро»: черный, шелковый: рюмочка! Синелиловый букетец фиалок в корсаже; и — шурш желтокрасных «дэссу» из-под юбки, отделанной кружевом.

Бросилось все это из перезвона ножей, из икания, гавка, раскура.

Забились в пороге второй, пестрой зальцы, где ус тараканий, военного, цоками шпоры, с «пардон», разделяя толпу, волочил мимо стуло.

Вино подают, а не пиво; и — воздух, и — чистые скатерти.

И уж за пестрой эстрадою вздетая комната, — почти пустая; ковер заглушает шаги; заказ столиков по телефону; и ткань — яркотигровая: краснобурая, с черчем полос чернобурых; и — черное, вылитое серебро канделябров, серпча́то изогнутых; каменно матовы пепельницы; темнобурый медведь из угла поднимает поднос на серебряный блеск —

— зильберглас: —

— приготовленный столик лакей обирает, расставив двуухую форму чистейших крахмальных салфеток.

Сюда Непещевич, ведомый почтительно распорядителем в смокинге из обнищавших князей,— дам ведет; ярко-желтая юбка мадам Тигроватко и тигровая шаль Леоночки тонут в оранжевожелтой портьере: и — в креслах.

СКАНДАЛ

Мадам Тигроватко становится вдруг своенравным «анфанчиком»; выщипнувши пахитосочку, бисерной струйкой стреляет в какого-то, мимоидущего; штрипки одернув, он сел против них; и — показывал томный носок: цвета «прюн» [1].

И лакей, отмахавши салфеткой, пронес огурец свежесольный.

Леоночка виделась издали злым, перепудренным личиком и ярким бантом, кричавшим с волос; Непещевич склонился над ней:

— «Что вы пьете?»

— «Я...»

И — затруднялась сказать.

— «Нет же, Леокадй, — научите ее!»

Как во сне: —

— Прочно вылезла гадина; точно во сне: соблеснулись тигриные полосы с колером серооранжевых стен; и припомнились ей желто-красные крапы дешевых кретонов, в которые Терентий Титович, «Тира», — ее ожидал:

Крапы, черные мухи, летали вокруг головы.

Вот гречанка, голея плечами, проходит эгреткою; с ней — перепудренный труп: прыщ его розовато сквозит.

. . . .

Из-за дыма далекая зала — цвет моли; в ней — месиво; громко таракают: горлом, ножами, тарелками; кто-то першит, кто-то тащится с кем-то; кого-то зовет за собою; откуда-то щелкает пробка; синеет не дама — щека; и она — примазная замазка.

Кто?

Вскакивает и бросается, чтобы увязнуть в проходе; он рвется в замятой визиткой; как будто, надевши ее, оказался в трактире, где пил; в ней и спал; и — опять затащили в трактирчики; вид парикмахерской куклы, но — трепанной куклы: клоки бронзовой с просверками бороды сохранили едва очертание тонкого клина: парик — съехал нáбок.

---

[1] Сливы.



И тотчас —

— за ним, —

— шпорой цокая, —

— Тертий Мертетев!

— Миррицкая, Мирра: в шелку темновишневом, черными пятнами!

За́-руки схваченный Миррою, — из-за оливковых, как неживые круги полудохлой очковой змеи, ужасающих странно глазниц золотыми глазами, — живыми, — блеснул, через головы выкинув руку; и психой, которую греют нагайкою, взвизгнул на весь ресторан:

— «Она — дочь моя!»

Загалготали, вскочили, сбежали, таращась усами, кусаясь зубами; и дамочка бросилась вместе со всеми.
— «Пустите» — взвизжало в кольце голосов.
Но Мертетев, отрезавши путь, навалился могучею грудью; и — распорядителю бросил:
— «Больной!»
Все усатые губы и морды, напучившись дьявольски, точно собаки на кость; только серая пара (в лице — лень тюфячья) повесила локоть и тихо зевнула в жилетец свой —

— переплетение розовых
лапочек в карекоричневом:
из пестрой комнаты.

Распорядитель лакею дал знак подбородком, чтоб мчался: вести, куда нужно, иль... вывести.

. . . .

Все это издали слышалось еле; и — виделось еле.
Мадам Тигроватко лениво лорнет навела, как с эстрады, — на синее облако дыма:
— «Что там?»
И лорнировала, как с эстрады, соседнее зальце, где — пятнами стены, кирпичные, с кубовыми кувырками, с лиловыми грушинами (взрезы розовые в чернобурых кругах): с желтым кантом; —
Вон дама с фарфоровой грудью, губами коралловыми из соломинки тянет под кущей из розовых, собственных, перьев на фоне дивана оранжевого с голубыми изливами; с нею же щеголеватый с щеглячьим, щепливеньким личиком юноша; белые ведра («Шабли», мозельвейн) блеск бросают с отдельного столика в дымчато-голубоватой, — с расплясами сурика, — шторе.
Велес-Непещевич назад посмотрел:
— «Вероятно, скандал...»
На тарелочку, как драгоценность, ему принесли шоколадного цвета сигару; он, сняв сигнатурочку, ловко обрезал, вскурил.
А Леоночка — не повернулась.

ГРИГОРИЙ РАСПУТИН

Скандал — продолжался.
В кольце раздражительных, нетерпеливых людей бормотали:
— «Кто?»
— «С кем?»

— «Отчего?»
И опять резанул этот визг:
— «Моя дочь!..»
— «Да вы — кто? Да вы — что?»
— «Я — Ман...»
Д р р р!
— «Он сумасшедший!!» — Мертетев орнул.
И рукой заклепал рот больному.
— «Ведите же» — к распорядителю.
Тот сделал знак подбородком лакею, а взлетом руки — капельмейстеру, из-за голов выставлявшему голову; с Миррой, с лакеем, больного отрезал от рвавшихся броситься скопом на этот скандал.
— «Ойра, ойра!» —

— с эстрады сорвался оркестр с музыкантами, стульями, нотами, с ожесточеньем локтей, точно тыкавших воздух и резавших горло!
Откусывая концы слов, —

— «ойра, ойра,» —

— теперь забросались друг к другу усами, носами, глазами кровавыми, кружками, — «ойра», — забыв о скандале: орнуть:
— «Ойра, ойра».
И даже мадам Тигроватко подхватывала: «Ойра, ойра!»
И бзырил Велес-Непещевич.
Мертетев с лакеем тащили больного к передней, откуда навстречу, — лиловое платье: в галдане из брюк, шаркотавших туда, —

— где, —

— себя потеряв, капельмейстер, взрываясь ногами, клоками, локтями и пальцами, перетопатывая в правый угол, где тяпали — «ойра», — взлетая над столиком, где вытопатывали —

— «ойра, ойра», —

— мотал головою над столиками, зверски харкавшими — «ойра, ойра», — с проклятием, с ожесточением, с клятвой!

. . . .

— «За ваше здоровье, мадам!» — подбородком к Леоночке лопнул Велес-Непещевич, Вадим Велемирович.
Ей Тигроватко:
— «Я пью за союз, — наш особенный: т р е х!»

И — за талию; а Непещевич, Вадим Велемирович, щелкнул двумя каблуками под столиком.

Гологоловая, красная морда пропыжилась баками, белым жилетом, цветком хризантемы: —

— весь вечер, как пес ожадевший, кидалась под дамские перья, разглядывая телеса, а не лица, — она; и теперь затащила к пустому, серебрянобелому столику — не волоса, — беложелтую дымку, не платьице розовое, — светлоносный туман, под которым, как голенькая, —

— еще бледная
девочка, —

— синими глазками засиротев точно жаворонок, подняла тихий щебет.

А издали —

— бас —

— в тяпки аплодисментов на весь ресторан произнес величаво:

— «Григорий Распутин — убит!»

И Леоночке — дурно: вино, — вероятно.

ПОД ПЫРСНЬЮ

Рыжавые, карие, сероседые дома; шоколадные, бурые, желтые, синие домики: этот — в гирляндах, а тот — в факелочках; забор; особняк: полинялые ставни, подъездные выступы, гермы, литые щиты на решетке; труба выдыхает мгновенно растерзанный дым:

— рахх —

— ррассс-пуууу- —

— -тица!

Синеголовая церковка: изгородь белого камня, лампадка пунцовая.

Цветоубийственно лица пылают — у шапок, манджурок, папах и платков: все — седые!

Вот трое идут — . . . .

— в армяке, в зипуне, в полушубке, в откидку, в раскачку, в размах, —

— там, где в белом кружении светы прорезались: три беспокойные тени заширились; спереди — бисерной пеной вскипели ворота, откуда под юркзми — в юрк мальчуган; сзади — билось о вывеску снежное облако.

Свертом: —

— и —

— вывесок пестрая лента бамбанит; тусклеет в воротах пятнадцатый номер; и — миломехавка бежит; и — визжат в отдаленьи трамваи в блеск выпыхов у запертых магазинов, где вспыхивают — губы, серьги, перо, лицеист, пробегающий в ревы моторов, оплескиваемых из тускли лазоревым и фиолетовым светом: «К и н о»!

Поворот; —

— и —

— зашамкала с Ваньки сутулая шуба над шарком полозьев под семиэтажною глыбой, к которой домишки приклеились, точно старушки на паперти, где снеговиной покрыт тротуар; одинокий, протоптанный только что след слононогого сходит в покатый каток, по которому лиловолицая бабища, ярко желтея платком, с визгами катится: пóд-ноги.

И безголовый проходит мешок на спине по заборам — у взроицы, вывертов и коловертов, которыми четко остреют загривины в чистом, нетоптанном снеге; на дворике влеплена бочка в сугроб; за него человечек испуганно юркает; очерком темносукэнных домов мрачновато тусклит надзаборье; там —

— крыльями машут и стаями пляшут —

— порхать, свиристеть, стрекотать, — как стрижи, как щуры, как чижи, —

— перепырскивая под пальметтой фронтончика розовокарего и нападая на крылья шинельные.

И прогорланило:

— «Где... тут?..»

Забор осклабляется зубьями; дерево бросилось сучьями перед серизовом доме сереют серенахмуром оливковотемных колонн; на серизовом доме сереют серебряно пятна луны; серый дом — зеленеет, а желтый — бледнеет; и кто-то в кофейного цвета мехах, от которых остались лишь

снежные гущи, бежит сквозь охлопковый снег: снег — вертя́ит, визжит, вырывается, при́зорочит!

И мерещится, точно отламывает от Москвы за кварталом квартал, растираемый в пырсни, взметенные свистом и блеском в сплошной — перешурш, перегуд, перембам!

Точно взапуск пурговичи бесятся!

Домик фисташковых колеров: снежные вазы повисли над окнами; мимо спешит белоперая: красные волосы в инее — белые.

Снежною тенью огромная масса, которая издали виделась белою, — бросилась из-за угла с оглушительным грохотом.

И все — уносится.

Ботик, усы; нос — лилов.

Серебе́рни струят по стене, по забору; и тихая баба в зеленом платке спину гнет: ветер душит, врываяся в рот; кисея с кисеи под ногами снимается: фосфорный фейерверк нитей серебряных.

Голос несется по воздуху, — незабываемый: веер открылся из кружев над домиком. Нет его. Нет и метели; и месяц упал: синероды открытые: синезеленая звездочка —

— красненьким вспыхом, зелененьким вспыхом —
— мигает.

И как мелкогранные серьги, слезящийся выблеск заборов; на стеклах алмазится молния.

Пырснь!





ГЛАВА СЕДЬМАЯ

СЕРДЦА ВОЛНУЕТ

СНЕГ, КАК ЦВЕТ МИНДАЛЕЙ

Серафима Сергевна в ушастенькой шапке и в шубке с коричневым мехом, упрятала в муфту лицо — защититься от блесков: и лед — сверкунец; и жестянка — звездянка: и —

— ах!

— «Бриллиантистей всех бриллиантов!»

Двуглазкой ловила блестинки снежинок; профессор в медвежьей, заплатанной шубе, засунувши варежки под рукава и подняв рукава под лицо, шел неровной походкой из инеев.

Мягкими метами бледный фонтан за фонтаном под бледное небо взлетевши, стал инеем; роща березовая появилась из света сапфирового, точно кружево: снилась.

И веялись инеи в синие тени.

И — замерли: великолепно блестение серого камня из дряни заборной.

И блески сблистались.

— «Да-с!»

Глаз, как быстрый мал[illegible], из-за века открыл на нее; и понесся из тени: на блески.

— «Я сделал открытие!»
И — глаз: погас.
— «Вы?»
И беличье что-то в ней дернулось:
— «Где и когда?»
Он надулся усами и ей не ответил.
Она закусила свой ротик; и стало ей горько: зачем он таится:
— «Я — не понимаю!»
Ее посерело лицо: от усилий понять.
— «Я, уже!»
— «Что?»
— «Сказал-с!»
И — расставила ноги; и — рот растянулся:
— «Про что?»
— «Про открытие».
Сосредоточенно выслушала:
— «Вы сказали тогда Синепапичу, что никакого открытия нет, а теперь говорите, что есть: как же так?»
— «Оно — сделано-с; но-с... Мне открылось» — и так посмотрел, будто глазом зажечь хотел снег.
— «Оно — вздор-с!»
— «В каком смысле?»
Нос — в ноги:
— «Ну, — ясное дело: открытия вроде как нет!»
И пошел, давя снег, как на гору; и шубу тащил за собою по снегу; из меха морозом нащипанный нос вылезал.
Ее гневное личико, точно на крыльях, на плещущих мехом наушниках, — дернулось.
Он повернулся к ней, точно из сна:
— «Что вы это? Я — так-с».
И уставился в сон, расстилавшийся инеем; иней от доха слетал.
Выражение гневное свеялось, будто слетающий иней; и отсвет улыбки явился в лице: это просто — шарада.
— «Герон» — и серебряная борода появилась из меха — «писал свои дроби, л е п т á» [1] — гладил бороду — «буквой со знаком».
Уловка: укрыть настоящую мысль; он, как с мышкой играл:
— «Так: две пятых писалося: «бэта» [2], — два-с, — черточка».
В синие тени плыла его шуба.

---

[1] По-гречески: «дроби».
[2] Числа обозначались буквами.

— «А «эпсилон» [1] — выставил нос — «пять, две черточки-с: знак знаменателя, — ясное дело».
Локтями прижавшись к бокам, распахнулся мехами клокастыми; и на усах, как стожары; и — млечная, вся, борода.
Взяв за руку ее,
показал ей как при́зорочит —
— там —
— цветами из света: сквозными и розовыми, как миндаль!

ПОКАЗАЛ ЕЙ НА СОН БИРЮЗОВЫЙ

С любопытством вгляделся: вон — черные валенки; серозеленый армяк; мех — с отжелчиной; морда — безглазая: кучею меха на морду он двинулся через нацоки ледышек.
И прыгнувши, грохнулся носом и ботиками, как тяжелая кукла:
— «Вы — что-с?»
Человечек — вскочил.
Серафима — кузнечиком прыгнула.
Ус — из мехов; из усов нос, мортирою выстрелив, точно в кусты, сел в усы; и усы ушли в мех:
— «Это — хмарь!»
Рогом котиковым на сосулечник, через блеща́к, стал отхрустывать; но под серебряной крышею, бросившей яхонты, встал:
— «Хмарь: такая есть станция!» [2]
Помнил: —
— стояли жары; липы зыбились в дымке; их лист — замусоленный; кто-то таился за листьями; взглядом поймал — человечка, который себя догонял на обоях его кабинетика: чернозеленый и желтый, —
— с обой убежал!

Серафима же силилась высмыслить:
— «Хмарь — аллегория?»
— «Хмарь» — он впечатал морщиною — «дачное место такое, где жили мы с Наденькой; коли направо итти, будет лес, а налево —

---

[1] Греческая буква.
[2] Смотри «Москва под ударом». Глава шестая.

зеленое поле под серою пылью; там желтые тучищи: пыль-с, буерачники; там оборванцы ютились; и — тропка оттуда вела».

Он прошел этой тропкою:

— «Моль-с!»

Серафима же думала, что аллегории.

— «Что вы, профессор?»

Ударами ботиков закосолапил:

— «Оттуда гонялись за мной!»

— «Кто?»

— «Да он, человечек: с обой; — а его растереть между пальцами: моль-с желтоватая!»

— «Вы объяснитесь, профессор!»

— «Ну-ну-с: ничего-с... Заведем нафталин».

Возмущалась на эти шарады глазами, огромными, синими, ротик зажавши с достоинством горьким; и серыми ботиками за ним топала; и не вникала; берег ее: —

— девочка-с!

Как ей сказать, —

— что ходил он дорогой, которой никто не ходил?

. . . .

Ровно несся по снегу, блаженным пространством дыша; он, дорогою страхов пройдя, не боялся.

И — там: —

— синева отдаленных домовых квадратов — совсем голубая; как в паре опаловом; розовожелтыми персиками пронежнел — красный дом; тот, вишневый, — вино; а этот, беленький, — розовый воздух невидимый.

Он ей сказал, точно светом облещивал:

— «Не обращайте внимания, — в корне сказать... Я тут, — ясное дело — шучу!»

Изумлялись: —

— вершина сосны, схватясь ветками в облако, розово вспухшее, свесилась с кареянтарного, ставшего ясным, ствола; ствол сосновый, вот этот, как смолотый кофе; и карий, и красный; березовый ствол, как коралл; —

— дом, —

— лимон, —

— апельсиновый!

Сделал рукою с достоинством ей пригласительный жест:

— «Ну-с, — мы завтра отправимся с вами: ко мне-с!»

Красным носом — к земле, точно знак подавая стоящим в низине:

— «За томиком Клейна... Там в томике, — листики, кое-какие мне нужные: для вычисления».

Заговорил в первый раз с ней о доме своем; и шарчил в черч ветвей — на прозор заревой: через розовый иней.

Как шапки миндальных цветов, возникала за дальними купами купа лесная; и лес над лесочком висел, точно в небе, —

— дымеющим облаком!

Медленно шел под деревья, с которых свевались охапками иней, — на бирюзу; и — на облачко, облачко срезавши шапкой; и — шапкой означился: в розовом фоне заборика.



ТЕР-ПРЕПОПАНЦ

Огнецовой блесной стали тяжести красочных линий; поскрипывал стол:

— «Уезжаете?»

— «Мое почтение» — скрипнуло кресло, в которое сел над столом; десятью задрожавшими пальцами бегал.

Внырнула в себя, вздернув плечи под окнами; стиснула пальцы, растиснула: белые пятна остались; рванулась навстречу.

И думала: он затаил про себя свою главную мысль.

Наблюдала за ним, как кричал:

— «Дроби, дроби, — «лептá», скажет грек».

И схватяся за голову, вздернувши плечи, качнулся — налево и вниз: точно голову, сняв с головы, — бросил в пол ее:

— «Чорт побери, надробят челюстей: и налепят затрещин!»

Пошел, выбивая ногами, как на плац-параде солдат:

«Тоже, — дроби, взять в корне!»

Унять не умела его.

Наблюдала: ладонь, как лягушка, прыжком пролетела в жилетный карманец; и нож перочинный явился подскакивать в воздух (ловил превосходно его).

Равновесие восстановилось.

Над дальним забором, в окошке поблескивать стала звездиночка: зирочка.

Видел малютку —

— в зелененьком платье,

поправивши золото мягких волос и сиреневосерую шаль завязавши в изящную, венецианскую шапочку, билась, как птичка.

И стало ему и добрее, и лучше: от шлепов двух ножек.

И он разразился сентенцией:

— «А Диофант» — к ней поехал он носом под носик — «писал свои дроби — «л е п т á» скажет грек — как и мы-с».

И поставил два пальца себе:

— «Ставя букву под буквой, и их отделяя чертой».

И стоял перед ним Пифагор, как фантазия мысли, и точной, и образной.

. . . .

Крытую бархаткой лавочку в ножки поставила; ножки — на лавочку.

Личико из-за коленок заигрывало: то в открытки, то в прятки;

и напоминало ему щебетливую мордочку ласточки; выставив очень задорненький носик, скосив его, зубками нить перекусывала, улыбаяся мило малинозым ротиком, очень задорненьким; что-то такое она вышивала: узорчик лилейчатый строился.

Ушки прислушались: ножки с подлавки слетели.

— «Шаги?»

И округлым движеньем, как в ветре, — прыжком: мягко вылетела; промельканьем зеленого платьица —

— «фрр» —

— погналась, неизвестно куда, неизвестно зачем.

— «Вы чего?»

Ножки — «топ»; и — попала к окошку; и беличье что-то в ней выступило.

СИНИНА

Тук!

— «Войдите!»

В пороге, конфузясь, стоял... Препопанц; нос Тиглата-Палáссера в красные пальцы дышал.

И составила чашечки чая, жалея о чем-то: сдвиганьем предметиков; Тер-Препопанц стал являться к вечернему чаю совсем не как доктор, а — просто; с профессором был безупречен; сидел, опустивши свой нос, и молчал: мирозрение Тер-Препопанца с недавнего времени стало: е е л и ц е з р е н и е м.

И усмехнулась; чтоб скрыть этот внутренний прóсмех — в шитье; откусила без нужды и выплюнула шелковинку, когда Препопанц заикнулся о том, ч т ó...; себя оборвал; и глазищем расширился, ножку увидевши:

— «В психиатрии есть много еще нерешенных вопросов, решаемых жизненно...»

Видел: звездою над нею ночует свободное небо.

Ей он не советовал: нерв изучать.

Она ножку свою под себя подтянула; морщинки, как рожки, боднулись со лба: мала птичка, — остер коготок; Препопанц засопел, покраснел; Серафима подумала, что при профессоре можно ходить нагишом.

Препопанц же вскочил и ушел.

Про себя рассмеялась; и — ямочки в щечках; и — ямочка на подбородке; и личико стало котеночком: сколько мальчишества?

. . . .

Синие линии выступили; иней — призорочил; вдруг за стекла́ми с треском сосулька упала из жолоба; тень пересекла окно; и пятно — лицевое.

— «Подглядывают!»

И себе улыбался профессор: подглядывал тоже.

Прилипла к стеклу: никого: синерод, выглубленный и прыснувший ярким, глазастым согласием.

. . . .

Он шарахнулся от ее беленькой ласточки, —

— ручки, —

— которая, — «порх», — опустилась на голову.

«Я — тут... придремнул-с».

И так нежно расшамкался:

— «Добрая ручка моя».

И проехался носом под носиком:

— «Гнездышко вить, дело ясное?»

Знал: будут — птенчики, мысли.

Остались они ликоваться вдвоем и показывать пальцами, тыкаясь в стекла, на звездочку: блеск бирюзовеньких искорок переигрался в зелененький блеск; и вдруг вспыхнули отсветы, точно кошачьи глаза; и погасли.

— «Какая звездистая ночь!»

Дух захватывает; слепнет глаз облесненный: дрожит и горит синина выглубленная: нет им числа; бездне — дна [1].

КАК ТОПАЗОВЫЙ ГЛАЗ

Синина белоперая; воздух, живой солнописец, сияющий окнами; наст — золотая блесна́; лед, как белый чугун; и — алмазным кокошником крыша.

Милело ее кругловатое, белое личико: мордочка; малиновели пропевшие губки; щелели за губками зубки жемчужные; в солнышке взор ее — медистый.

Он же согбенный, закутанный в лезлую шубу, шагал, волоча мех с поджелчиной, рваный рукав прижимая к микитке; казался ей дряхленьким; в мех уронил красный нос; и на носе мутились очки; желтизна световая бросала отчетливый отсвет.

[1] Перифраза из Ломоносова.

Шаг ширя, старалася с ним соступать; солнотечные синие тени резки; как, сметаясь, густели они в углублениях стен, становясь чернотой; ледорогий сосулечник.

Скользко!

И варежками — под рукав его рваный:

— «Здесь скользко, профессор: позвольте я вас!..»

Он ей выревнул:

— «Герц полагает в гелеогенезис материю: мы — дети света, — сказать рационально!»

И нежно взглянули — на гелио-город: как дом угловой белокремовых колеров ярким рельефом щербит; на нем солнечный луч, точно взрез ананаса; оконные вазочки, как — сверкунцы; три ступени — белашки; не крыша, а — пырснь; в адамантовом блеске беленные стекла; дом жмется к колонному пятиэтажному зданию; вырезано в синем воздухе бледным, фисташковым кубом: веночки и факелы, — темнооливковые; солнце дрызгало искрой зернистой на окна.

Сверт, —

— синие сумерки!

Где-то присвистывает; и смотрела она золотыми от света глазами, как бросил ладони, в которые тихо слетало большое старинное солнце.

И волосы отсверком розовым вспыхнули; в отсверке — красное пламя; и луч, звездохват, облеснул переулочек Африков; и на заре уже слабая звездочка, зирочка: искрилась тихо.

И красная церковь — заискрилась в солоноватые, зеленоватые, золотоватые воздухи, ставшие красными ки́слями; котиковым колпаком ей дорогу указывая; и повернул в Табачихинский: высмотреть, вцелиться: —

— может быть, он собирается даже урок поведения дать?

Просинелые домики; желтые глазки, оконца, сверлили сплошным любопытством, ехидством: зелененький, этот вот, желтенький, этот вот, домик, в котором, как клоп между бревнами, Грибиков, сплетнями, точно клопиными яйцами, опоганивал этот квартал.

Номер шесть: он, уставившись носом в него, потом носом в нее, носом бегал меж ним и меж нею:

— «Тут я, дело ясное, — жил!»

И конек дальней кровли, — топазовый глаз, налился, как слезой, своим блеском.

Слеза пролилась.

И топазовый глаз —

— уже розовый, красный,

пунцовый, —

— глаз: гас!

ТОЧНО ВОР

Позвонились; дверная цепочка зацацала:

— «Кто?»

— «Дело ясное, — я!»

И профессор нацелился носом на ручку дверную, пропятивши свой добродушный живот, удивляясь дрезжанью пьянино; и — «Чижику».

— «Ясное дело, — пьянино купили!»

— «Кто «я»-то» — ему из-за двери.

— «Коробкин!»

Он хлопнул себя под микиткою:

— «Барыня дома-с?»

И — дверь он рванул.

— «Да кто будете-то?»

Добродушие слезло с лица; он полез с кулаками:

— «Я... я, в корне взять!»

Серафима, смешная синичка, в сердцах топошилась.

— «Кореньев не надо... Какие такие» — сердились за дверью.

И пикали клавишами.

— «Вы скажите, — профессор: профессор Коробкин» — разбилась о дверь Серафима, махавшая муфтой.

— «Сам, значит? Сказали бы сразу».

Цепочка снялась: Анна Бабова супилась:

— «Барыня не приказала цепочку снимать, а то всякие воры шатаются тут».

Он ввалился в переднюю шубою, распространив запах уличной гари, под взглядом, его осуждающим:

— «Барин! Под собственным домом шатается...»

— «Тоже!»

— «Зарылся, как крот, в свою шубу».

И видел: они провели телефон; а малютка сморкалась, мгновенно же насморк схвативши: от затхлого воздуха комнат.

— «Ну, ну-с, — ничего-с»; — шептал в ухо он ей — «приготовимся, ясное дело: идемте...»

А сердце стучало из глаза, которым он, как фонарем, открывал глубину коридора; тут выблеснул свет, бросив черную тень от лорнетки:

— «А вы не смущайтесь... Идите за мною: вы — гостья моя».

Звуки «Чижика» оборвались.

И безбокая женщина в пепельносеросиреневом вышла навстречу; она приложила лорнетку к глазам; и разглядывала их на фоне обойном из тусклолинючих хвостов:

— «Как» — с испугом лорнеточку выронила — «это ж, — вы?!?»

И за ней — бряки, цоки; и — треск сапог.

ИГОГОГО́!

Василиса Сергеевна сухо и вынужденно подала кончик кисти руки Серафиме, и щеку подставила мужу; он дураковато причмокнулся...

— «Игогого́... Отец!»

«Чмок», — чуть отца не свалил сапогами воняющий Митя, — мордач, погон розовый.

И — «дилинь-ди́нь» — зачирикали шпоры: погон бирюзовый, лицо розоватое, глупое, пикало, «Чижиком».

— «Вот и знакомьтесь: отец — игого́» — Митя, полутузя и подтыкивая Ездуневича, давшего сдачу, к отцу подтащил:

— «Ездуневич!»

И запахами сапог переполнилась комната.

Эта здоровая рожа, способная стену сломать, — как? Мальчонок с прыщавым лицом, так недавно еще воровавший? Профессор наставился носом своим, как мортирой:

— «Вояка какая!»

А Митя полез на него, чтобы шубу сорвать; он особенно както поглядывал, точно он с места в карьер собирался взорваться рассказами:

— «Мы, — игого́ — воевали; и мы, — игого́...»

Но сдержался; сжав руку, чтоб мускул напружить, дрожа подбородком; и руку разглядывал, — как напрягается: этим движеньем мужчины показывают свою силу друг другу; профессор стоял перед ним в сюртуке долгополом, измятом, изношенном (в локте — заплата), который надел в первый раз после заболевания; в нем он казался раввином бердичевским, а не профессором.

— «Да-с, — чорт дери: дело ясное!»

— «Ты уж того, — игого, — выздоравливай, что ли» — ему наставительно Митя; и чуть было не сорвалось: «Выздоравливай-брт» (то есть, брат).

И профессор от этого стал горьколобый:

— «Уж я... как-нибудь!»

Носом, как кулаком, саданул; и — загорбился: вспомнилось, — навоевал, а больного отца навестить поленился.

— «Ну что же, — идемте в столовую: кстати, — пьем чай...» — Василиса Сергеевна вынужденно к Серафиме, — лорнеткой:

— «Пожалуйте».

И Серафима, поймав подозрительный взгляд на себе, обезличилась: сделалось совестно, смутно, как будто она виновата, что жизнь бережет; черной узкою юбкой она шелестнула, сжав плечи, головкой ныряя в проход: и как мышка вынюхивала, потому что кислел отдаленный миазм.

. . . .

Ездуневич задерживал Митю в передней, ему тараракая в ухо: и слышалось:

— «Нет же!.. Обязаны?! Этот Цецерко... Мы... Я — позвоню...»

— «Брось-брт» — Митя ему.

Зацепясь друг за друга, друг другу доказывая в полушутку, пыряя друг друга в крестец и пониже крестца, — стали спорить; и Митя перечить устал, отмахнулся и дернул в столовую, чтобы усесться, закинувши ногу за ногу, и громко прикокивая сапогом, пред отцом развернуть «патриотику»: надо же, чорт подери, отучать от неметчины этой отца; и поймал бы он, чорт подери, того самого Киерко, Циммервальдиста!..

Корнет же повесился над телефонною трубкою:

— «Пять, сорок шесть... Как?.. Нет дома?»

— «По номеру тридцать пять, восемь?»

— «Пожалуйста: тридцать пять, восемь...»

— «Корнет Ездуневич... Пожалуйста, вызовите Пшевжепанского».

— «Здравствуйте... Ну, — пришел случай: лупите...»

— «Да, да... Притащился: своею персоною...»

— «Дом номер шесть: Табачихинский... Ход с переулка...»

И бросивши трубку, присев, щелкнув шпорами, он отколол антраша: журавлиной ногой.

«БА, КОГО ВИЖУ Я!»

Головой сев в лопатки и нос вопросительно выставив, перетирая ладони, профессор просунулся в дверь; снял очки, на них дуя, присел, носом бросился под потолок, опрокинувши лоб; поглядел на очки, протирая очки; их надел.

И увидел он —

— в рябенькой, серенькой, светленькой паре над чайным столом, вырезаясь на серосеребряном фоне белясых обойных разводов, Никита Васильевич ерзает задом своим над ногой, на которой сидит; и мотается палец накрученной лентой пенснейной.

Увидев профессора, он растаращился выпуклыми голубыми глазами; зашлепав губою и пузом дрожа, привскочил; и на пузе дрожало пенснэ.

Тут профессор, его упредив, точно прыгая с кочки на кочку, понесся навстречу, ладонью из воздуха воздух отхватывая и треща половицами; прыснул усами и жвакнул губами. И — руки развел:

— «Ба!»

Никита Васильевич дураковато замымкал:

— «Кого вижу я?»

И четыре руки за четыре схватились руки; и четыре руки потряслись; и профессор, с достойным притопом пускаясь в присядку, товарища старого силился утихомирить: как будто не он, а Никита Васильич хворал; стал усаживать в кресло его; сам сел рядом: локтями — на ручки, ногами — под ножки; глаз, точечка, забеспокоился.

И Серафима подумала:

— «Он — представляется».

— «Ну, как Никита Васильевич, ясное дело, — живешь?»

Опрокидывал стулья, столы, опрокидывал даже людей, а свой нож перочинный ловил удивительно: вставши и дернувши бороду вверх, он ладонь, как тарелку, подставил; над ней пометал перочинный свой нож; его спрятал, поглядывая на кудрею волос, перед ним омывавшую сутуловатые плечи почтенного старца, который с прикряхтом полез за платком, овлажняя слезинкою выпуклое, водянистое око; платок развернул под навислину носа:

— «Ну, Аннушка Павловна...»

А Серафима, как мышка из щели затыкалась носом:

— «Кривляльщик какой» — удивлялась она.

— «Долго жить приказала...»

И трубными звуками высморкавшись, стер прожелчину; око, какое с испугом лизнуло лицо Василисы Прекрасной, которое перекривилось:—

—как, как,—

—неужели к покойнице старой ревнует аргритика старого?

Сухо сидела она с мелодрамой в глазах, выясняясь на тех же серебряносерых обоях сиреневопепельным платьем, под горло заколотым той же оранжевой брошью.

Профессор, который, уставясь очками себе между ног, ожидал окончанья мелодраматической паузы, теплой горячей ладонью подкрался, как к мухе, к плечу Задопятова:

— «Ясное дело,—мужайся: еще чего доброго...»

И—оборвал себя.

Дамы сидели, глаза опуская: профессор, открыв, что штаны не застегнуты, быстро присевши за кресло, застегивал их, полагая, что делает это вполне незаметно; но дамы сидели, глаза опуская, и ждали, когда с неподатливой пуговицей он покончит.

Покончивши с пуговицей, из-за кресла он вышел; и взлаял:

—«Прожить бы без подлости: с кем,—все равно-с!»

В Василису Сергеевну тыкнулся глазиком.

—«Ай, что он делает?»—екнуло вновь в Серафиме—«Зачем он касается ран? Испытует?»

Никита Васильич пыхтел с таким видом, как будто готовился, сьерзнувши с кресла, под скатерть нырнуть головой от стыда, сознавая: больного хозяина дома он все-таки выжил из дома, использовав тяжесть болезни, чтоб в кресле хозяйском засесть; он казался себе самому страстотерпцем от этого, ерзая задом, как будто горячие угли ему подложили под зад.

Тут забили часы под сквозным полушарием на алебастровом столбике.

ПРИМАЗИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Цокнувши шпорою, Митенька чай передал Серафиме Сергевне; и думала: в тоне каком разговаривать с ним? Николаша—такой же ведь.

— «Что на войне?»

— «Не умею рассказывать я... Игогó: наше дело,—гогó,—убивать!»

И дал тоном понять: гре-на-де-ры!

И—«дзан»; отозвался, войдя, Ездуневич, как будто хотел он прибавить: не кто-нибудь,—конница мы!

А профессор уткнулся в малюточку: из-за спины Ездуневича: «фрр»—шелестнула она черным платьем; сочувствие выразил быстрой спины ее легкий изгиб.

Тут профессорша с дергами губ, с придыханьем, с лорнеткой—про случай с Копыто:

— «Представь, что мы тут...»—кривобедрой казалась она.

— «С милой Ксаной моей, а н т р н у с у а д и»[1],—кривоскулой казалась она.

— «Пережили, когда»—интонировала—«разлетелся к нам в полночь действительный статский советник Старчков со шпионами»—и обвела их глазами, взывая к сочувствию их—«за несчастной Копыто!»

Капустой несло изо рта:

— «Нет, позвольте,—какая Копыто? И Ксана: какая такая?»

— «Жилички! Копыто-Застрой, или правильней Застрой-Копыто; а Ксана—мой друг: к сожалению—съехала!»

Снова профессор, как палец, малютке украдкой протягивал нос; и потом с быстрым грохотом прятался.

— «Вынуждена, а пропó»[2]—ударялося в ухо—«сдавать наши комнаты».

Пенсии мало ей?

— «Басни».

— «Что?»

— «Будто шпионка... Зачем ее взяли?»

— «Военная необходимость»—мигнул Ездуневич.

— «Честь родины,—игогó»—мигнул Митя.

Профессор не слушал профессоршу: он наблюдал с удовольствием, будто ел сладкую кашу, как, сев к Серафиме, Никита Васильевич, старый пузан, от волнений оправившись, загарцевал головой и рукой, на которой опухшие пальцы, зажавши пенсне, рисовали какие-то линии.

Выставив ухо, профессор расслушал:

— «Несем свои скорби...»

Куда?

С молодыми курсистками старый пузан тридцать лет прококет-

---

[1] Между нами будь сказано.
[2] Между прочим» «кстати».



ничал, скорби куда-то неся; запыхтел, оборвался, поймав на себе подозрительный взгляд из лорнеточки, тотчас же переведенный взволнованно на Серафиму,—сухой, оскорбительный взгляд.

— «Вот... мерзавка какая!»

Все вскрикнуло в маленькой: чай разлила, заныряла головкой, как будто хотела под чайною скатертью спрятаться:

— «Что?»

— «Нет, нет: я—ничего...»

Ей представилось,—

как из стенного пролома бросается стая
горилл на нее, а не этих сидящих людей,
разукрашенных примазью цивилизации.

Там на обоях, не стертый очищенным мелом, размазался знак: или—пять бурых пальцев, когда-то кровавых.

Профессор не видел его.

Барабанил по скатерти, носом уставясь в прошлую жизнь из-за жизни теперешней:—

—как?—

—Он мог жить таким способом?

И повернулся к малютке, которая тотчас увидела: зрячий, морщинами, точно глазами играющий лоб; глаз, ушедший в себя, как костер из-за дальнего дыма горел.

И затиснула радостно пальцы под скатертью; жарами вспыхнуло ожесточенное личико—мимо него.

ПОДАЛ ЗНАК

Подал знак:

— «Мы за томиком Клейна зашли».

Василиса—с досадливым недоумением:

— «Из библиотеки кое-какие тома выносили».

—«Куда-с?»

— «На чердак».

И он с лаями:

— «Вассочка, Василисенок мой,—книги без толку не трогайте вы!»

И забегал руками по скатерти:

— «Я говорю—рационально!»

И ножик столовый схватил: барабанил по скатерти им:

— «Я... порядок томов...»

Серафима, не выдержав, вынула ножик из рук; он, схватившись за щипчики, стал их подкидывать:

— «Сам устанавливал».

Тут же взлетело пенснэ на обиженный нос Задопятова, явно вопившего оком: — как, как: сумасшедший, а — помнит, что комната есть у него? В ней Никита Васильевич туфли на кресле оставил.

— «Да что говорить, — уравнение это решаемо!»

«Что?» — волоокое око бессмыслило.

— «Как?» — звоняла разомкнутым ртом Василиса.

Но — резкий звонок: Митя — в дверь.

Серафиме осмыслилось:

— «Он же их водит за нос!»

Знала: высечет вздрог; где нет жизни, удар механический — страхом, томлением, или бессмыслицей — нужен.

Профессор зевнул, живот выпятив:

— «Просто хотел я сказать, что пойду посмотреть, цел ли томик... И — все-с!»

Тут влетел офицер:

— «Капитан Пшевжепанский!»

Приветствовал издали.

Встав выжидательно, с места не трогаясь, зорко косясь, пожал руку, качая над ней бородой; и рукою на стуло указывал; став простецом и юродствуя, точно Эзоп, раб двадцатого века, вещающий из двадцать пятого им:

— «Диофант имел способы для разрешения всех уравнений... Идем...»

Поклонился достойным поклоном в носки; с Серафимой отбацал в дыру коридора; холодную ручку поймал в темноте; прикоснулся дыханием к ней:

— «Потерпите, малютка: недолго вам маяться!»

Но теневая рука замигала на поле обой: теневою лорнеткою; и кривобокая тень, обогнав на стене, улизнула в переднюю.

Это — профессорша. И выжидали, что скажет.

— «Я шла, чтоб узнать, антр ну́ суа ци́», — в Серафиму — «когда говорит жена с мужем, чужим делать нечего».

И —

— Серафима мышеночком: в дверь кабинета от них.

— «Шла узнать, что и как».

И он пальцами бороду стал разгребать, порываясь удрать, когда уставясь в усы; а профессорша стала глазами мочиться в платок:

— «Все же — прожили вместе: я вам вышиваю накнижник!»

Рукою он вскинулся, будто очки защищая от больно хлеставших кустов; и с простоном схватился за голову:

— «Да уже вышила ты — Задопятову!»

Взял себя в руки: чихнуть, или — фыркнуть?

— «Для разнообразия» — руки развел и чихнул между ног — «ты набрюшник бы вышила, — что-ли...»

Профессорша пальцами шаль затерзала; разглядывала полинялый горошик обой; лепетала сквозь слезы:

— «Узорик...»

— «Линялый...»

— «Горошиком...»

— «Ну, — я пошла...»

Так совместная жизнь откатилась: горошиком.

ВЗВЕЯВШИ ФАЛДОЙ СЮРТУК

Взвеявши фалдами свой косоплечий сюртук, головой изваянной влетел он в открытую дверь, где предметы выяснивались из пятнистокоричневых сумерок; в синях мерцали за окнами глазки озлобленных домиков.

Всплых электричества; — прыгнули, из темноты выпадая, узорики темнозеленых обой; с них гналась за собою, кривляяся, желтая с черным подкрасом фигурочка, перед которой...

Он встал, сложив руки, как поп пред предметами культа, в обстаньи коричневожелтых шкафов и коричневожелтых томов, — головой эфиопской разбитого Сфинкса.

И к креслу пошел, на котором лежали две старые туфли, которые сбросил и пяткою шваркнул об угол с презрением:

— «Экая дрянь!»

И сел в кресло: опомниться; лоб, как глазами, морщиной играл.

И вокруг все неяснилось желтыми пятнами, брысыми пятнами с подмесью колеров — строгих, багровых; из них Серафима, свой вздох затаив, стиснув ротик, склонилась локтями над белой космою на черные морды осклабленных сатиров, вырезанных в спинке кресельной; в губках же вспыхнувших — боль за него; глазки, точно кристаллики, — твердые.

Вдруг, как за мухою, носом он ерзнул из кресла, нос выбросив, и потащился за носом на шкаф, чтобы дверцы расхлопнуть,

задергаться и затрястись, жиловатой рукою вкопаться в набитые полки, выщипывать томики.

. . . .

Кучечку томиков вынес, насыпал на кресло, с надтуженным и выбухающим лбом перед креслом на корточки сел и расшлепывал томики, нос прижимая к страницам, исписанным формулкой, формулки втягивал носом, как пес, выдыхал их страдальчески:

— «Нет-с!»

И над ним, с легким топом, махая беспомощно ручками, ротик раскрывши, малютка металась: казалась в сердцах!

Вот, коленом треща он поднялся с колен; дернул плечи лопаткой; очки затотевшие снял, безочковой заплатой тенясь; потащился, кряхтя, за платком, косолапо закинувши руку за фалду; и дул на очки, протирая их, силяся вспомнить, куда делись листики:

— «Кто-то здесь лазил и листики тибрил?»

Напомним: по этим местам уже осенью рыскал за листиками Никанор.

. . . .

В коридоре затопали: дззкали шпорами; на пестроперенькой ряби обой, как мазуркою, дергаясь, тень Пшевжепанского силилась носом внырнуть в кабинет; а за этою тенью на ряби обой теневой головой Ездуневич выглядывал.

Тут Серафима – на цыпочки к двери; присев за углом, ухом — в дверь; глазки—два колеса; ротик—«о»; пальчик—к ротику.

Слушала.

— «Он—сумасшедший: вполне»—петушком горлосила, хрипя, голова теневая.

— «А вы—почем знаете?»—вздернулся под потолок теневой капитан; и оттуда, сломавшись, сгорбатясь, висел головой, пятипалой и черной качая рукою:

— «Юродствует он: без дымов нет огней... А тут,—вы заходили бы к нам, и увидели б: папки, досье, отношения дипломатические».

Тень под тенью, присевши, проткнула—тень тень—теневым, указательным пальцем; и тени, свалялися в четверорукое, четвероногое брюхо, которое прыгало.

У Серафимы же личико—в пятнах; из глаз—точно молнии; мягкие волосы, мягкая кожа; ступала, мяукала,—мягко; а тут стала—

—сталь негодующая!

Кулачишки зажав, собиралась на них с криком прыгнуть:

—«Как смеете вы!»

Раздалось иготание:

— «Братцы,—да бросьте; я знаю отца; это—этот кинталец, Цецерко; он, бестия,—где-нибудь, через кого-нибудь,—дергает; я бы его расстрелял!»

И тут нос Ездуневича, в дверь заглянувши, отпрянул; дзан, топ; и китайские тени, как стая ворон, заметались в обоях: слизнулися.

Ей стало ясно, что—слежка, до... дома, до... сына, до... до...; стало ясно, зачем он намедни в саду человечка спугнул; он давно это видит, а ей он—ни звука: ее бережет.

И руками всплеснула, присев; и как солнечный луч в ней прошелся, из тучи блеснув.

. . . .

А профессор, рукой хватаяся за чернолапое кресло, склонял седину:—

—как вояка, бросавший под грохоты пушек свой полк в задымленное пушками поле, попавший опять на то место, не видит полков: видит поле пустое; и тычется пальцами в кочки и шамкает: «Здесь был вот этот убит, а там—тот!» И почувствует вдруг, поправляя глазную повязку: проколотый глаз—студенистою влагою на обожженную, краснобагровую щеку протек:—

—так и он:—

—из-за

кресла осматривал поле борьбы, где гранаты дрезжали и пули высвистывали.

Вдруг—от ужаса стал желтоглазый он:—

—кто-то растерзанный,

дико-косматый, в халате подпрыгивает, яркой крашеной прядью мотает, вцепившись зубищами в тряпку, которою заткнули оскаленный и окровавленный рот.

Щеки вспыхнули; шрам почернел; борода из серебряной стала зеленой, когда он, присевши, распластывая на ковре свои черные фалды, вдруг выбросил руку вперед с пальцем, загнутым кверху; и к ней повернувшись оскалом страдальческим, пальцем показывал:—

—кто-то—

—сидит: наверху!

В двери бросив заплату и ставшие двумя клыками усы,—за усами он ринулся на грохотавших ногах, как боченок, катимый по бревнам,—стремительно: в двери.

И—

—ту-ту-ту-ту—

—грохотало откуда-то с лестницы—выше и выше, туда,—

—куда палец показывал!

КТО-ТО СИДЕЛ НАВЕРХУ

Он в пестрявую комнатку Нади влетел.

Но ее переклеили: черная лапа сцепилась с оранжевой лапой на желтом на всем, источающем красные крапы; узорик обой,—на котором—то самое—наглое кресло, блистая пропором пружины на дверь, за бока схватясь ручками и приседая козлиными ножками к полу,—свисает, как зобом, морщинистым, желтым чехлом, уронивши со спинки штанину верблюжьего цвета; в углу толчея перетопанных туфель; везде—табаки, соры, дряни; корнет-а-пистон золотой: блещет в тускль!

Не армейщину нюхать, не Надину жизнь вспоминать прибежал он сюда, а стоять перед этим вот креслом, которое вдруг из-за пырснувших книг, обнаруживших черный пролом в кабинете,—поперло в пролом, чтобы, вспомнив, к нему прибежал,—

— и увидел—

—сидящего в кресле:—

—вот эдак вот!

. . . .

Бросился к креслу—вот эдак вот, чтобы, им грохнув, поставить—вот эдак вот.

Стал перед креслом, скривляясь ногами,—вот эдак вот; и на кровавом побоище крапов и лап появился трехрогой космой, подымаясь усами на бред, с задрожавшей рукой, прилипавшей к кричавшему сердцу.

Ладонь, как паук пятилапый, запрыгала пальцами над пустотою, увиденной не пустотою, а тем,—

—кто в сиденье вдавился в рыжавом, промокшем халате; прикрученный за руки, смуглыми скулями пучился в красную лужу,

куда еще капало что-то; и—ямою красной, не глазом, качался

—над телом, таким же кровавым, как он:—

—труп под трупом веревку распутывал трупу!

Труп—тряпку, которой заклепан был рот, перекусывал.

. . . .

Став сумасшедшим, профессор воссел в пустоте того кресла, схватяся за ручки и прыгая пальцами; от бороды отделились усы, точно рыбы; и вновь утонули в безротой своей седине, под вцарапанным в щеку, чернеющим шрамом; он видел и странно живые глаза под собой, и того, кто лобзал ему руку с оскаленным завизгом:

— «Ты—победил».

Этот труп—

—и профессор себя им представил—

—восстал над другим, им представленным трупом;—

—профессор восстал, и закинул чело, с протопырешными, точно строгие роги, сединами; пальцем потряс и пятою растопался:

— «На основаньи какого закона копался ты в глазе моем?»

И труп, ползающий, трупу—с завизгом:

— «Ты стал путем, выходящим за грани; отныне твое—мне возможно; пусти меня в кресло; дай участь твою!»

И руками протянутыми умолял, чтобы мучимый—мучил.

Профессор же, руки под горлом скрестив, уронил на них бороду; и две морщины, скрестяся, с чела, как мечи, поднялись и чернели висящей угрозой, измеривая, какой мерою мерить.

И прямая спина, провисавшая фалдами к полу, сломалась у шеи, когда он, насупясь, увидел свечу на столе; тогда нос, как крылами, бровями взлетел, отделяясь от лба, задрожал, схватил свечку, которую видел зажженной, чтоб ей размахнуться и пламя всадить в остеклелый, как у судака,—этот глаз.

Но—

—заплакал корнет-а-пистон; барабанными палками забалалакали балки; заухали трубами—в тявк отдаленный, и шавк сапогов, набухающих в снеге:

— «Расправа—неправая!»

Не разразился, утратив усы в бороде и морщины свои потеряв, потому что —

и Авель, став Каином, Каина, ставшего Авелем, тою же мерой убивши,— убийству подвергнется; видел очами души, как два тела, себя догоняя по кругу, бежали друг к другу сюда, чтобы здесь, за порогом,— пройти: друг чрез друга!

Как солнце, играющее на заре, глаз слезою разыгрывался:

— «Я и ты!»

Свои руки развел точно поп, на алтарь выходящий; качаясь лопатками, дважды шагнув поясницею, выбросил над головою скрещенные руки; и после скрещеньем ладоней слетел, чтобы видеть сквозь пальцы им воображенную голову, и чтобы глаз ослепительный головоногого чудища,—

— глаз осьминога, слезой овлажняяся,—

— стал человеческий глаз!

Свечка выпала.

— «Я — это ты!»

А слеза, подрожав на щеке, самоцветом скатилась в провалы телес разделявшихся; не балалакали балки; и провопиявшие камни молчали; но тявк голосов еле слышался:—

— где-то отряд пехотинцев прошел.

. . . .

За спиною стоял его сын, с задрожавшею челюстью, чувствуя, как разделялись составы его,—

— потому что —

— родной, одноглазый старик сумасшествовал над местом собственных пыток.

ВЗДИРАЛСЯ УСАМИ ПРОФЕССОР ИВАН

— «Теперь мы прочтем оборотную сторону этой страницы» — шептался, вздираясь усами, профессор,—

— Иван!

Потащился, лопатками дергая голову и поясницей бросая стучавшие ноги,— под стену, откуда из красного крапа и желтых, и черных схватившихся лап его звезды рождающий глаз перенесся на блесках,— увидеть.

Увиделось:—

— он,—

— над столом вычисляет какое-то «пси», угрожающее городам, паровозным котлам, броненосным эскадрам; довычислил: осуществилась возможность разгрома,— котлов, городов, броненосных эскадр.

Ну, а — он?

Добродушно надчесывал спину; и думал о Наденьке:

— «Пси!.. Плюс...»

— «Скажите, пожалуйста!..»

— «Кси!»

Как? И — только?—

— Еще;—

— подмаршевывал, перетирая ладони:
—«Так-с, сударь мой,—так-с: переверт всего дела военного!» Было ли сказано? Было[1].—

— Так был он убийцею — не городов, паровозных котлов, броненосных эскадр — человеков.

Колено свое положив на колено, хватал двумя пальцами крашеный клок бороды, похохатывал тихо в усы над —

— детьми, над еще не рожденными, но обреченными в ряде веков разрываться под действием «пси»:—

— год тринадцатый: осень!

. . . .

— «Так где ж была совесть?»

Как не наложил на себя он руки?

Лоб, как камень, дробящий пустые скорлупы, раздробливал — — собственный лоб, сотрясением мозга грозя... задрожавшему Мите, который —

— схватился за лоб, отступая с порога: за дверь.

— «Кто ж преступнее?»

Носом стеная, схватяся руками за голову, вздернувши плечи, качнулся отчаянно, наискось, сняв с головы свою голову, точно

---

[1] Смотри «Московский чудак». Глава первая (I-го тома).

стеклянный футляр, его шваркнул о пол, чтоб — разбилась она; руки сжав, стиснув пальцы, качался своей бородой над раскоканным прошлым;

— «Убийцы — мы: все!»

Митя вздрогнул, схватился за голову, всхлипывал под пропостающий голос профессора:

— «На основаньи какого ж закона?»

— «Механики!» — путался «тот», кем он был.

— «Так с механикой — можно; а так, как тебя убивали — нельзя? Скопом — можно, поодиночке — нельзя?»

И себя переживши убийцей, склонясь над убийцей своим, его видя у ног, локоть свой на ладонь, чтоб в другую ударился лоб, точно камень.

Он — всхлипывал.

Грохнулся в пол головой:

— «Удар — дар!»

Из стеклянного глаза, как у судака, слеза капнула — в слезы визжавшего плачем преступника: слезы смешалися.

Трупы не плачут:

— «Я — ты!»

— «Мы — есьмы!»

— «Победили!»

. . . .

— «Отец!»

Митя ринулся в двери, и став на колено, оттаскивал от отскобленных следов красной лужи растрепанного старика, захватившего пальцами кончик штанины верблюжьего цвета, которую он сорвал с кресла и слезы свои отирал.

Но увидевши сына, — отдернулся, усом всторчася; с кряхтением чистя колено, поднялся; штаны — отшвырнул; щеки — вспыхнули; пальцы вонзив в подбородок, разгреб ими бороду; и не усы, а два белых клока, как клыки, отделясь от седин разделившихся, вдруг забодались на сына, а зубы блеснули из-за бороды его, как электрический свет:

— «Сколько времени жил я с тобою: и ты не узнал меня, Дмитрий!»

И глаз закатил мордотрещину сыну

— «Отец!»

— «Никогда не любил ты меня!»

Руку выбросил, точно с мечом, отсекающим руку, и ею с размаху отсек:

— «Мне осталось недолго с тобой говорить!»

И слезу кулаком отеревши, прошел мимо сына.

. . . .

А Митя стоял пред стеной, как прозревший на... пол только мига: —

— разъялися стены в стенах.

Но — задвинулись стены: и пережитое в полмиге ничем не мигнуло ему в остававшемся кончике бедной, еще до рожденья загубленной жизни его: —

— через несколько месяцев
будет он —
— труп!

СОШЕЛ В ПЫЛЬ

Серафима ждала в кабинете; профессора — не было; грохот раздался — из-за потолка: с того места, куда он показывал; тотчас, — столовая грохотом стульев ответила; серою ящеркой прошелестела профессорша, точно сухою травою, — по лестнице; прошелестела обратно.

К ней выскочили: Задопятов, корнет, капитан; Митя — дернул наверх; а она в Серафиму вцепилась.

— «Скажите, — всегда он?»

— «Что?»

— «Так безобразничает?»

Задопятов не выдержал:

— «Шэр[1] — не то слово!»

Лорнеткой грозила туда, куда палец показывал:

— «Вы посмотрите-ка!»

И Серафиму тащила с собою наверх.

Задопятов тащился им в спины; за ним потащились корнет с капитаном чириканьем шпор; в темноту они тыкались пальцами, точно пугая друг друга.

Но Митя, заухавши сверху, ладонями рухнул на всех:

— «Оссади!»

— «Оссс...»

И опять сиганул сапогом кверху; и каблуком, надо лбами взлетевшим, как камень, пронесся во тьму, у которой, казалось, — нет дна.

---

[1] Милая.

А все прочие —

— топ-топ-топ-топ —

— покатились —

в серые пыли:

— по лестнице:

— «Шу!»

— «Шу!»

Точно стая мышей.

Забабацало сверху: подсвечниками; каблуки, как каменья, грозили свалиться по лестнице; всхлипывал кто-то: и гудом, и дудом.

. . . .

Забацали бубнами; ухнули трубами; брякали, рявкали:

— «Рраз!»

— «Пррр-аво!»

— «Арррш!»

Барабанными палками маршировали папахи: под окнами; дружно шинели прошли безголовые:

— «Трра-та-та-та!»

Ездуневич, просунувши голову в тьму, и от этого видевшийся безголовым, как конь боевой, из ничто вострил ухо на трахнувший марш: —

— «Под двуглавым орлом!»

И как конь боевой, забивавший копытом, он стал подчирикивать шпорой; задергался ухом, чтоб дернуть к окошку.

Прошли пехотинцы.

И голос профессора, рявкая, грохался над потолком.

— «Говорите, что — тих» — верещал из теней капитан Серафиме — «а может быть он представляется?»

Тут Серафима не выдержала; свои ушки заткнула она, убежав в кабинет, чтоб кататься и мяться головкой, не видя, не слыша.

Услышала: рывом отпрянули.

. . . .

«Он» — опускался, —

— бросая торжественно правую руку над космами прядавшего животом Задопятова; левую руку он выкинул над темнотою, в которой корнет с капитаном, сцепяся руками, носами друг другу показывали на его восклицающий вид, что он —

— в памяти!

Ей же казалося: не из-под крыши спускается он, а из вогнутой бездны.

Со строгою твердостью шел, разговаривая сам с собой, как конец с бесконечностью, чтобы отчет ему дали: зачем жизнь — зигзаг вверх пятами в отверстую —

— даже не бездну, а пыль?

Голова его, вовсе не нашей планетной системы, кусалась, как пес.

И ГЛАЗА ОТВЕЛА, ЧТОБ НЕ ВИДЕТЬ

Расставшись с собою самим, он прошел мимо них в кабинет, чтобы томик коричневый взять.

Еще раз —

— прокривлялась желтявым прокрасом
та черная тень человечка —

— на фоне обой.

И свой взгляд перевел от нее на присутствующих, будто сделал открытие.

Встали подробности «случая»: рапортовали ему деловито и сухо: делец, —

— фон-Мандро, чернобакий, с сигарой в зубах предлагает четыреста тысяч, которые он отклоняет; Мандро он наносит визит; он чудачит с какой-то девчонкой; в передней кота надевает на голову, с шапкою спутав кота.

Так Мандро![1] — дрр-дрроо-дорр!

Барабанил он пальцем по креслу:

— «Права человека-с!»

— «Да, да-с!»

Все — летит, пролетает, как облако в облако; зрячие слепнут; слепцы прозревают.

Он вспомнил теперь лишь, что ехал тогда он в Москву, чтобы след уничтожить открытия: он — не преступник; и тут показалось ему, что все тяжести, перевалясь через плечи, — свалились за плечи.

---

[1] Реминисценции 3-й главы «Московский чудак».

Лицо изменилось его ярким черчем морщинных растресков; и стало оно точно выбитое из столетий резцом Микель-Анджело; и борода, и усы,— точно слиток серебряный; а два вихра, как два каменных рога, от каменного, высекаемого из столетий, чела, проторились справа и слева: и строго, и благостно; взгляд его...— тут Серафима глаза отвела, чтоб—не видеть...

Но взгляд этот — лет улетающей звездочки.

Скрывши усами свой рот, он пошел деловито и сухо в столовую в сопровождении сына, жены, Серафимы и двух офицеров, как будто добился он цели; и не было верха.

Все сели: кривилось в глазах, потому что сидели, тусклея,— кривые пред ним.

Он не сел.

В ЧЕМ ЖЕ ИСТИНА-ТО?

Он на сына смотрел, бросив руки по швам: наступила неловкая пауза.

— «Так ты — на фронт? Ну, а — я-с...»

И запнулся; лицо онемело, как маска, с покойника снятая; взгляд прокричал о мирах неизвестных.

И Митя потупился.

Он же — ладонями:

— «Все это — рухнет!»

— «Так вы против нас?»

Все попадали в обморок.

— «Вы»— провизжал капитан —«против цивилизации?»

— «Ты — против мира всего»?—провизжала профессорша.

Выбросил грудь:

— «Не всего, а — се-го!»

Серафима подпрыгнула.

Щурясь, профессорша из-за лорнетки кривилась: всем, всем.

—«Можно думать,— перечить пришел?»

Задопятов глаза с тихим ужасом выкатил:

— «С неба свалился ты?»

Вышло —«из желтого дома свалился».

Тогда Серафима движением ручки, протянутой к муфте, сказала ему, что — пора: больше делать здесь нечего.

— «Нет,— не свалился я, а, как пришел, так уйду, унося эту правду с собою».

И злобою перекосилось лицо капитана:

— «Вам правда — известна?»

Он шпорою щелкнул, повесясь бородкою в пол:

— «Ну, я вас поздравляю!..»

Откинулся, в плечи уйдя и трясясь эксельбантом, погонами, пальцами.

— «Мне»— головою, как гусеница над листом, он взлетел; и— затрясся, как множеством лапочек:

— «Мне,—откровенно скажу,— неизвестна: скажите, пожалуйста,—в чем эта правда?»

Как цветик невидимый нюхая носом, профессор уставился им в Серафиму:

— «О правде не спорят».

И радостный ротик ее не сказал, о чем сердце забилось:

— «За правдою следуют».

Он же ответил:

— «Пойдем».

К коридору ударами ног перетопывать стал косолапо и грохотко, он, как всходя к перевалу, откуда ландшафты далекие виделись: маршем казался простроенный шаг.

И за ним, мимо всех, — Серафима; за нею — все прочие.

Только Никита Васильич из кресла давился без воздуха, рот разорвав, волоокое выпучив око; вдруг — быстренький, маленький, дряхленький, — кинулся, перегоняя их всех и себе помогая короткими ручками в беге,—из кресла, в переднюю: не для того, чтоб поддать под крестец своей пухлой коленкою другу, которого он выживал, а чтоб шубу сорвать и стоять с ней сплошным вопросительным знаком, мигая из меха.

Профессор давнул под микитку его кулаком, проревевши, как слон, — с добродушием:

— «Ну, брат, — отдай, чего доброго, шубу мою».

В шубу влез.

Постояли они, перетаптываясь, будто не было лет; были отроки —

— Ваня и Кита! —

— И око какое, — огромное, выпуклое, — стало синим, как синий подснежник цветок...

. . . .

Цепь зацацала; дверь отвалилась, как камень могильный: их выпустить; и — завалиться.

Враги —

— человеку —

— домашние.

ВОГНУТЫЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ

Во́гнутая глубина кособоко спускалась над крышами; синяя вся, — издрожалась она самоцветными звёздами; звёзды ходили, распятясь лучами:

— «Профессор», — просительно сморщился носик — «зайдемте ко мне, на минуточку: тут, — по дороге».

— «Идем: хорошо...»

Промилел ее ротик родной.

— «Но сперва» — он схватил ее за́-руку — «я покажу вам...!»

Свернувши на дворик, провел мимо дров, вдоль забора гвоздистого; свет из оконец облещивал насты, которые дергались искрами; из-за забора же инеями обвисали деревья.

Калитку расхлопнул; и ботиками провалясь, зацепляясь мехами за жерди, но не отпуская руки, притащил под террасу; открытое место висело над ними; над крышею пал Млечный Путь; и печная труба протыкала его.

Здесь он бросил ее и прошел на террасу, покрытую снегом; и в стекла заделанной двери, в которую с этого ж места когда-то вбежал, еле помня себя, — он заглядывал; —

— да: —

— от него шарахнулась толпа: он был взят в свои бреды [1].

Вздохнул, бородою наставяся на синецветную звездочку; красненьким вспыхом мигнула она, ставши беленькой, с нежнобирюзеньким отсверком.

Проблески вспыхнули: мылили голову в ванне и били массажами тело его, когда он, прокричавши, впервые очнулся: в больнице.

Сплошным самоцветом дышала вселенная.

Дальше: —

— малютка, —

— звезда!

---

[1] Профессор, измученный Мандро, бежал в сад в июле 1914 года; в это время, узнав о несчастии в доме, вломились в квартиру обитатели переулка. (См. «Москва под ударом». Конец 6-й главы.)

Звездоглядное небо!

Как голос из воздуха: крупные звезды в крупе бриллиантовой пырскают в черных пустотах, как в бархатах млечные блесни неясны; нет места, где выблеск не вспыхивал бы; и висит между ними — звездило сапфирное!

Он поманил Серафиму к себе.

Забарахтавшись в снеге и муфтой махаясь, протаптывалась через снег, — под окно, на террасу, где он ей показывал, как из-за мира он смотрит на мир, где, при жизни под камни зарытые, с тенью профессорши тень Задопятова среди теней, странно бьющихся, — бьются в испуге: за окнами.

Он — тот испуг!

— «Заключенные в камень, — не видят звезды!»

Поглядела на них синечерная впадина: я — пред тобою, с тобою; не плачь, или — плачь: плачем вместе!

И капнула, как самоцветной слезою, — звездою.

Ей руку пожал; и — сказал:

— «Ну — пойдем!»

Но едва повернулись и стали спускаться с террасы, зажмурившись от самородного блеска, — под окнами тень от них: бросилась.

Он Серафиме, свои же слова вспоминая, — на тень показал:

— «Я в саду говорил, что она только — хмарь; было время: я — тень от пяты, — содрогаясь от страха, тащился по жизни; теперь, сообразно с законами оптики, будем отбрасывать мы эту тень».

И повел от террасы на выроину, над которой когда-то и он, повинуясь инстинкту животного, кровью кропя на бурьянники, — околевал [1].

Пальцем ткнулся под ноги себе:

— «Вы запомните: здесь — вы стоите...»

— «Да где ж я стою?»

Утаив от нее свою боль, он пролаял:

— «Могила — пса: Томочки...» [2]

И удивлялась она, почему так торжественен он.

А он повесть себя самого же себе самому — пересказывал:

— «Стал человеком!»

И вздернули голову.

---

[1] Смотри «Москва под ударом». Глава шестая.

[2] В этом месте зарыли понтера Томку. (См. «Московский чудак». Глава вторая.)

Звезды шатались лучами; от мрака и выблесков в ухе, как взвизгнет: стрижи над крестом колоколенным так пролетают, как над головой эти дико визжащие звезды; —

— казалось ему, что за звезды прорес: головой.

И глаза опустил на нее, ей любуяся: мордочку вздернув, глядела на звезды, как ласточка; шейка да носик: ни глазок, ни лобика!

— «Жизнь моя!»

И разведя свои руки, и кланяясь жизни меж ними, следил за ней глазом, который покоился в собственных блесках, как будто в слезах; свои руки локтями сведя, раскрыл пальцы и медленно подымал, чтобы в воздух отдать; наблюдал с удивлением, как принимала она его жизнь, сжавши пальцы свои под губами, склоняясь под отданное.

А летучие ужасы мира стремительно вниз головою низринулись — над головою не нашей планетной системы, — чтобы зодиак был возложен венком семицветных лучей!

И вселенная звездная стала по грудь: человек — выше звезд!

То снежиночки из набежавшего облака: падали; видел: под ботиком ползают, как бриллиантовые насекомые.

. . . .

Отдал ей руку:

«Ведите меня: к своей матери...»

И — слова матери вспомнились: ей:

— «Нет любее, когда люди людям становятся любы!»

Пырснь радуги от зарастающей звездами муфты; и — буйной походкой пошла —

— от восторга!

И опередила себя самое — оттого, что старалась со всем, что ни есть, соступать по снежку, к звездам выбросив личико, — камень сквозной, турмалин розоватый!

УПИСЫВАЛ МАННУЮ КАШУ

Передняя тесная — в полутенях; и — ударилось в ухо:

— «Так чч - то́!?»

Дело ясное, что — Никанор.

И в цветочки, — голубенький с аленьким, всею клокастою кучею меха профессор просунулся, точно медведь, появляясь на кре-

мовом фоне обой, чтоб разглядывать, как Никанор, метнув ногу на лапочки желтого кресла, рукой захвативши колено заплатанное, отчеканивал: в пар самоварный:

— «Мы — с братом, Иваном!»

Заметил клокастую шубу; и — ногу спустил; побежал из-за столика, от самоварного пара, в котором, блистая огромным очком, поднялась небольшого росточку старушка в капоте коричневом:

— «Фимочка, — ты?»

Но увидев ком меха, она уронила вязанье.

— «Брат» — с пренебрежением и недовольством воскликнул взапых Никанор.

— «А, так вот это кто?»

И старушка всплеснула руками; и тень на обоях всплеснула руками.

А «Фима», состегивая с себя шубку, заметила, как торопился профессор свалить кучу меха на стул, чтобы, вглядчиво дернув усами, просунуться носом из двери и в кремовом фоне клокаститься белыми мшищами; нос, как верблюд бурдюки, потащил два очка.

Зашатавшись лопаткой, щатая предметы, с тяжелым притопом пошел подмаршевывать он, не сгибая колен, как под музыку; чашки дрезжали; и бюстик Тургенева, прыгнув, упал.

— «Домна - с, — в корне взять» — шопотом осведомлялся об отчестве — «Львовна-с?»

И видел: капота белясые лапочки, кресла лиловые лапочки.

— «Добро пожаловать: Фимочкин друг, — значит мой» — протянулась старушка руками, которые... взвесились... в воздух.

Профессор, не взявши руки, отвернулся и выпятил грудь, точно тачку тащил он на гору: расширивши ноздри, расставив усы и усами чеснув седину, бросил в сторону нос, угрожающим ставший; и — рявкнул огромным отчетливым чохом!

И стал — добрый нос, выразительный нос; и усы прододобрели; и — руку, сломавшись, потряс.

— «Ты бы, брат, осторожнее: стену пробьешь» — Никанор отозвался на чох.

В юмористике слышались: боль и тревога.

— «Садитесь же».

Он, головой сев в лопатки, зашлепнулся в кресло; затрескал крахмалом; готовился слушать старушку: с большим удовольствием, носом пыхтя, как динамомашиной, старушку разглядывал; и — дело ясное, — розовая-с.

Точно сладкую манную кашу уписывал он.

СТОГОЛОВОЕ ЧУДИЩЕ: ЭА

Малютка вокруг невесомою поступью топала и забыстрела глазами и зубками.

— «Чай?»

— «Подвари».

— «Никанору Иванычу спичек?»

— «Морского печенья, профессор» — смеялась без смеха: умела затеивать с ним при других свои детские игры.

Профессор, поставив два пальца свои под очки, приподнявши очки, пятил нос на старушку с достоинством, но с любопытством, казавшимся жадным, и пальцами бороду греб от усилия сообразить, как с ней быть, чем занять, и каким каламбуром упестать: серебряная-с, — говоря рационально.

Она приставала:

— «Что ж, — переезжаете?»

Брат Никанор невзначай головой от него заслонил любопытную очень-с, старушку; профессор, хватаясь за кресло, из кресла полез головой, чтобы лучше увидеть и с грохотом спрятаться: губы жует-с!

Пристает!

— «Поскорее бы!»

А Никанор, закусивши усы, не ответил:

— «Так, эдак!»

Клокастым ершом на стене перепрыгивал.

Серафима уставилась в коврик: зелененький с синенькими — в шашечку:

— «Вы успокойтесь, мамуся: когда будет нужно, — поедем».

Профессор с разгрохом поднялся и носом бежал освидетельствовать:

— «Что такое-с».

— «Да клетка: скворец».

Попытался увидеть скворца: занавешена клетка.

— «Что Тителевы, что Леоночка?»

На Серафиму очком Никанор: с острой искоркой.

— «Радуются переезду небось?»

Никанор, закусивши бородку, выискивал что-то:

— «У них» — увидавши коробочку спичек, зацапал ее — «своя жизнь».

Подавился:

— «Они» — губы сухо и скорбно зажались — «себе... у себя... на своем».

И вскочил он:

— «А мы» — и прошелся, — колючий, очкастый и вскипчивый — «сами с усами!»

«И будете» — не унималась старушка — «в согласии добром, ладком, да рядком поживать, назидая друг друга».

И руки сложила и вся расплывалась в цветочках, которые закувыркались на кремовом фоне: голубенький с аленьким; а Мелитиша вздыхала согласно за дверью: на дверь.

Тут профессор ответствовал в добром согласии с Домною Львовною:

— «Жрец, — говоря рационально — халдеец, Берos, — нам свидетельствует!»

И с лукавой улыбкою:

— «Рыбоголовое чудище, Эа, — из темной пучины явилось халдеям: и — ну-с: Эа...»

Пальцы свои запустил в подбородок; и — ждал, их оглядывая; и старушка, и брат с Серафимой, и более всех Мелитиша вздыхавшая, — ждали:

— «Так — вот-с: Эа выучило землемерию и геометрии древних; и, стало быть — нас».

— «Брат, Иван» — Никанор, как морской конек дергался — «с Мафусаиловой меркой подходит к житейским вопросам».

Очками добрейше, нежнейше блеснул; тут же сделал он вид, что — начхать; и пролысый, проседый метался, вторую коробочку спичек утибривши.

И раздавался взволнованный «ох» Мелитиши взволнованной:

— «Рыбоголовое чудище!»

СПИЧКИ-ТО

— «Спички-то, спички — отдайте: мои!» — потянулась рукой Домна Львовна за спичками.

И не увидели, как, закачавшись лопаткой, профессор на цыпочках крался, как тихий зефирик, способный взреветь: нос — пырком; нос вкатился — дрожать под носами.

Как часики — тики-так — глазик!

Усы, как бандиты, готовились броситься в бой:

— «Что-с?»

— «Как-с, как-с?»
Никанор, ставши вза́бочень, на́бок скосивши головку, рукою в карман: он коробочку, желтую, выбросил:
— «Нет, — не моя».
Нос профессора, точно за мухой, взвился.
И — «Эхма-с! — точно рев отдаленного мамонта.
Тут из кармана на столик просыпалось десять коробочек.
— «Как-с!»
Точно шашкой, взлетевшей из ножен, профессор, подпрыгнувший носом, рубнул в потолок:
— «Таскать спички, — неррря́-ше-ство!»
А Никанор не сдавался, в карманы руками всучась.
— «Пфф-пфф-пфф!»
И с амбицией в кресло — штиблет; своим носиком, точно рапирою, он из-за кресельной спинки на брата наставился:
— «Чч-то́? Я из принципа делаю это: пфф!»
Тотчас, отъюркивая, бросил по́д ноги кресло, в которое брат опрокинулся — носом, лицом, бородой, кулаками.
— «Столетья понадобились», — бил по креслу профессор, — «чтоб навык сложился, а ты, — дело ясное!»
И выходило, что брат Никанор, нарушающий навыки, — просто отпетый мошенник.
Брат — серенькой, рябенькой фалдой вильнув, галопировал, быстро несясь вкруг стола; за ним брат, с — «нет-с, позвольте-с — я вам докажу-с», — точно шкаф, опрокинутый с лестницы, рушился; загрохотали предметы; упала, как скошенная, Домна Львовна в лиловые лапки, в пары самоварные; в клетке проснулася бурная жизнь; что-то цокало, пырскало и верещало там: скворушка! И Мелитиша отшлепала прочь ужаснувшимся валенком.
Пискнув, как мышь, и присев, Серафима его за пиджак двумя лапками сцапала и потащила обратно, как шкаф подымаемый; он же, от брата отстав, с удивлением тер подбородок, не зная, как быть, и катаясь глазиком.
— «Вы что хотели сказать?» — Серафима за локоть вела Никанора из комнаты, видя, что он, бросив форсы, дрожит подбородком, пиджак перестегивая; можно б лопнуть от хохота, видя сиганье его.
Не смеялась она: не казалось смешным в нем смешнейшее; наоборот, над профессором — громко смеялась, как все, как он сам; там — избыток; тут — мука, изъян.
. . . .

Надуваясь усами, зашлепнулся в кресло профессор, как пес, у которого отняли тетерева; он дрожал бородой и рукой, не внимая старушке и все порываясь, косяся на дверь, — доканать, доказать:
— «Предрассудки — не навыки!»
Вдруг, оборвав Домну Львовну, он ринулся в дверь, и взлетев кулаками, вскричал в пустоте коридорика:
— «Ты приучайся, голубчик, — к порядку, а — то...»
И вернулся к старушке: глазок беспокоился; плечи прижались к ушам: одно выше другого; крахмалы трещали, давимые челюстью.
Зайцем казался — не псом.
Домна Львовна его наставляла:
— «Премудрость — союз...»
— «Да-с!»
— «Любви...»
— «Вот как-с?»
— «С истиной...»
Отвоевал крупный нос; задышали усы откровенною нежностью; так заблаженствовал с тихой старушкою он.
. . . .
Никанор проводил до лечебницы, вспомнив традиции: с братом, Иваном, бывало, они засигают в столовой по кругу — часов эдак пять; а прислуга, пришедшая стол накрывать, их погонит: сигают они в кабинетик —
— сигать в кабинетике.
С ними шарчил, скосив шаг и толкая плечом засигавшего брата на тумбы.

ВСЕ К ЛУЧШЕМУ

Став, забыстрела невидным движеньем; казалось, что с места слетит; и докладывала, и довязывала; и расставила ноги, спиной улыбаясь; и солнечно вспыхивала:
— «Все, все к лучшему!»
Мимо неслась допаковывать что-то.
— «Ну, все!»
И стоял Галзаков; и от солнца осолнечный нос заворачивал.
Солнце бросало на светлые стены скрещенные тени ветвей; и профессор, схватясь за часы, у окошка секунды считал; за окошком ветвистый блестняк отрясал золотинки.

Профессор на блеск показал:
— «Свет со тьмою играет!»
— «Эк!»
— «Старый да малый» — слезу отирал Галзаков.
— «Да, не всýтерпь без них!»
И она на него повернулась; иснова глаза — за окно, где тенеющим инеем дерево веяло; веяла веером ветвь; гнулся куст белоусый; и лопалось солнце, — стеклянное солнце, слезящееся белым блеском.
Отпрыгнула, точно кузнечик.
— «Шаги...»
В коридор.
И увидела: двое: —

— летит Никанор, завилявши протертым пальтишком; с плеча — шоколадного цвета слетающий шарф.
Он кивочки раздаривает.
Следом —

— с натиском, с вертким притопом двух валенок, выставив бороду, спрятав лицо за очки черносиние — в полушубенке, залапив шапчонку, —

— за ним чешет —

. . . . — Ти́телев!

Тителев, — вытянув шею и щеки втянув, точно сетер на стойке, стал гибкою выдержкой мускулов, перемуштрованных в нервы, в пороге, как вкопанный, выпыхнув дымом из трубки, которую крепко затиснул в зубах.
И взусатясь, он спину согнул пред профессором:
— «Терентий Ти́телев: к вашим услугам!»
Профессор присел перед ним, руки выбросив и сотрясая хрустальный графин; и графин, на стене отразясь, живортутной игрой передрызнулся, точно летучим алфавитом; и проиграли морщинки на лбу, —

— как далекий военный оркестр на параде —

— зарю...

Сухо шаркнул:
— «Коробкин!»
— «К нам?»
— «Да-с!»
— «Треблагое решение».
— «Да-с!»
Как клыком отделившимся, усом моргнул; и сел в кресло, — к окошку; и ждал, когда тронутся.
Ти́телев ждал терпеливо в пороге у солнечнотенной стены,

точно в пятнах янтарного мрамора, на чемоданы покашиваясь, ожидая, когда что схватить; Серафиме казалось, что — крадется; глазом ее изучал: она юркий овалик лилового цвета.
Он статью ее любовался, когда, надевая мехастую шубку, царапаясь в воздухе носиком и отрясая браслетку, которую ясненький лучик на ручке ее застегнул, она топнула ножкой себе, не ему, — на ей все обнаживший в нем взгляд.
Но никто не заметил: ни легкого топа, ни легкого взгляда за окна, где наст становился сплошною блесной; в пятнах ясных, как в яблоках, зыбились стены: от зыби за окнами.
Трубочный дым разлетался сапфирно и со́лнечно.
Уж Никанор, ухватив чемодан, в дверь торпедою вылетел: грудка — колесиком; красненький носик — торчком; блеск очков — паровозики.
Ти́телев, ловко рукою другой чемодан захвативши, глазами блеснувши —

— понесся —

— в светлейшую даль коридора: по солнечным зайчикам.
Там, в отдалении, грустно не смел к ним приблизиться Тер-Препопанц, потому что боялся: в угле коридора — сидел, как в дыре, Николай Николаевич, точно тарантул, готовый подбросить под солнце свое восьмилапое брюхо.

. . . .

Профессор в клокастую шубу полез.
Серафима не двинулась, но отвернулась; взглянула в окно, как там все золотеет; и скоро звездою повиснет свободное небо!
Глаза призакрылись, закрытые ручкою:
— «Сядем!»
В глазах, опускаемых в муфту, — покой.
— «Ну?»
И — встали.
И — бухнуло дверью подъездною прошлое.
— «Тронемся!»
Он нахлобучил колпак; и — заплатой пошел, припадая на правую ногу, по солнечным зайчикам, по саламандровым вспыхам; два ботика шаркало, как по света́м.
Серафима же белкой, размахиваясь локоточками, вправо и влево, — бежком, мимо Тер-Препопанца, стоявшего с цветиком, но не посмевшего цветик вручить: на подъезд.
О, какой светозарный мороз!

ГЕРАКЛИТ

Око выпило солнце, как чарку вина; запылало, как пламенем, небо; он встал над подъездом, сребрясь бородой в светозарный мороз, разметнувшись полой меховой, приседая и падая зá-спину, носом кидаяся в небо.

Он видел: в зените стоит васильковое, косное небо; под ним — земной шар — круто выгнутая в бесконечность дуга, на вершине которой —

— он встал.

Он почувствовал в это мгновенье: линейное время, история, круто ломаясь в дуге, становилось — спиральное время: и все понеслось кувырком: все проекции будущего опрокинулись в прямолинейное прошлое — отсветом прошлого: прошлое тронулось, перегоняя себя, под углом, равным, — ясное дело, — смещению замкнутой орбиты третьего принципа — Кепплера!

Понял: отныне — никто ничего не поймет: кончен век Аристотеля ясного.

Встал — Гераклит!

Круть — и сзади, и спереди: о, как прекрасна вселенная, как темен свет!

Пятна черные!

Он поглядел в мир ветвей, белых инеев, ставших сквозным одуванчиком, — сквозь одуванное, в синие воздухи, через вселенную.

И — удивился он сеточке солнечной: на рукаве.

Борода заходила, взвеваяся белыми гребнями; бросил свои разведенные руки ладонями вверх — Галзакову, стоявшему рядом, ронявшему слезы:

— «Не всýтерпь!»

— «Не плачь, Николай!»

Рукавом пригласив его в синие воздухи, острым концом колпака махнул в ботик, как кланяясь —

— трупу упавшего мира!

Увидел ступень.

И —

— он —

— медленно стал опускаться, лицо запахнув и полами ступени обметывая.

И колпак теневой перед ним из-под ног побежал, каблуками отброшенный, как многомерного мира трехмерные мороки; громко, блистательно брякая, ерзали ярко морозные раковины; серебрянцем

заляпало солнце на блещенский снег; и — черней темноты: тени синие.

Медленно шел под деревьями — в черные бездны, сиявшие светами, котиковым колпаком из-за звезд: триллионами звезд; и всклокоченно белое облако черной заплатою срезав, на розовом фоне забора означился.

Вышел туда, —

— где —

— все дернулось: белым сияющим бешенством.

КРУТО ЛОМАЕТСЯ ОСЬ

Видел, как Серафима, уйдя в воротник, став двуглазкой, ушастою шапкой махаяся, расхлопоталась—в опаловый пар.

— «А ремни-то?»

— «Кардонка-то!»

Тут же ее подхватив, Никанор уронил чемоданчик, трезвоня очками; прохожий, разинувши рот, обернулся; и долго следил: кто такие; а Ти́телев молча взмигнул на извозчиков; пальцем, как шилом, хватил:

— «Этот — вам... Этот — нам...»

Как стекло,— выпорх окон, крестов колоколенных, шпицев.

С задзекавшим смехом под локоть подсаживал Ти́телев.

— «Эк!»

— «Осторожнее».

— «Ломкие скóльзи!

И полость застегивал:

— «Ну-те — пошел!»

Бородой подмахнул на хрусталь голубых леденцов, от которых... —

— глаза закрывайте!

Профессор прочавкал усами:

— «Какой смышлеватый мужчина!»

— И вновь показалось: узнал.

Как —

— сияло из далей резное барокко с зеленого, склонного неба, где воздух — настой из квадратов, сияющих окнами.

Сел, чтоб из санок малютку выдавливать; радовались волосята ее стародавнему солнцу; качалась так мягко в качавшихся саночках, вздернувши носик, нежнея лиловыми скулами.

Просто, уютно качаться с ней в саночках!

— «Будет, что будет!»

Усы пошли вза́игры.

. . . .

Синие, желтые, красные домики, как не глядят: белоглазы.

Но синими льдами повесился жолоб; алмазные бревна; как зеркало, — камень; зеленый забор колет глаз снегозубой дрызгою.

Подъятая лапа горит мрачно розовым пламенем.

Солнце, —

— метающий синие выпыхи,
воздух взрезающий ободом —
— диск —
— краснорозово

выпуклилось, повалясь там за крыши; там даль холодна и плоска.

Там багровая катится вниз голова: в облака заревные.

Как зарчиво розов косяк; белый дом — уже кремовый; там солносяды открылись.

Река, прорубь: си́недь — с засыпкой борзеющих блесков, с пожаром заречных земель.

Полулунок несется.

И звездочка —

— первая, —
— нудится —
— лучиком синим: скатиться над домиком.

— «Стой: здесь!»

— «Приехали?»





ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ПРОХОД

ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ ЯХОНТОВ

Вот таронтою к саням продробил Никанор, принимаясь высаживать в снег Серафиму, которая, точно себя перестроив, с осанкою гордою, с тихим достоинством, павою вышла: и скрытно косилась на Ти́телева, трясоплясом слетевшего: с хитрой улыбкой.

Но тотчас, вобравши движения, встал, преклоняясь широким плечом; и с упором рукою опущенной жест пригласительный сделал:

— «Добро вам пожаловать к нам!»

А профессор споткнулся над ним, потому что морщины на лбу, точно стая снимавшихся крыльями птиц, удивились, спеша разразиться открытием:

— «Где я вас видел?»

Утратив усы в бороде и морщины свои потеряв, — он прошел под воротами, сахарным хрустом, на двор: точно рыбьей, серебряною чешуею уплющился снег.

Баба-Агния снегом тюфяк выбивала с крыльца: никого; Никанор с Серафимою переблеснулся:

— «Не встретила!»

За чемоданом понес чемодан: к флигелечку.

Терентий же Титович, в шапке-рысине, в своей поколенной шубенке шажисто щарчил: руки — зá-спину, а бородою — под небо.

Показывал:

— «Вот — полюбуйтесь!»

— «Какие просторы!»

— «Владения наши: владения ваши...»

И под голубою, прозрачной сосулиной встал; и затейливо, замысловато свои рассыпал не слова,— мелочишки; так тигр в тростнике для охотника след оставляет—нарочный, ведя его к гибели.

Ей показалось: хватает глазами их речи без слов этот хитрый кощец; нахватав, как мышат, — унесет все: разглядывать!

— «Вот!»

И — увидели: бочка в снегу — брызгомет в ожерелье из яхонтов.

— «Вот!»

Среброперый занос, точно с ликом зеркальным, загривиной, точно алмазным кокошником, клонится.

— «Немке, царице — не снились такие богатства».

И чуть было в спину не дернулся: радостным рывом двух рук: тотчас в зáдержь, как в сбрую, облекся:

— «Ледник!»

Он раскрылся дырою: и — ражая морда, Мардарий Муфлончик, оттуда вихрасто просунулась усом оранжевым.

— «Что он там делает?» — затрепетал Никанор: не живет же Мардарий в дыре ледниковой?

Терентий же Титыч профессору:

— «Вот — познакомьтесь: приятель, Мардарий!»

— «Ваш слушатель бывший» — и радостным рывом сломался поклоном Мардарий, мохрами метнув из дыры; и — опять провалился в дыре:

— «За капустой кочанной пришел».

И опять Серафима заметила радостный рыв, убиваемый задержью.

— «Любит профессора: стало быть,— знал его раньше?»

И все в ней рванулось за это к нему.

. . . .

А профессор на взгорбок взошел — разглядеть под собою: домки и дворки белогорбые.

Точно дворцы —

— мелкогранные серьги с заборов слезятся:
дрожат серебророзово.

Животечные непереносные космосы!



Прорубь; река; лед ломают: парок.

— «В прорубях рыба стаями ходит под блесками».

Вечером там — золотарни, блисталища; и хризолитовая серебе́рнь там — в полудень.

Профессор, коленки расставив вперед, кучей меха — назад, спрятав руки свои в рукава меховые и их поджимая к микитке, серебряною бородой рисовался отчетливо в зеленоватом, небесном сиянии, точно взметаясь в пространстве: под вспыхнувшее, краснохохлое облако, павшее боком лиловым; и дышит в него дымогаром вишневым: печная труба; кровля, с искрой, коньком стала в вогнутый купол, где в небе разъятое небо, заприэорочив из-за неба, — и третье, далекое, небо являя, — брызгуньей звездою качается: нудится синеньким усиком капнуть — в сожженное блеском и болями око.

— «Свет — светит!»

Как звезды, — в ушах; и как чуткие уши, откроет свои звездоверты глазастым согласием — небо: ужо́!

Он ей даль показал:

— «В свете — свет!»

И усами вздохнул, точно ветер деревьями:

— «Как светоносна: материя!»

Ти́телев палец свой выбросил:

— «Глядя в открытое небо, себя ощущаю я пяткой в земле: против неба».

— «В открытое небо — открытее видишь себя» — Серафима головкой качнула.

Но Ти́телев выбросил палец: Икавшеву.

— «В небо пойдем, мужичок, — квасу выпить? Идемте, профессор», — профессору — «в дом!»

— «В дом?» — профессор. — «Идем».

Потащили профессора; и за профессором шла — под звездой: Серафима.

Оранжевый флигель, от синего холоду серосиреневый, выблизил легкие, синии линии в легком, сквозном, фиолетовом свете.

ЦЕЦЕРКО

Вошли.

В алых лапах, в лимонных квадратах, усыпанных белой ромашкою, кубовый, темный диван; и такая же алолимонная радость на

кубовом ситчике кресел, как бы растворяемых в кубовочерных обоях, —

—не комнаты: космосы; —

—в кубовочерных обоях едва выступают павлиньи, златистовишневые, с искрою, перья, как перья далеких кометных хвостов.

Пестроперою тканью покрыта постель; и горит, как фонарики яркие, многоочитая, чистая ткань занавесочек: в блеск электричества; белая скатерть на столике; фыркает пар самоварный; печенья, конфеты, сыр, булочки; и репродукции с —

— Греко, Карпаччио, и Микель-Анджело светлою рамой светлеют со стен.

— «Вот сюрприз!»

— «Ах!»

— «Игрушка, — не комната!»

— «Все — Леонора Леоновна» — с кресла вскочил Никанор.

Леоноры Леоновны — нет.

. . . .

И профессор разахался.

Вдруг оборвался.

Став в гордую позу и руку подняв, но глаза опустив в чубучок, с глаз сорвавши очки черносиние, на́-ногу павши подтопом и точно фехтуяся желчью волос, подаваемых, точно с тарелки, с ладони под зубы профессора, ярко крича, — ему Ти́телев бросил сквозь зубы:

— «Сезам, — отворись!»

Было видно, что он исплеснулся в таком-то испанском, ему, вероятно, не свойственном жесте, и все ж, вероятно, его двойнику где-то свойственном жесте и в чем-то знакомом профессору, так как профессор, выпучивая свое око, и точно оскаляся, ахнув без аха, присел под ладонью.

Ладонями — как по коленкам зашлепает!

Друг перед другом, присев, замирали они, точно два петуха, собираясь носами в носы закидаться; казалось, что будет скакание друг перед другом сейчас петухов разъерошенных.

Но —

— «ха-ха-ха» — скалил рот до ушей, приседая до полу профессор.



И — руки в бока́, плечом — в поднебесье, закинув над ним свою шерсткую, бразилианскую бороду —

— Ти́телев!

— «Это же...»

Ти́телев вышарчил:

— «Пере...»

— «Цецерко!» — профессор рот рвал.

— «Расс»: — и Ти́телев вскачь перед ним: с подлетаньем ноги — носком вверх...

— «Рас-пу-ки-ер-ко!?!» — бил по коленям профессор.

И писк Серафимы, и кряк Никанора Иваныча.

— «Киерко?»

А —

— Николай Николаевич Киерко —

— с тем же испанским аллюром пред всеми пред ними, пройдясь — впереве́рт, вперещо́лк, впересви́ст, — замер в позе испанского гранда, как вкопанный.

Выбросив руки и выбросив бороды с рыком и с ревом — за плечи друг другу — сжимали друг друга в объятьях, в объятьях трясясь, как в борьбе; но руками обеими руки профессора скинувши с плеч, Николай Николаевич Киерко, руки руками схватил; —

и —

— направо,

— налево,

— направо —

— они—

—бородами, усами, носами,
губами —

— отчмокались громко!

И гракал, и гавкал руками махающий брат Никанор; приседая, дугой выгибаясь и носик в коленях щемя, Серафима с отчаянным писком свалилась в диван, башмачишками дергаясь.

Стул откатился; и — сдернулась скатерть; и — вспых: Никанор папиросу свою уронил на бумагу; и —

— красное пламя пожара вчернило их тени в мерцавшие стены.

Но, сгаснувши, чернолиловый морщочек, отвеялся.

ТОЧНО ФОНАРИКИ

Комната —

— в ярких, опрятно кричащих, приятно морочащих пятнах, —

— малиновых,

— палевых;—

— точно фонарики: в кубовочерные фоны дрожат, драгоценно играя!

Нет, с радости, с холоду, с блеску, — малютка, как пьяная.

А Никанору высказывает все такие простые и трезвые вещи:

— «Все — к лучшему!»

И Никанор, встав на цыпочки:

— «Эдак, так!»
Нос протянувши к носам, озабоченно юркает он:
— «Видно будет: авось образуется!..»
— «Что?»
Серафима — мальчуга какой-то: привздернет с веселым прищуром смешное личишко свое: как по клавишам, пальцы порхают ее пред предметиками: расставляет предметики.
И — наставляет предметики: здесь, — в этом месте, — любитесь и множьтесь!

С прыжками, с гримасками и с перевертами моль на ходу — «щелк-пощёлк»; на скамеечку — «прыг», чтобы яркую шторку поправить.

Мяукает песенку.
Видит: профессор, сев в кресло, сигает усами: пред ним Николай Николаевич Киерко, сгорбясь, взусатясь, нащелкивает лихо в линии синемалиновых ситчиков:
— «Старый товарищ, — как встретились: а?»
Вот — растиснулись пальцы; в какие то задние мысли уходит — за темные фоны обой, —

— на которых вишневые перья, как перья запевших, далеких, кометных хвостов, угрожают вселенной: космической гибелью.

«Старый товарищ» трехрогой космой — вразодрáи, усами — в лукавые зáигры, с видом таким приседает, как будто с большим удовольствием сладкую манную кашу уписывает, потопатывая сапожищем; на цоки и дзеки икливенького, белорусского говора.
Как же-с!
Бывало, Пукиерко этот придёт; и — висит прибаутка из дыма, смешная, —

— уютная, —

— жуткая!

Киерко ж — локтем в колено:
— «А кто бы мог думать, что эдак все кончится?»
Клином волос — в нос.
Ему Серафима, затопавши ножкой:
— «Нельзя так!»
Мотает головкой.
Профессор мотает запрыгавшим задом:
— «Какой, чорт дери, этот самый Цецерко хитряга!»
Блаженствует носом с Цецеркой-Пукиеркой.

— «Очень забавная штука — я?» — Киерко!
Тут Серафима — на помощь к нему: плутовато похлопать глазенками и шутовато скорячиться:
— «Вы» — точно хочет сказать она видом — «в какие-то игры пускаетесь? Ну, — я готова: в разбойники?.. Что ж?»
— «Вот смелачка какая!» — ей Киерко.
Трубкой — в профессора: меряет он смышлеватою бровью своею какое-то, что-то: свое:
— «Эка!»
Пальцами пряжку подтяжки награнивает.
Ярко, жарко, —

— из черного морока угол, как уголь пылающий, выбросил там этажерку!

Повизгивая, мимо них, с поцелующим взором ребенка, по синеньким ситчикам — в кухню: поднос — на ладонь; локоть — в талию; носиком водит; и песню мурлыкает.
И изумрудные складочки, пырская искрой, плескуче несутся, за ней завиваясь.

ДОН ПЕДРО

А комната бросила лаи: профессор, толкаясь лопаткой, зацапывает на ходу карандашики, щипчики, ложечки, чтобы метать их над носом:
— «А что, — в корне взять, — ты, коли тебя — в корне взять?»
Киерко, в лысинку ловко всадив тюбетейку, с притопом шарчит, переблескивая, пятя желтую бороду: плечи — торчмя; руки — зá-спину.
— «Что я такое себе?»
Руки — врозь; головою махает в носки, будто видом бросает:
— «Бери, каков есмь».
«Пох» — из трубочки:
— «Спрашивал: «Киерко, вы — социалист?» А профессорша думала: в «Искре» пишу. И — писал-с: прошу жаловать!»
Трубкой затиснутой он докраснá закипает; и кубовобелесоватые хлопья бросает косматыми лапами, напоминая лицом императора —

— бразилианского, —

— Педро!

— «Что ж ты, Никлалáич, — войну отрицаешь?»

Профессор, как пес, с угрожающим грохом за ним вытопатывает.
— «Да и я-с..., говоря рационально..., к тому же пришел».
Николай Николаевич взмигивает:
— «Отрицаю я — все!»
И бросается голубоватым отливом коротенькой курточки-спенсера —
— из за узориков в тени.
Профессор — за ним:
— «Говоря рационально, — правительство...»
Брат, —
— Никанор, —
— как морской конек, в ярко-лимонных квадратиках, в аленьких лапочках синего ситчика, сигму завинчивая, между ними — бочком, тишменьком:
— «Эдак-так: гниль правительство!»
Легкими скоками —
— э́дак-так, э́дак-так, —
— вза́верть: от них!
Перестегиват пиджачок.
Ярко-красный жилет из-за тени бросается в свет, точно тигр на тапира.
И — цок:
— «Гнилотворни — правительства, всякие: были и есть!»
А их тени на пестрых обоях летят друг сквозь друга.
Смешно Серафиме!
Мяукая, и расплеснув за собою зеленые пряди, как веер, сиреневосерою шалью, которую венецианскою шапочкою закрутила она на головке, из кухоньки выбежала на — шарчащих, взъерошенных, лающих, трех мужиков.
И ей весело пырскают в ноги от пестрого коврика алые брызни азалий и синие дрызни зигзагов —
— игольчатых, кольчатых,
— как —
— перещелк колокольчиков.

А ЭНТРОПИЯ?

— «Трудов!»
— «Э... э...»
— «Равенство».

— «Э» — иготало: в бряк «брата» и в рявки профессора:
— «Нет, брат, — шалишь, брат: системы трудов не построишь на эквивалентах!»
В лиловые лапки узориков ставила: одеколон, валерьяновы капли.
И — лаяло:
— «Только-с в поправочном, — ясное дело, — коэффициенте: к валентности».
— «В несправедливости, — что ли? Э-э-э!» — на черной завесе, пестримой бирюзеньким крестиком, брякало: брюками дымного цвета.
Под тумбочку — (тумбочка в кубовых кубиках) — туфли!
На креслице — цвета расцветного переплетение веток — халат!
— «Разрезалку» — пролаяло.
— «Вот разрезалка!»
Вложила в ладонь; и — подумала:
— «Ну, разговор, — на часы!»
А профессор, схватив разрезалку, кидался на красные крапы ей, точно мечом.
Куда — борную?
И... где... —
— уборная?
— «Жизнь» — раздавалось из светлых колечек.
— «Слова-с!»
— «Не скелет рычагов, говоря рационально»; — лупил разрезалкой себе по ладони профессор, шарча от стены до стены — «жизнь — в толкающем мускуле, в силе химической».
С силой толкался.
— «А не в плечевом рычаге, — эдак-так» — Никанор заюрчил меж носами спиралью свиваемой.
— «Ты не мешай, — в корне!»
— «Мненье имею и я» — улепетывал в ряби и рдянь брат от брата, откуда шарчил (руки — за́-спину) красный жилет из-под дымной завесы, в которой, как дальними пачками выстрелов, горлило горло:
— «Э... э...»
Голова закружилась: и пырсни, и пестри, и порх Никанора, и поханье трубки.
Как белочка, беглым бежком, с перевертом: рукой теневой — по теням, по носам теневым и по кубовым кубикам; переставляла предметы средь желтых горошиков, карих колечек, ковровых кругов!
И просила глазами Терентия Титыча Киерко (иль — Николай Николаича) прекратить этот спор; даже: с юным задором к нему

приступив, перетаптывалась, и смешная, и маленькая, вздернув круглую мордочку.

Где там?

В сердцах носом — в угол: казалось, что ситцы сорвет; и морщинки, как рожки, наставились с лобика в этот отчаянный лай:

— «Равномерность трудов!»

— «Параллельность равно отстоящих и равных друг другу движений!»

— «Инерция?»

— «Ну-те-с: итог?»

— «Энтропия!»

— «А Киерко цели имеет какие-то!»

Склоном лица с отворотом на руку, поставленную острым локтем на спинку, она замерла, как без чувств: в складки платья зеленого:

— «Господи!»

ОБОВ-РАГАХ РЯВКАЛ

— «Жизнь...» — с кулаками.

— «Лишь там...» — по носам.

— «Где...» — за носом летал разрезалкой — «комплекс!»

— «Не валентность» — и за разрезалкой ноги бежали.

— «Она — в перекрестном» — крест-на́крест рубил он.

— «А не в равномерном движеньи колес, параллельно разложенных!» — лаял из пламенных лап.

Как вертящийся гиппопотам, затолкался плечом, прирастающим к уху, —

— в «так чч-то́!»

— «Не мешай!»

Завертелись на черненьком ситце лиловые кольца из кубовых кубиков, — пырснь, на которой, хохлом, всучив руки в карманы, и носом бросаясь на пятки свои, —

— Никанор —

— с пируэтцами фалды раскидывал; и — перекрикивал брата.

Но оба поперли: на Киерку!

Даже малютка присела, чтобы извизжаться: на Киерку!

— «Дзан» — пал стакан; «кок» — враскок!

— «Чорт!»

Глаза — в круговерт; в ротик — муха влетит.

— «Это — к благополучию» — Киерко.

Точно кузнец, ударяющий молотом в кузне, без грома пришлепывал валенком он.

. . . .

Но — схватился за грудь, чтоб ощупать конвертец: «открытие» прошелестело листками над сердцем!

Как сетер, сторожкую стойку держа, скривив рот, свой зевок подавивши, профессору выбросил спор он; разглядывал их из-за спора; ведь спор кружит голову; точно подкрадывался, притопатывая, вобрав голову в плечи, награнивая двумя пальцами в пряжку подтяжки небесного цвета, но вглядываясь из-за спора в свое мирозданье, в котором не ко мосы с перьями певших комет, а огромными космами бросил седой Химияклич под бременем болей и лет свои вопли:

— «Рабочему делу — рабочее дело!»

К окну: синероды открытые выпить; о, — как полулунок несется, как звездочка искрится!

Как басовым, тяготящим, глухим, укоризненным гудом, не солнечной орбитой —

— Обов-Рагах, Бретуканский, Богруни-Бобырь, Уртукуев, Исайя Иуй и Ассиррова-Пситова, Римма, —

— проря вкали в уши:

— «Что делаешь, — делай скорей!»

И припомнился вечер, когда Химияклич в Лозанну чесал наутек и когда невзначай лоб о ло́б с Никанором столкнулись они в коридоре, когда друг, товарищ, «Старик», — в его сердце, как в люльку младенца вложил: для рабочего дела «открытие» приобрести!

Оно выужено!

И когда б догадался «Старик», из-за бремени болей стенающий, — он усугубил стенания б, он разразился б глухим, проклинающим рявком:

— «Предатель!»

. . . .

Открытие — выудить! Но — добровольно: простроенным спором; он — интеллигент с компромиссами!

— «К делу!»

Из красных квадратов и лап, притопатывая, залихватским щелчком — бросил: в кубовый угол.

— «Постойте-с!»

Застопорил; вытянув шею:

— «Вы спорите же с механическим материализмом!»

Усы у профессора сделали:

— «Ась?»

— «Не́ по адресу!»

Замысловато словами забил:

— «Энтропия [1] — понятие не социальное!»

В синюю синь притопатывал валенком:

— «Ваша материя есть переменное разных условий, а вовсе не вещь!»

И предметы дрожали, а пятка не шлепала:

— «В качестве этом она есть — ничто же!»

Подбросились руки к небесного цвета подтяжкам:

— «Не ваша материя — наша материя».

Между разрывами дыма оскалился:

— «Наша — реальна: «в себе»; ваша — в зубы буржую идея».

Профессор боднулся усами:

— «Лоренц» [2].

— «Он — механик».

— «Максвелл».

— «То же самое...»

— «Прежде всего-с — мировые ученые-с!»

— «Не диалектики».

— «Факты науки, — позвольте-с!»

— «Без логики — нуль; ну-те; механицисты сидят на бобах, подаваемых идеалистами; с ними материя в прятки играет».

— «По-вашему нет энтропии?» — манжетками, как кастаньетами, щелкал из света на тьму Никанор.

Из расплещенных вееров Киерко голову — на́бок; а руки — разбросом:

— «Максвелл [2], ваш механик» — с поклоном хохочущим — «к чортовой матери слал энтропию».

Из кубовых дымов жилетом малиновым в рукоплескание красочных пятен он бросился:

---

[1] Числовое отношение, показывающее на рост рассеянья энергии.
[1] Лоренц, Максвелл — физики.

— «Демончик эдакий-де сортирует молекулы; теплая, — щелк: есть, попалась; холодная — в нуль абсолютный лупи; эдак демончик, с рожками, копит энергии где-то: буржуй!»

— «Это ж» — взлаял профессор — «простой парадокс!»

— «К парадоксу тогда прибегают, когда диалектики нет: просто гиль!»

Серафиме же весело: —

— демончик —

— с рожками!

И приседая на юбки, плеснувшие в пол, завизжала, забила ладошами в кольца лиловые; прыгала в юбке, летающей кругом на кубовых кубиках, в желтых пепешинах.

И Николай Николаевич ей:

— «Перевертыш какой!»

Там-то, там-то —

— Иван, брат, оттаскивал брата от Киерки; сам лез на Киерку; брат, Никанор, — не пускал; а сам — лез!

— «Диалектика?» — носом запрашивали возбужденные братья.

— «Закон диалектики» — рвался профессор — «утоплен под градом поправок, в которых утоплен закон».

— «Всякий?»

— «Всякий», — и носом показывал брату кулак:

— «Ты не суйся».

— «Не суйся ты сам».

Дорвались-таки, тыча носы свои в Киерку:

— «План в социализме хорош».

— «Плохо то, что...»

— «Он план...»

— «Не мешай...»

— «Брат, Иван, не дает говорить!»

— «Плохо то, что он план, изживаемый в декаллионах поправочных...»

— «Эдак, так-эдак...»

— «Коэф...

— «Фициентах!»

— «Коэ...»

— «Коэффи́...»

— «Не мешай: девятьсот переменных биений струи, а не среднее их — это дознано в гидродинамике!»

Киерко:

— «Эк, крикуны» — к Серафиме.

К профессору:

— «Логика строя понятий подобного рода, вселенная, ей конструированная, и жупелы, в ней содержащиеся с энтропией, валентностью, даже со всеми поправками и возраженьями к ним, — в круге диалектических, ну-с, антиномий».

— «А данность природы?»

— «Она обусловлена...»

— «Как-с? И — материя?»

— «Да-с: социальною данностью; молекулярная данность — вторая, не первая данность, что значит: зависимая в своем строе от диалектических, ну-те, законов; вне их она только надстройка механики — раз; буржуазии, этой механикой бьющей по рылу рабочего, — два-с; инженер, как слуга буржуазии, овладевающий стержнями, поршнями и рычагами, отлупит рабочего этой «материей»; дело — с концом, потому что его не отлупят за это: материей этой; вот он и кричит: «Нет материи». Идеалист! Растит брюхо! А тощий, голодный, рабочий, которого лупят материей, — тот ее знает, весьма: в синяках! Без материи, — ну-те-ка, — нашей, вашей, — действительной, вещной, «в себе», все уделы атомных материй стать — скрытою силой Ньютона: утибренной быть миллиардером; скрытые силы — проценты; иль сделаться мячиком демончика, — по Максвеллу; скандальчик такой совершается с механицизмом Декарта; оторванный от диалектики, он у Лоренцов под выстрелом Бора — в пустое ничто превратился; пора же понять, что в семнадцатом — ну-те — столетии механицизм метафизикою порождался для ради спасенья теизма и мистики от эмпиризма; попами он высижен; что бы ни думали вы, простаки, независимости у науки и нет, и не может быть!»

Вдруг к Серафиме:

— «Что скажет критический критик? Визжит? Разложиться успела: в чулане цветовню устроит».

Рукой на профессора:

— «Дюже кричит: его к чаю тащите!»

Как гиппопотама пыхтящего, — приволокли; усадили; обтерли усы; и он, став простецом длинноусым, весьма удивлялся: усами:

— «Прекрасная-с комната!»

Глазиком на Серафиму:

— «Мне каплю бы в глаз: плохо вижу».

Коснулась волос; и — погладила.

— «Эк, набалуете» — Киерко ей — «мне его».

Улыбнулась в колени себе:

— «Не беда: не балован».

— «И то!»

И профессора хлопнул в колено он:

— «Ум-то — жучище; силеночка, что комаренок; а сила-то, брат, закон ломит; и даже — поправки; твоя математика — шахи и маты тебе».

Серафима с досадой мотнула головкою; пальчик — на ротик; и лобиком сделала: «Ш у!»

— «Ну, — не буду, не буду!»

Она с наблюдательной скрытностью тискала скатерть, не глядя на них; ей казалось, что, чем он небрежней, чем более щедр на слова, тем скупее: хитрёш, не проронит полушки ненужного слова: все в дело; и — властвовать любит.

И тут, невзначай, как волосик, сняла с себя взгляд Никанора, который, как дева с бородкою, шел на нее из угла: —

— «Не люблю себе всякой добрятины: Ти́телевы, — так-и-все — злые, острые, преблагородные люди: так, эдак!»

И — вдруг:

— «Не подумайте, что я — так ч-ч-то: против дружбы, — так ч-ч-то — Николая Терентьича с братом Иваном, — Терентия, то есть!»

Она и не думала, но понимала, что здесь, в этом доме, магнитная сила, влекущая душу профессора к силе устоя; неведомой ей; и боялась она:

— «Вы-то чем озабочены?»

— «Я? Да — нисколько!»

Как кляча, пустившаяся курц-галопом, он дернулся: скокси:

— «Как видите, — я тут себе: околачиваюсь!»

Варвар, вандал, — окурок в цветочные ситцы с прожигом цветочка, вонзил; да и — ахнул: на Киерку.

У НИКОЛАЙ ИЛЬИЧА СТОРОЖЕНКО

— «Да ведь... же.. мы?»

Киерко в зубы всадил запылавшую трубочку:

— «Как же-с!»

— «Встречались?»

— «Встречались...»

Тянулся на ситчик за белой ромашкою, точно ее собираясь сорвать:

— «У... у...?»

В отсверк стенных переверченных вееров — Киерко выфукнул:
— «У Николай Ильича Стороженко».
Горошину желтую с креслица снял.
Никанору припомнилось, —

— как анекдотик подносит Владимир Евграфыч Ермилов, как Фриче, тогда еще юный, серьезнеет; бухает с бухнувшим Янжулом спором профессор Бугаев; сидит Самоквасов; —

— не лысенький Киерко с Дмитрием, ну-те Иванычем Курским: —

— покуривает!

— «А как здравствует Дмитрий Иванович?»
— «Дмитрий Иванович?»
Киерко — в цыпочки:
— «Дмитрий Иванович...»
Пал на носки и фермату носками поставил:
— «Да—здравствует!»
Перевернулся, пал в кресле, на локти, просунув профессору бороду в рот, увидавши, что широкоусый простец просит жуткой «Цецеркиной», шуточки:
— «В шахматы?»
— «Да-с!»
— «Со мной сядешь? Попрежнему?»
— «Да-с!»
Наблюдательность с учетверенною силою, как кодаками, нащелкивала свои снимки.
— «Простите, профессор, за «ты»: оно — с радости; сколько воды утекло; эк, — твоя борода-седина: бородастей раскольника».
— «Да-с!»
— «Эк, — моя».
Лихо вытянул клин бороды, своей собственной:
— «А? Бородой в люди вышел: косить ее можно».
— «Да-с!»
— «Желтою стала: из русой!»
— «Как-с?»
— «Перекисью водорода ее обработал».
— «Ну вот-с!»
— «Нелегальный: скрываюсь я».
— «Да-с!»
— «Оттого и в очках приходил».

Наблюдательность — щелкала; скрытые мысли: о люке, Лозанне, Леоночке, лаборатории.
— «В Питер поеду: события близятся».
И рукава перевертывал:
— «Эк, износились».
И зелень, и желчь.
— «Вы бы к Ти́телеву приучались, профессор: к Терентию Ти́телеву».
И отсел, и присел:
— «Зарубите себе на носу: «Николай Николаевич» — дернулись уши — в Лозанне живет».
Что тут скажешь? Профессор помалкивал.
— «Коли его» — лапой к горлу — «поймают...»
И лапа, сжав горло, взлетела над горлом, зажавшись в кулак:
— «Вот что» — глянули бельма — «с твоим «Николай Николаичем» сделают».
Черный до корня язык показал, искажаясь лицом, как с покойника снятою маской, в молчание, полное ужаса.
У Серафимы лицо пошло пятнами.
Мрачно чернел процарапанным шрамом профессор на пламенный лай лоскутов: с Никанором зачавкавшим.
В ржавые рыжины сипло залаял; и сжатый кулак почесав, зашагал с угрожающим грохотом, точно его, взвесив в воздухе, бросили в пол, разбивая подошвы.
А злая, разлапая баба, —

— тень, —

— бросилась: из-за угла.

Нос, как дуло орудия, выпалил в алые лапы:
— «Европу проткнули войной-с!»
— «Что же» — Киерко — «делать?»
— «С войною проткнуть нам Европу!»
— «Есть!»
Ти́телев точно взлетел на пружинах, а брат, Никанор, озабоченным очень очечком стрелял в Серафиму; и в синие ситчики густо молчали — все четверо.

ОН УТАЩИЛ «ПРОЗЕРПИНУ»

А Ти́телев, точно он весь разговор предыдущий простроил, припал бородою к профессору:

— «Поговорим?»

И взяв руку в подмышке, с профессором он, точно с барышней, им ангажированной, притопатывая, вертко вылетел в двери.

Захлопнулись — в нос Никанору, который пустился вдогонку, дрожа — бородою, плечами, руками, ногами и штаниками от вполне непредвиденного похищенья Плутоном —

— Психеи.

Верней — Прозерпины.

И он подсигнул: к Серафиме.

— «Вы что ж?» — строго он.

— «Я?»

Подпрыгнула: зеленоватые складки оправила:

— «Я?»

— «Да не уберегли, — эдак, так!»

Пальцем в дверь:

— «Иван, брат, сядет Ти́телеву на колени: на шею повесится: станет под дудку чужую плясать!»

Серафима испуганным кроликом хлопала глазками в двери: вот-вот — она прыгнет на дверь.

Никанор точно хины лизнул:

— «Тут гнут линию».

И показал он руками, как «гнут».

— «Эдак, так!»

С угрожающим шопотом вытянул шею под ухо:

— «В бараний рог гнут».

— «Кто, кого?»

Удивлялась она.

— «Николай эдак, Титович, Тит Николаич, — не то: я хотел сказать — Титыч Терентий, — Терентьевич».

Видно, дар речи утратил он: так волновался:

— «Нам надо — так, эдак; чтоб брат, — брат, Иван, — сидел дома; чтоб мы — эдак, так...»

Показал «эдак-так».

— «Неотлучно сидели при нем».

Показал, как сидят:

— «А то он» — обернулся на двери — «я знаю его хорошо: приставать будет с шахматами; будет рваться к Терентию Титовичу: и — сигать; неудобно: Мардарий, Цецос, — эдак, так».

И метался он взад и вперед: руки — на́-спину.

А Серафима сидела с квадратным, тяжелым, совсем некрасивым лицом от усилий понять, кто — Цецос, кто — Мардарий, какое значенье имеет явленье Цецоса для «б р а т а, И в а н а».

— «Они — у себя там: так, эдак; а мы — у себя: эдак, так».

И — вдруг он:

— «В доме — люк: и Цецос, и Мардарий приходят — проваливаться в этот люк; а выходят — из погреба: выкопали; и — прокопом проходят».

И стало ей жутко: казалось, что брат, Никанор, в этом месте попавший в капкан, сев в капкан, из капкана — капкану — капкан вырывает; и ей, Серафиме, союз воровской предлагает.

Она — соглашается, но — со стыдом.

Как — в старинную дружбу они собирались внести разделенье?

— «Притом Леонора Леоновна: так чч-то́, — «они» под забором сбегаются к ней; офицер и тот, черный».

Какой офицер, какой черный?

Молчала, уставясь на синие ситчики, жаром пылая и слушая, как за стеной забабахало, точно «о н и», перерушив предметы меж ними, обрушась друг в друга, друг друга обрушили, — в яростях дружбы!

Все ж — пребеспокойные синие ситчики: живчики, моли, горошины желтые; с пульсами: пульсами прыгают.

И две морщины, как рожки, из лобика выросшие, забодались на то, чего вовсе не знала, —

— что кралось, обхватывало, подбиралось, как злая, разлапая тень из-за шкафика, как баба, Агния, тяпавшая в коридорике; с этой старушкой она не осталась бы на́-ночь: вдвоем!

— «Тилили́к-тилили́к» — раздавалось.

Сверчок?

В смежной комнате бахали доски столовые.

Моль —

— в горицветных, пунцовеньких, пляшущих

палочках, —

— в плещущих, востреньких,

— пестреньких —

— лапах!

ПРОФЕССОР КОРОБКИН УСЕЛСЯ ОРЛОМ

— «Вот, — садитесь!»

С серявой стены, на которой линяли дешевые розаны, бохавший столик сорвав, его Ти́телев бросил профессору, перетолкавши профессора в угол, к стулишку:

— «Прошу».

И лицом забелев, а рукой продрожав, из-за пазухи вынул....

— «Вы видите?»

Серый и мятый конвертец.

— «Чей почерк?»

На драную скатерть локтями упал, забираясь ногой на постель, заходившую ржавыми ржаньями.

— «Мой» — протянулся профессор дрожащею лапой за листиками.

— «Чьи?» — но Ти́телев эту дрожащую лапу отвел.

— «Мои листики» — в перетабаченный воздух залаяло.

Заколтыхали столовую доску.

. . . .

— «Постойте».

— «Да нет же...»

— «Да — да же!»

. . . .

Сопели, прилипнувши лбами друг к другу.

— «Мое!»

И тащили конвертец, схватясь за конвертец.

Вдруг дико друг другу взблеснулись: глазами — в глаза.

— «Наискались, небось?»

— «Да-с!»

— «Берите ж...»

С больным, угрожающим «ахом» под ржавые плачи постели откинулся Ти́телев.

— «Коли открытие» — серая маска лица стала синею маскою — «ваше...»

Как будто: спиной отваляся от столика, белыми валенками под зенит пересучиваясь, спину выгнув на пупы земные, на бледные бездны, представшие рядом подполий, открывшихся друг в друге люками, — через открытые люки, в которые Обов-Рага́х, Бретуканский, Бобырь, Буддогубов, Трекашкина-Щевлих глухие свои, тягостящие рявканья бросили — скорбною орбитой рушился он!

А вселенная грохала тысячами типографских машин:

— «Пере-пре́-пере!»

— «Предал!»

— «Пере́!..»

— «Переда́л!»

. . . .

Дико взлаяв усами, —

— бессмысленно взлаяв, —

— профессор с конвертцем своим, точно боров с затибренной тыквою, в угол оттяпывал, заколтыхавшись лопатками; Ти́телев, сбросивши столик — за ним, было: столик, подбросив столовую доску, и драною скатертцей цапнувшись в воздух, шатавшейся ножкой бабацнул Терентия Титовича по суставу коленному.

Угол перегородил, —

— где —

— усевшись с прикряхтом на корточки,

ерзая вздернутой фалдой, за гвоздь зацепившейся, странно копаяся в рваном кармане, — профессор собою являл недостойный предмет с точки зрения рангов и славного поприща!

Изобретатель, сидящий орлом!

Он конвертец запрятывал; и деловито с собою самим совещался с карачек — короткими фразами:

— «Ясно!»

— «Весьма рационально!»

Но, —

— не рационально, неясно!

Терентий же Титович залепетал из угрюмых прокуров над столиком, ножкою вздернутым в воздух, как... —

— приготовишка!

ЛИЦО ДОНА ПЕДРО

— «Я... — видите ли — в это утро ..: в т о, самое... Ну-те, — когда вас свезли».

Мы напомним читателю: битого перевезли — в желтый дом.

— «Забегал...»

Но профессор, с карачек став боком, и сев головою в лопатки, как путник у склона горы, защищался от Ти́телева прирастающим

к уху плечом, ожидая, как видно, что будет прыжок через ножку стола с вырываньем конвертца; а, может и —

Он же — битый!

— всей бороды?

Нет, — Ти́телев стул поднимал, стол оправил, бросая как... приготовишка:

— «И — вижу: пиджак перекомкан, жилет...; сами ж бросили; я — подобрал; и нащупал: зашито!»

Уже не робевший профессор осмелился выпятить грудь, точно тачку с усилием рук и с пыхтением легких на гору тащимую; даже морщины, скрестясь, как мечи, поднялись.

— «Я и выпорол . . . Мокрые ж были от крови пиджак и жилет... И промокло б».

Молчание, полное ужаса, переходило в молчание, полное тайны; тут Ти́телев хватко и глядко уселся за столик; но в том, как он руки сложил пред собою, была немота от усталости: нечеловеческой.

Видя все это, профессор утратил усы к бороде и спокойнейше сел перед ним, опухая глазными мешками.

Такая была тишина, —

— точно бомба упала на столик между четырех протопыренных рук, ожидающих звука разрыва.

. . . .

Скорее провеяло, чем раздалось:

— «Я... от имени партии, класса, для будущего, для всего человечества... и... справедливости ради...»

Он так посмотрел, точно стул из-под зада профессора вырвет вот, вот: —

— не казалось, что он выбивался из сил, когда он вы-
— бивался; а он

— выбивался из сил!

— «Я прошу вас: отдайте открытие».

Как передернутый силою аккумулятор, зацапав стаканчик, могуче дрожал:

— «Умоляю!»

Профессор, вырезываясь в серорозовом крапе белясых и коегде дранных уже Никанором обой, не в себе, хрипло хрякал:

— «Ссудить?»

— «Не могу-с!»

С нежным хрустом распался стаканчик меж пальцами Ти́телева; и закапала ясная кровь: между пальцами; Ти́телев дико надменным испанцем поднялся.

Лицо —

— императора: Педро.

— «Ссудить?»

И за горло — рукой:

— «Так...»

С жестоким сарказмом на ногу упал, свое выгнув плечо:

— «Нас не можете?»

И погро атывал, как артиллерией, — горлом:

— «Хохо́хо!»

Отсасывал палец:

— «Вы сами-то — что? Весь в долгу у рабочего класса, создавшего технику, средства!»

Осколок визжал под ногою:

— «Я вам предъявляю лишь вексель — не свой, а чужой».

И глаза, просияв укоризной, сияюще плакали.

— «Этот поступок граничит с нечестностью...»

Стол дубовато столовой доскою бубнил.

— «Таким были... Таким и остались».

Профессор, морщиною, точно глазами, играл, бросив руки по швам и плеснув бородою, которая стала, как слиток серебряный; свои ладони развел, прижимаясь локтями к бокам:

— «Дать открытие—значило бы: наплевать на убийство; а—я...»

Глаз — топаз:

— «Не плюю!»

Ослепительный глаз, но — слепой!

— «Я», — лицо растянулось в исполненное выражения тело — «я — сжег его...»

— «Вы на убийство уже наплевали тогда, когда вы расписались в бойне: со всей корпорацией!»

Не расписался ж, — сидел в желтом доме: другие — расписывались!

— «Вы» —и Ти́телев бросился корпусом—нас не «ссужаете».

Свистнул по воздуху твердым стальным кулаком:

— «Мы вас — судим!»

Лицо спрятал в руки:

— «Боролись Либкнехты, — не вы».

Оборвался руками от лба; и пять пальцев приплясывали на коленке качавшейся:

— «Где сожгли? Как?»
— «В голове».
— «Не юродствуйте», — Ти́телев взвизгнул — «и плюйте, но — цельтесь: у вас не плеванье — самооплеванье».
Профессор глядел на него утомленным лицом, сжавши пальцы в томлении, — и неумолчном, и громком.
Отер капли пота:
— «За что?»
И слова барабанили, как барабанными палками, по барабанной его перепонке:
— «Нет, где человечность у вас? Где у вас справедливость?»
— «Я вам говорил-с: справедливость есть «средняя» только конкретных любвей!»
— «Разве что!»
Нет же —
—выписал брата, одел, приютил, накормил; пожалевши, отдал, что важней справедливости, этот линючий конвертец; лишил себя чести... —
—И это есть «с р е д н я я»?
— «Коли вы брезгуете справедливостью» — вспыхнул глазами кровавыми.
Полудугу описал; и — с упругим галопцем, рванув Никаноровы рвани, — к профессору:
— «Все человек превозможет!»
Как раненый на́смерть, страдающий тигр, протянулся рукой за пакетцем на рваный карманик:
— «Пускай погибает в вас личная истина в истину класса: нет, вы — отдадите!»
Профессор, найдя разрезалку, случайно зацапанную, в своем рваном кармане, усищами сделавши —
— «Ась?»—
— подбородком вдавился в крахмалы, как зубы защелкавшие.
Он хватил разрезалкой товарища старого, чтобы в борьбе обрести свое право, и — полудугой — мимо Ти́телева, — сорвав скатертцу, бросив ее пред собою, и — гопая, — дернулся с громким расплохом на двери, которые выкинулись, точно руки из недр.
Никанор отлетел с синей шишкой.
Никто не погнался.
. . . .
Просунулся Ти́телев:

— «Ну и буржуище!»
Тут же, движенья вобрав, став в пороге, и перетирая сухие ладошки, он выбросил:
— «Эк же!»
Стальная душа у него.

БОЙ ОСЫ С ПАУКОМ

Никанор, отлетевши к диванчику, из-за плеча Серафимы бородкою ухо чесал Серафиме с весьма угрожающим шопотом; тер себе синюю шишку; и пальцем на что-то показывал.
А Серафима — с губой, отвисающей глупо, толкалась плечом под губою его, выгнув спину дугою.
Шарахались оба —
— от пятками тяпавшего старика
— и от —
— Ти́телева, —
— прижимавшего в кубовый угол огромную, бразильянскую бороду.
— «Ты справедливость свою» — гребанулся профессор рукой и ногой — «показал мне...»
Сломался другою ногою под задом, вцепившися фалдами в пол: не профессор Коробкин, а злой, шестилапый тарантул, прыжками огромными прядавший, —
— около, —
— желтой и нервной осы, просадившей впустую от брюха оторванное — свое — жало!
Оса — домирала:
Отдельное, нервное, жало, без туловища быстрым сжимом подергалось!
— «На́смерть трамвай раздавил, говоря рационально, жену: тебе жалко?»
Из красного лая — на кубовый сумрак.
— «Допустим» — просумеречило.
— «В мгновениях рвутся — аорты, артерии: ты, эгоист — слез не льешь? Ты животное, как и баран, — жрешь баранину?»
— «Галиматейное!»

— «Не эксплоатируй, буржуй класса «sapiens», оранг-утанга, которому сифилис ты прививал: ради целей научных, полезных одной разновидности, но не полезных другой; род же — общий-с!»

И лбиною, точно булыжником яйца, — закокал по лбу он:

— «Хозяйство планеты, — скудеет: и ты, социалист и хозяйственник, завтра подпишешься под зарезаньем рабочим рабочего в равносвободной планете, чтобы миллиарды рабочих детенышей скудный последний кусочек не вырвали б у миллионов оставшихся: ради спасения «h o m o»!

— «Не г о м к а й т е и не хватайтесь за этот вопрос!» — пересчитывал крапы обой себя в руки сжимающий Ти́телев — «мы, социалисты, расширим хозяйство планеты: планетами же».

— «Убывание скорости света — доказанный факт: убывает хозяйство созвездий — в пропорции геометрической».

— «Ты-то» — и Ти́телев свесил с колена носок — «разогреешь созвездия?»

— «Да-с!»

— «Чем?»

— «Любовью».

— «Пустой парадокс!»

Никанор с Серафимой, не смея приблизиться ближе, шептались: случилось, или не случилось ужасное что-то между — сумасшедшими?

Что перед ними разыгрывалось? Пререкание дружеское с очень жуткими шутками, и реквизитами страшных гримас?

Или тут — нарушение всех человеческих и нарицаемых бытов в, едва ли, понятные, ненарицаемые: в насекомьи!

— «Мне боязно!»

СИНЯЯ ПТИЦА

— «Вопрос не во мне-с: согреваю вселенную я, или — нет; она ухает смертоубийствами солнц; чтобы их отогреть, надо броситься к атому и к овладенью теплом, скрытым в нем; а не строить убийства из планов, весьма справедливых; я грею вселенную — сопротивлением; в этот момент...»

Он себя ощущал на крутейшей дуге — у прокола последнего атома: атом коснеющий — вот он —

— проколет —

— теплом!

Глазик, —

— точка, ничто, —

— целясь в точку невидимую, прорешая вопрос, раз решенный, расширился в диск световой, превращающий в пламя пожара — вселенную!

— «Вот-с!»

И конвертец с открытием вынув, пощелкавши пальцем в него, он его — изорвал и осыпал из стула прыжком сиганувшего Ти́телева дождем мелких лоскутиков:

— «Он — сумасшедший!»

Все — бросились; и захвативши за руки, куда-то вели; он же руки руками отвел; его белые брови, ударясь в межглазье, как молнию высекли: молния врезалась в перья обойного фона, глазастые, с просверком —

— темновишневых, кометных хвостов!

Не увидел, как Ти́телев, в ноги себе подпираясь руками, почти бородой лег на пол, точно кланяясь в ноги: лоскутикам.

— «Не сотворите кумира!»

Увидел; и — ахнул он: —

— старый товарищ, идеями прядающий,
точно бог, —

— не во имя свое а во
имя идей, —

— с громким мыком заползал перед сапогом, над надорванным желтым клочком.

И профессор Иван, свою бороду вздернув и руки сложивши под ней, озарился теплейшею мыслью — поднять его на́-ноги; и Серафима ловила пролет звуков мысли, как птицы, — из глаз его:

— «Брат, — успокойся!»

И руку свою положив на упавшего брата с улыбкой седою, но хитрою, пророкотал:

— «Старый мир, — успокойся, — стоит у последней черты: мы бросаем игру».

И он выбросил руку, как с пальмовой ветвью чтоб... жилы не лопнули: — как посинели, надулись они!

— «Принцип — здесь» — показал на межглазье.

— «Не здесь» — показал на клочки.

— «Здесь — превратности смысла: открылась ошибка, пропущенная в вычислениях, — мне...»

— «Как?» — куснулся зубами, ногами разъехавшись, — брат.

— «Как?» — оскалился Ти́телев.

А Серафима, поймав эту птицу —

—мысль синюю —

цветясь, точно роза. не удивлялась,

— «Ты... ты... издеваешься?»

Он поглядел утомленным лицом и заплатой над выжженным глазом, сжав пальцы в томлении:

— «Мне ль издеваться, когда» — и заплату он снял, и огромным, кровавым изъятьем глаза их всех оглядевши,—заплату надел.

И к окну подошел; и разглядывал звезды.

И Ти́телев, медленно вставши с колен и листки уронивши в плевательницу с оскорбительной горечью, — в угол пошел:

— «Э... да что!»

И спиною подставленной трясся.

Его тюбетеечка плакала блесками, точно слезиночек; в спину ему из-за карего глаза топазом прорезался—

— детский, беспомощный, синий —

— глазище!

— «Ты», — рявкало — «ты ведь женат?»

— «Недостойный вопрос!»

И пошел через красные крапы из кубовых сумерок к креслу, оскалясь, как тигр:

— «А-дд-да...»

В кресло упал; волосатый запрыгал кадык:

— «Я — женат».

В окна черные скалился.

РОК: ПОРОГ

Ночь, уронивши на дворик две черных руки и звездой переливною капнув над крышей, сжимала в объятиях домик, как мать колыбель, и глазами, алмазно и влажно сиявшими, жадно глядела из синих морозов в цветистую комнату.

Точно фонарики: —

— ситцевые маргаритки, азалии, звезды и синие дрызги зигзагов!

Казалось: —

— огромная, черная женщина, павши на землю, сейчас распрямится, — и — перерезая вселенную, руки свои заломивши

и бережно сняв этот домик со снега, как чашу с сияющей ценностью, черною орбитою в дали кубовые, руки кубовые окуная в созвездия, —

— Льва,

— Леонид,

— Лиры,

— Лебедя —

— перенесет!

Но не Лебедь, не Лира, не Дева, не ночь припадала к окошку —

— Леоночка!

В черном окне, плавя льдинки, она прилипала и лобиком, и десятью замерзавшими пальчиками к ясным лилиям стекол.

Казалось, — летела, бежала: скорее, — скорее, —

— скорее —

жесткие стекла. — на

Так — птица: увидев маяк, на него, как на солнце, бросается; птица бросается в смерть.

И ей смерть: видеть, —

— как —

—из-за ситцевых звезд краснолапого кресла старик одноглазый малютке, милеющей личиком, с искрами солнечнорозовых прядок,— приносит свой глаз; а малютка — в сиреневой шапочке, ручками веер раскрывши, как райская птица — на дереве жизни — качается!

— «Нет!»

И — отдернулась.

. . . .

Этот ребенок седой — ей давно дорогой, потому что в утопиях, ею растимых, есть корень, ей в душу вцепившийся: за́-руку взяв старика одноглазого, в вывизги рыва планеты швыряемой, под колесом Зодиака по жизни вести, чтоб вину дорогого, родного, другого, к к долг, — пронести!

Пусть несбыточно ей это все; «этим всем» Серафима явилась, ей путь пересекши: ее ревновала, почти ненавидела.

Смерть: преступить порог дома: —

— порог —

— ее рок!

Шарки: шаг пешехода —

на Козиев Третий!

Как шамканье страшных старух...

. . . .

Успокойся, душа моя, что тебя нет в том, чего тоже нет, что за гущей деревьев, чуть тронутых инеем, шаркает шаг пешехода на Козиев Третий, что ветер из высей отчесывает от деревьев взвив инеев, —

— что —

— с бесполезной жестокостью больно катаемое и усталое сердце —

— разрывчато бьется.

Ты ищешь чего же, душа моя, и ты чего надрываешься?

. . . .

— «Ты — чего топчешься? Шла бы».

Икавшев тулупом дохнул за спиной.

Вот — Мардарий фонариком из ледника зазвездел; и — погас вдоль заборов: ждут обыска.

Ей ли, порочной преступнице, — переступить порог: рок!

РАЗГОВОРОМ ПОДЕРГАЛИСЬ

Чтобы нарушить молчание, тягостное, Никанор стакан с чаем — холодным, прокисшим, лимонным, — вдруг выбросил вверх:

— «За здоровье хозяюшки, Элеоноры Леоновны!»

Тут встрепенулся профессор:

— «Да, ты, брат, — тащи меня к ней!»

— «Ну-с, — она-с!»

Волосатый из кресла запрыгал кадык, а не Ти́телев: в кресло вцепясь крючковатыми пальцами, он точно умер.

И — бацнула входная дверь; и — казалось, что кто-то на месте бежит, притопатывая хлопотливо, но в дверь не вбегая:

«Легка на помине!»

И Ти́телев бросился в дверь крючковатыми пальцами; в кресло вцепился опять крючковатыми пальцами.

А Серафима покрылась мурашками: вскрикнулось.

— «Что?» — Никанор.

Голосок, как звонок, задилинькал в передней:

— «Ау?»

Серафима забегала: свечку зажгла, став в пороге со свечкою; ротик — кричмя.

— «Серафима Сергеевна?»

— «Я!»

И в коричневых мраках просунулась личиком, из ореола свечного, сквозного и желтого чуть выясняясь зелененьким платьицем.

Элеонора Леоновна в юбочке с отсверком, в очень цветистенькой кофточке, нежно попахивая «убиганом» [1], схватила малютку за руки с такой быстротою, как будто хватаемая была мышкой, а не человечиком.

— «Ну?»

— «И вы — тут?»

— «И я — рада!»

— «Вам рада я!»

А Серафиме на это «и вы» от спины к пояснице — опять муравейчики: мысли чужие какие-то; ручки в костяшках («Как лед» — промелькнуло) в холодненьких пальчиках; стиснула ручку.

Но гневно сверкнули глаза:

— «Вы меня проведите к себе: я — боюсь!»

И походкой своей, лунатической, кошьей, она, — узкотазая, маленькая, — наклоненной головкой, ушком наставляясь на лай голосов, себе в носик глаза закосивши, и в нос Серафиме стрельнув завитыми дымками, —

— везде с перекурами, —

— за Серафимой прошла.

Электричество щелкнуло:

— «Вот».

И стояла, загладивши пальчиками волосинки цветистого платья, следя, как дымки по ним бегали:

— «Нравится?»

У Серафимы неискренно вырвалось:

— «Что за прекрасная комната!»

Бирюзоватая празелень фона: диванчика, креселец; крапины розовосерые в кремовожелтом и в бледнолимонном.

Хотя и жеманно!

— «Должна принести благодарность».

— «Ну, ну» — с суховатым прищуром; и сухенько затараторила: вовсе «партийная» дамочка, сладко попахивающая.

И Серафима поморщилась: в серокисельную скатерть:

— «Обои сиреневые...»

— «Прелесть что!»

---

[1] Духи.

— И — не прелесть!
— «Сама выбирала...»
— «Вкус: ваш!»
А — что дальше? Ничто?
Нет, — «Глафира Лафитова».
— «Ну, — что она?»
Выручала «Глафира Лафитова» раз уж пятнадцать: когда сказать нечего, то — появлялась она.
На «Глафиру» в шестнадцатый раз Серафима — ни звука.
— «Ну вот: и — прекрасно!»
И с тем же икливеньким, сдержанным выкриком Элеонора дала ей понять, что словами надергалась до́сыта с ней; Серафима, лицо отвердивши, все сносливо вынесла; гневный задох подавив, перерезала нить разговора склонением личика в руку, поставленную острым локтем на скатерть кисельного цвета; опять эта скатерть?
Леоночка, за́-руку взяв Серафиму, ее для чего-то вела в коридорик; расхлопнула дверь:
— «Вот — тут вот: вот — уборная...»
Думалось: лучше, поднявши юбчонку, скрести себе ногу за ловлею блох, чем чесаться психически.
— «Вот — выключатель: вода — не спускается».
И — так невинно взглянула:
— «И — поговорили».
Взглянула, как издали, блеском своих изумрудов, — не глаз: и стояла с открывшимся ротиком, будто уйдя в тридесятое царство свое за лазурными цветиками, бросив тени густые свои в Серафиму, которая думала: как ей не стыдно, невинностью лгать и русальные глазки прострaивать!
Сделалось совестно: и — помотала головкой угрюмо.
Когда б понимала, то, —

— вероятно бы, —

— с ожесточенным, с пылающим личиком ринулась бы на нее: обхватить, обогреть, уложить, как больного ребенка, в постельку; и — песенки ей колыбельные петь!

— «Ну?»
И обе, затиснувши ротики, бровки зажавши, протопали в лай голосов.

ПЛОСКОГРУДАЯ ДЕВОЧКА С КНИКСЕНОМ

Тут же профессор увидел: —

— робея, дурнея и переминаясь в пороге, из двери просунулась робкая девочка в платьице с розовым отсверком, с рыжими пятнами, с черненьким крапом; и — с книксеном.
Книксен не сделав, стояла с открывшимся ротиком, платье свое деребя.
Зарябило в глазах: точно рой черных му́шек в глаза ему кинулся, с платья снимаясь.
Во что-то нацелясь, он сдернул очки, потянувшися носом разведывать воздух.
— «Жена моя», — скалясь, как тигр, руки выбросил Ти́телев — «Элеонора!»
И в кресло вцепился опять крючковатыми пальцами.
Шаркнул профессор, теряся:
— «Рад!»
А Леоночка, лобиком бросив свою завитую головку, бодаясь головкой, отпрянула в тень, потому что профессор спиною вдавился между Серафимой и братом.
Как будто в бега друг от друга пустилися: спинами!
Тотчас, взяв в руки себя, —

— «Рада!»
— «Рад!» —

— Руки сжавши друг другу, присев друг пред другом на кончиках кресел, друг друга разглядывали.
И профессор с лукавою шуткой провеял на Ти́телева белым усом.
— «Я вот-с... Говорю себе: ясное дело, — супруга твоя еще маленькая... Кашку кушает!..»
А Леонорочка, ставши живулькою розовой, взором на нем откровенно занежилась; будто весеннее солнце блеснуло в глаза, а не этот косматый старик, на нее поглядевший с лукавою лаской; как дерево зыбкое, вдаль уплывая вершиной за ветром, корнями привязано к твердой земле, — так она свой порыв передерживала: в ноги пасть; и на мужа косилась украдкой, разглядывая удлиненный затылок, — и узкий, и волчий: волчиная стать, волчьи уши, прижатые к черепу: —

— знала она, что — овца: в волчьей шкуре; и стало ей жалко его.

А профессор — медведица!

Стала живулькою розовой, чуть не спросив:
— «А что Митенька?»
Передержала себя: это быль; но быль — пыль!
И припомнилось ей, —

— как —

— схватяся за львиные лапочки кресла, вскочив, чтоб бежать, будто — оранг-утанг, не «о т е ц», рассыпался профессор в любезностях!

Бегством все трое пустились в переднюю, где он кота с перепыху надел на себя вместо шапки; «о т е ц» — с перекошенной, злою гримасою; он — с перетерянным плачем: сквозь смех [1].

Так последняя и роковая их встреча, — единственная, — отпечаталась в памяти!

У Серафимы же вырвалось:
«А!»
Встрясом плечи.
— «Вы что?» — Никанор.
«Нет, что с нею?» — склонясь к Никанору — «Откуда болезненная экзальтация эта?»
— «Так чч-то, — Леонора Леоновна к брату, Ивану, всегда относилась с горячей сердечностью» — строго одернул ее Никанор.
Но прищурясь, он борзеньким носиком быстро поерзал меж ними: как будто в обоих — свое, недосказанное, переглядное слово.
Встав в тень, Серафима опять поманила кивочком:
— «Зачем она так беспокоит его?»
— «То есть, — как?»
— «Ну, — не знаю».
А взгляд Леоноры как бы говорил:
— «Много, много воды утекло».
И тонула в глазах своих собственных, густо синя папироской и выставив ручку, точеную, точно слоновая кость.
Серафима подумала:
— «Что за претензии?»
Эти претензии воспринимала она, как порыв — неестественный.
Брат, Никанор, не ответивши ей, перестегивая пиджачок, подсел к брату, Ивану:
— «Как, что?»

[1] Смотри «Московский чудак» (глава третья): сцена посещения профессором Мандро.

— «Как тебе, — эдак, так — Леонора Леоновна?»
— «Мм... да какая-то, да-с, дергоумная барышня» — скрылся от брата усами.
— «Она уже — эдак».
— «Как?»
— «Дама!..»
— «Забавная барышня-с».
Твердо упорил, задумавшись явно; и, явно, — над ней.
Вдруг стараясь занять разговором ее, — но таким, каким дряхлые старцы стараются, став еще более дряхлыми, выставить в шутку шестнадцатилетних девчонок пяти-шестилетними пупсами - рявкнул он:
— «Котиков любите-с?»
Вновь, точно дерево, в ветер рванувшееся, Леонорочка, пальцы ломая, — к нему; и опять точно дерево, корнями привязанное, оглянулась на мужа: сидел, уцепившися пальцами в кресло, не слыша, не видя стальными глазами; жесть — губы зажатые; в лоб же морщина влепилась, вцепяся, как хвост скорпиона.
— «Нет, не по пути с ними нам!» — Серафима настаивала в Никанорово ухо.
Поморщился:
— «Элеонора Леоновна, Терентий Титыч — друзья!»
Но подумалось: недруг и тот до поры — тот же друг; и морщинки от лобика рожками в угол наставились.
Тителев, встав, ей блеснул:
— «Добрый вечер, — критический критик... Да я забегу еще».
Не отзываясь на шутку, без всякого повода вышла из тени она; свою выгнула голову; руки — на грудь, отступя; припадая на ногу, — насупилась хмуро.
Он — вышел.

И МИР, КАК РАЗБОЙНИК

Профессор вышарчивал взад и вперед; точно он, не имея пристанища, странствуя, видел градацию дальних ландшафтов; вдруг — замер он; руки свои уронил; носом — в пол, в потолок, чтобы выслушать отзвук в себе —

— синей мысли, —

— о первой их встрече.

Да — первая ли?

Вот что выслушал: —

— перед золотеньким столиком чашечку чая, фарфор, розан бледный, поставил лакей перед ним; ему виден кусок кабинета, открытый в гостиную, — кубовочерного, очень гнетущего тона, такого же, — как фон обой этой комнаты! Красные кресла жгли глаз своим пламенем адским оттуда; и были такого же колера, — как эти красные пятна.

А девочка эта сидела, — так точно: с таким же раскрывшимся ротиком [1].

Выслушав это, он руки с улыбкой седою развел пред Леоночкой; торжествовал над молчаньем своей бородою, — безротой и доброй.

. . . .

Вдруг усом вильнул; и — слова, плоды дум, точно сладкие яблоки, стал бородой отрясать:

— «Все идет, говоря рационально, — по предначертанью».

Улегся усами; прошелся он:

— «Царствует — царь... Безначальные — мы».

Руки сжал: носом — в пол:

— «Что же, — будем готовы».

И глаз в блеск порочных, агатовых глаз, расширяющихся в изумруды невинные, —

— глаз —

— просинел.

Из агатовых глаз — в голубые глаза Серафимы он ринулся; и Серафима сказала — глазами в глаза:

— «Я — готова: на все».

Но он, вынув свой глаз из нее; повенчав ее взоры с Леоночкиными, он читал ее мысли; но сделал рукою ее от себя отстраняющий знак:

— «Вы — останетесь здесь: не пойдете».

И руку, как с пальмовой ветвью, приподнял — к Леоночке:

— «Мы с ней — пройдем!»

И казалось, что в ней соблеснулися звезды; и звездный поток, — тот, который глубокою осенью сыплется из синеродов над скуной землей —

— Леониды [1], —

— посыпался!

Он же в ответ ей на блеск:

— «Были львицею: станете — девочкой».

И Никанору, бросавшемуся, руки выбросил:

— «Я — к вам: вернусь; будет — радость!»

— «Да что вы, профессор?»

— «Куда собираешься ты?»

Он ответил загадкой:

— «Туда, где вас нет...»

И прошелся; и — видели: борется с чем-то.

— «Мы — косные: бодрствовать — трудно... И мир, — как разбойник».

Из глаза он выбросил солнечный диск:

— «И разбойника братом хотел бы назвать я».

Тут став повелительным, он указал на порог — Леоноре Леоновне:

— «Ну-с, вы — готовы?»

И дернулась; вертиголовкою, расчетверясь меж собою, профессором парочкой дико ее пожиравших глазами людей, — Серафимою и Никанором, — глаза, не мигающие опуская в носочки, как будто ее наказали — вперед наклоненной головкой,

— как тихий лунатик, —

— прошла!

И за нею он вышел.

И больше его Никанор в старом мире не видел: когда они встретились, —

— все —

— было —

— новое!

КРЫЛЫШКИ БАБОЧКИ

Вслед Серафима — бежком: в наворачиванье обстоятельств; подняв свою ручку и ей, как щитом, защищаяся, нагоняла головкою отрока быстрого.

---

[1] См. «Московский Чудак» (глава третья): сцена посещения профессором Мандро.

[1] Этот звездный поток земля пересекает в ноябре.

Бросила:

— «Там — в мою комнату... Там — в моей комнате... можете... вы...»

И — задохлась она: из глаз—жар; во рту — скорбь:

— «Ну, — пошел разворох разворота!»

В диван головою, а плечи ходили; зубами кусала платочек; не плачем, а ревом своим подавясь, занемела; и — ком истерический в горле.

— «Чего это вы?» —Никанор—«Брат, Иван, объясняется с Элеонорой Леоновной; он, вероятно, мотивы имеет свои».

Но мотивы такие — болезнь.

— «Рецидив».

Посмотрела; и — что-то коровье во взгляде ее.

. . . .

Леонора Леоновна, крадучись, переюркнула под стены; на край бирюзового пуфика села; уставилась глазками в розовосерые крапины, глазок не смея поднять.

Он же, крадучись тоже, и вставши на цыпочки, пальцы зажатые приподымал умоляюще; и приворковывал, как старый голубь:

— «Да вы...»

— «Не волнуйтесь!»

— «Прошу вас...»

Как чайная роза, раскрылось лицо:

— «Да вы... выслушайте!..»

Леонорочка с пуфика переползла на диванчик: поближе к нему; и согнув под себя свои ножки, накрыла юбчонкою их.

Он боялся рукою коснуться плеча: точно он не хотел обмять крылышек бабочке:

— «Я, говоря рационально, узнал вас».

Глаза ее, как драгоценные камни лампады, сияли; закрылась руками; а он, нагибаясь, пытался увидеть сквозь пальцы в них спрятанный глаз:

— «Вы—Лизаша Мандро».

И увидел не глаз, а слезинку, которая в пальцы скатилась:

— «Ну, ну-с: ничего себе...»

— «То ли бывает?»

— «Проходим-то все мы — под облаком».

Пав на живот, как змея, на него поползла, пересучиваясь и толкаясь худыми, как палочки, ножками.

Он сел на корточки, выставив нос и ладони пред ней, как бы их подставляя под струйку, чтоб бросила личико в эти ладони, которые жгли, как огонь: переполнить слезами.

Он плечики пляшущие, точно пух белоснежный, наглаживал:

— «Плачьте себе...»

Воркотал, точно дедушка, внучке прощающий:

— «Мы полагали не так, как нас» — выбросил руку свою— «положили: меня, вас...и...»

— «Вашего...»

— «Батюшку».

Он запинался.

Тут в воздухе взвивши и ручки, и ножки, а, спинку чудовищнейше изогнув, опираясь качающимся животом о пружины диванчика, выявила акробатикою истерическое колесо.

И разбросилась с плачами.

Он же над нею зачитывал лекцию:

— «Жизнь—давит нас; оттого мы и давим друг друга; жизнь—давка: в пожарах».

И встал, и прошелся, и сел:

— «Дело ясное: эти побои его адресованы были не мне-с; и—не он наносил».

Носом цветик невидимый нюхал.

— «События эдакие с точки зрения высших возможностей— тени-с прохожего облака».

И топоточки под дверью расслышал: малюточка бегала: топами ножек выстукивала: пора спать!

— «Не шумите-с: нас могут услышать»—понесся он к двери; и—высунул нос.

И — отдернулся:—

— сосредоточенно руки скрестив на груди,
не трясясь, точно палочка (платье повисло),
в тенях еле выметилась Серафима, вперяя
огромные бельма.

Огромное, черное «ж е», — три морщины, —чертились: от лобика.

Чуть не упала; но —выстояла.

. . . .

Леонора в слезах протянула ручонки; и не понимала, что с нею; смеялась и плакала:

— «Можно?»

И знала, что надо принять то, что вспыхнуло.

Он—неожиданно руки раскинувши: с рявком:

— «Все можно-с!»
Решение—акт; в ней—согласие:
— «Можно вам все сказать: все-все-все?..»
И на простертые руки упала головкой.
— «О нем».
И он гладил головку, к груди прижимая.
Весенняя струйка лепечет у ног:—

— все все-все: понесу,
расскажу!

Ставши струйкой,—она вылепетывала то, о чем рассказать не сумеет писатель.

. . . .

За дверью едва Серафима расслышала:
— «Пелль-Мелль» отель—говорите?
— «Тринадцатый номер?»
И не удержалась: просунула голову.
— «Есть!»
И профессор отпрянул под лампочку, быстро записывая.
Но увидев малютку, он книжечкою записною — в нее, а свободной рукою с дивана Леоночку сдернувши, на Серафиму швырнул; повелительно рявкнул:
— «Мой друг!»
И—светящийся диск, а—не глаз!
— «Прошу жаловать!»
Руку, одну, Серафиме за спину, другую за спину Лизаше:
— «Лизаша Мандро!»
Друг о друга носами их тыкнул; и—выскочил в дверь.

. . . .

Посмотрели друг другу в глаза: золотые, сияющие,—в изумрудные канули; ахнув, всплеснули руками:—

—«Лизаша, которая, и о
которой!»

Смеясь и плача, упали в объятья.
А шуба медвежья прошла мимо двери: прошаркали ботики.

ГЛУПАЯ РЫБА—ВСЕЛЕННАЯ

О, переполненное, точно вогнутый невод, звездой,—несвободное, обремененное небо!
О,—то же звездение: праздное!

Ти́телев мерз на дворе, больше часу разглядывая, как ничто закачалось дрожащими и драгоценными стаями.
Звезды,—

—зернистые искры, метаемые, как икра,
как-то зря,—
—этой рыбой —
—вселенной!

Глаза прозвездило до:.. мозга.
И он полетел через двор, наклоняясь с напором, со стро́потством; быстро, ступисто шагнул на подъезд; бахнул дверью передней тетеричной: в дверь кабинетика.
А из гостиной к нему — шаг Мардария, вышедшего через люк из подполья.
И он застопорил крепким затылком, ушедшим в плечо; пережвакнул губами, зубами кусая плясавшую трубку; отсчитывая и пересчитывая синие каймы ковра; и вся быстрость, которую он развивал на бегу, улизнули в него; скосив глазик, посапывая, и надувшися из-за усов, гладил бороду, громко упоря носком, ударяющим в пол.
А Мардарий, ему на плечо положив жиловатую лапищу, из-за плеча протянулся: усами оранжевыми:
— «Ну?»
— «Что «ну»?»
И Мардарий—глазами в глаза:
— «Дело это».
Бесцветны стальные глаза: призакрылись; и—брысил ресницами; но наливалась височная синяя жила; и смыком морщин, точно рачьей клешнею, щипался.
И понял Мардарий: проваливалось дело это.
А «Титыч»,—

— партийная кличка,—
— разглядывая корешки переплетов, смекал, точно мерки снимая: ушами, плечами и пальцами что-то учитывал он:—
— не казалось, что он выбивался из сил, когда он выбивался: мог спать, продолжая работу во сне; и скорее откусишь усы и тебе оторвет нос от перца, чем корень пойме, тот, в который вперился он, перетирая сухие ладони, как будто готовясь себе операцию сделать.

— «Мардаша, Мардаша»—и желтая, шерсткая вся борода разъерошилась:

— «Стоп».

Свои пальцы зажал, будто он позвоночник, свой собственный, сламывал.

— «Эк, дурака стоит дело: я — прост, как ворона!»

Вдруг книжицу выщипнул; перевернувшися, крепким движеньем метнул через стол, точно диск, прямо в руки Мардарию:

— «Дельная!..»

— «Вы — не читали?»

— «Прочтите...»

А сам — вне себя; голова, — как раскопанная, муравьиная куча: в ней выбеги мыслей единовременных — усатых, коленчатых и многолапых: туда и сюда!

— «Куй железо!»

Превратности смыслов, их бег друг сквозь друга, друг в друге, как в круге кругов, из которых куют сталь решений; но — замкнутый череп!

Круг — замкнут!

— «Остыло железо!»

И бросивши бороду, два острых локтя откидом спины в потолочный, седой, паутиной обметанный угол, — локтями на стол, головою — на руки: с громчайшим —

— «Мардаша, нет выхода!» —

— пал!

Знал Мардарий, какие тяжелые трудности преодолел он, чтоб дело с профессором честно простроилось, как эти трудности скромно таил; и —

— в то время, —

— когда он — под бурей и натиском стоя с увертливой сметкой боролся, подкапываясь под партийных врагов; и обуздывал головотяпов товарищей.

Сколько любви!

Для Мардария «Титыч» был тем, чем для «Титыча» был Химияклич: ось, стержень, садящий своей бронированной ясностью мозг человеческий.

Ахнул Мардарий: коли головою — на руки, так — мат ему!

. . . .

Тителев приподымался на локте, весь — слух:

— «Голоса!»

Перекрикнулись ближе; фонарики.

С пальцем, подброшенным кверху, смелейше взмигнул; и — понесся в подъезд; в блеск бирюзеньких искорок, пересыпаемых

в черном ничто драгоценно дрожащими стаями, — в крик, —

Серафимы,

Леоночки —

— бросился!

И — там визжало:

— «Ушел!»

— «Нет!»

— «Пропал»!

Все — исчезнут под вогнутой бездной — бесследно!

Там — в синенький переигрался зелененький блеск;

там —

— из тихой звездиночки —

— розовые переигры!

— «Бесследно исчез!»

Кто?

Профессор Коробкин.





ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

«СТРОК ПЕЧАЛЬНЫХ НЕ СМЫВАЮ»

НА НИХ РАСТЕТ ШЕРСТЬ

Нагие тела, а на них растет шерсть: удивительней всяких кукушечьих гнезд росли слухи: бараны волков поедят; как пузырь дождевой, под разинутым ухом морочило:

«Жди не рябин, а дубин!»

Рыло к рылу: ушами водило:

— «А ты запирай ворота, мещанин; и — дровами закладывай!»

И обдавало, как варом, когда облеплялись, как мухами, слухами; точно под горку колеса: — де долы встают; и де горы попадают; де у Орла изловили бобра; де живем на дому, а умрем на Дону, потому что река подошла подо все города.

— «Эк?»

— «Сказали в Казани!»

Де — даже царю в рыло — ворот вворотят; а бар-де в мешок: и де Питер на щепки разрублен; солдат-де такой: нагишом палашом размахался; палит-де на Пензу, на всю, инвалид; а — без пороху; и от него стрекулист, приказанная строка, — стрекача!

От угла Абасасовой, что у базара, сказали, что скоро гусиные лапочки и языки соловьиные выданы будут в кормы.

Подтвердили у Фупзика, в лавочке:

— «Бесповоротно!»

Сказал это Кавлов; Плеснюк повторил Милдоганиной; та — Колзецову; а тот — Будогандиной; ну, — Плеснюка и забрали, молвы той доискиваясь; у нее, у молвы, — ноги лаиьи; она — не Маланья, которую можно потискать: за титьки.

Она — улетучилась.

И доискались, в участке, что это все — дядя, который поехал из Новгорода, а куда, — неизвестно; рот этого дяди — известно какой: пристегни-ка, пришей на губу ему пуговицу!

Так, не слыша, — услышали; не́-видя, — видели: лапки гусиные и языки соловьиные, с перцем; в жестяночках пересылают-де немцы.

И пристав, не солоно евши, ушел; ему в спину из Твери над всею Москвой Харитон языком заболтал, — точно колокол — на колокольне Ивана Великого.

Не Харитона, а Прянцева, Прошу, хватали; открылись следы Верливерковской частной гимназии; Синемидиец — учитель словесности, выпив овечьего квасу, — напутал; обыскивали, отпустили, ушли.

Вырастали слова на словах, пучась в тучу: Анисим Онисьев, завода машиностроительного (бок забора под Козиев, около Психопержицкой) под тучей сидел; так, — махорочный дым. Но завод был объявлен гнездилищем дяди, который поехал из Новгорода, а куда — неизвестно: известно куда: на завод; забастовку устраивал. Дядю искали, — не смыслов; они — в решете: много дыр. — вылезть негде; и ложкою не расхлебаешь их, аки солянку; вполне тарабарская грамота; буркулы, точно коровы на грамоту, пялили; и точно гуси на зарево, вытянув шеи, стояли; и пристава слушали:

— «Вы обретайте, мещане, в борьбе свое право, чтоб вас, как удой, не подсекло: ворота поленьем закладывай, братцы!»

И — то: разгромили Хатлипина мясо, Липанзина булочную, что с угла Селеленьева; крепкое слово торговец Шинтошин сказал, собирая мещан; Депрезоров, Илкавин, Орловикова, Клитатакина, Иван Кекадзе — составили патриотическое заявление, что мы, мол, в союз — «Михаила архангела» — вступим!

Подвел Сидервишкин.

И — ужас что: самую что ни на есть «Марсельезу» пропели, по третьему классу пройдясь, — третьеклассники:

— Яков Каклев, Вака Баклев, Шура Уршев, Юра Буршев, Митя Витев, Витя Митев.

Фридрих Карл фон-Форнефорт, — пятикласник, — их вел, знамя красное вывесив; —

— и —

— Липа Липина, Оля Окина, Нюра Нулина, Люба Булина, Гаша Башина, Саша Вашина, Глаша Гликина, Кина Икина —

— девочки —

— выразили им сочувствие, даже готовность.

И — сам Вардабайда-Топандин, артист, подписал на двери́, под визитною карточкою: —

— «Объявляю себя анархистом!»

Чего еще ждать!

ЧТОБЫ ЩЕЛКАЛИ

Ночь; ночная, замызганная, голготавшая чайная; ряд шапок лакомых валится в вытертые рукава, разлоктившиеся в скатертях перемызганных: это ночные извозчики спят — головою на стол, свой добыток наездивши; белые чайники дуются; они — гиганты; горбун половой, размахавшись грязнулей, — пять чайников тащит на угол: в кромешную темь.

Там голга́нят:

— «Ну, ну, Четвертыркин, — сади: чего слыхал?»

— «А то: Миколай о подкову отконкнет каблук».

Сонный возчик — с другого угла:

— «Поделом ему: кто его пхал?»

Инвалид:

— «Сам попер».

— «Половой, катай чайник!»

— «Щевахом, почтенье!»

— «Пиндрашке привет!»

А медвежья шершавая шуба закрючилась — в теми кромешной: над чайником; нос, да усы, да очки; не понять, что такое.

Но на «Миколаево» пхание кто-то имел возразить:

— «Как не пхали? Запхал англиканский француз; пхал и сам Милюков, чтоб над нами забарствовать».

Завозражали:

— «Распутинец это!»

«Клоблохов, молчи» — подпимался с рукою рабочий — «теперь гляди в оба, когда буржуазия за Милюковым: в парламент упрет».

— «Не упрет!»

— «Ты хватай их за фраки, да задницей их о цилиндры, их собственные!»

— «Чтобы щелкали?»

— «Лучше орешком свинцовым пощелкаем мы».

Инвалид, сняв Георгия, шваркнул им: в скатерть:

— «Я жалую, братцы, за эти слова вас крестом, чтобы вы!..»

— «Да уж мы, — Бердерейко и я...»

— «А башмак этот старый, Империю...»

— «Эк!»

— «За забор!»

Уже брезжило; шуба раздвинула мех, с половым, с горбуном, пятаками расплачиваясь; и просунулось переможденное, очень бессонное, серое, полуживое, — квадратцем заплаты, — лицо.

Э, да это профессор Коробкин?

Он ночь, не имея пристанища, странствовал, чтобы решенье, один на один перемыслить, чтоб прочно отрезан был самый попят, чтобы ближние, нежно любя, не опутали бы, как сетями, заботами, чтоб не размлело решенье: избыть д е л о э т о.

СМЕРДИТ ТЕЛО ЭТО

«Пелль-Мелль» отель: номер тринадцать; и — «те́нь» — «тин-тента́нт»! Очень громкий звенец: не идут ли за ним? Это — шпоры: в двенадцатый номер.

И — с выдрогом о табуретку толкнулась коленка Мандро; и резнула поджилка; расстроилась координация нервов, — моторных: скелет в серых брюках; и — в черной визиточке; запахи опопонакса [1] держались; но сломанный, розовый ноготь — с каемкою грязи.

Все дергал ногой; поясница казалась разбитой; ходили угласто, как локоть, лопатки; а плечи, прилипшие к черепу, полуарбузом показывали спинной выгиб; и впадиной, вогнутой полуарбузом, — микитка.

Глаза — молодые.

. . . .

[1] Духи.

Стена, как с растреском; турусы: трамбанит трамвай; треск тарелок; лакей панталоны несет; коридорный — ковер выколачивает; пустоплясы, рога; точно бег кенгуру.

Точно Конго! —

Гонг —

— плески пяток: —

— идут коридорами, к завтраку, —

— Эпикурей,

Эломелло, с глазами овечьими; —

— Течва;

— владелец бакчей, Чулбабшей;

— Пэлампэ, Мелизанда; при ней адвокат Дошлякович; надутые Сушельсисы;

— Ушникáним; барон Багенбрей с Поросcенций-Фуффецием, очень желающим, чтобы его называли Металлом Фуффецием;

— Карл Павлердарм, —

— генерал!

С сервированным тонным подносом в тринадцатый номер влетает блистающий официант:

— «Пэрмэтэ́ ву сэрви́р» [1].

— «Антрекот?»

— «Вотр дэзир?» [2]

В табль-д'от — вход — ему запрещен, — потому что расстроилась координация: он не вставал, — прыгал, с грохотом шлепаясь; точно по плитам пылающим дергал кровавыми пятками; задницей падал на крепкое кресло, ломая крестец, — не садился.

И статная талия темнозеленым сукном, эксельбантом, орлом, то-и-дело, разбросив портьеру, высовывалась из двенадцатого: это Тертий Мертетев, породистый конь, дрогом бедер и вымытого подбородка, бросал:

— «Вы тут что?»

Часовой!

«Ничего» — сказать мало, где ноль, абсолютный, господствовал. Тертий Мертетев, достав портсигар, забивал по нем пальцами; и в черных пуговицах, — не глазах, — в черных коксах, в усищах, подобное что-то сочувствию вспыхивало, потому что дивился он — перемертвению нервов.

[1] Позвольте вам услужить.
[2] Чего изволите?

В КОРИЧНЕВОМ АМЕРИКАНСКОМ ОРЕХЕ

В коричневый, американский орех удивительно мягких диванов не строились при́держи поз, сервированных, поданных точно на блюде; размление тела, которого бляблая кожа — рук, ног, живота, отвисающих ягодиц, — пуговицами штанов перетянутая, точно клейкое тесто; оно, точно кляклыми пальцами, капало из-под костюма, которым когда-то парижский портной прошикарил.

Сияющая минеральным бессмертьем эмаль, — не лицо, — точно пломба, на корне зубном.

Коли снять, — будет яма, — из шерсти: меж умными мигами глаз, нижней челюстью, двумя ушами.

И — без парика!

Запыленный парик красный отсверк, как нáсмех, разбрасывает в фешенебельный, лондонский штамп — с канделябрины: — под бронзой ламп!

И — каемочка марли!

Танцмейстер, протрепанный и захромавший на обе ноги: да, да: вид — гангренозного!

Нагло разинувши рот, снял с корней, точно бонза, под Буддой обряд совершающий, челюсть; ее положил под парик, чтоб она досыхала под лондонским штампом.

Тут — Англия, Франция, с их «друадел'ом» [1],

«друаде Ром» [2], —

— «друадемор» [3], —

— а не остров Борнео, —

— не чащи, в которых макаки, боа, какаду́, и которые рог носорога ломает.

Здесь, все же, отель, — где — под зеленоватое зеркало сдавши портфель, котелок, пальто, трость, из передней летит коридором Велес - Непещевич в разблещенных лаках, засунувши руку в карман; в нем — битка.

Уши слушают: точно бутылка огромною пробкою бохает рядом, в двенадцатом:

— «Англия!»

— «Франция!»

О, —

— Малакаки, Мандро, Домардэн, доктор

[1] Право человека.
[2] Право Рима.
[3] Право смерти.

Дро, проктор Дри, —

— или Дру —

— друа де мор, —

— только

визы транзитные на истлевающем листике: паспорта.

Молодо светом играли глаза, нарушающие впечатленье; «н и ч т о», осознавши себя с облегченьем, с огромным, без штампов и виз, упиралося задницей в крепкое, американское кресло; открылись вторые глаза, на себе разорвавшие первые, точно сорочку, в пре-красные фоны диванов, прислушиваясь, как в двенадцатом хлопает голосом этот Велес, — вероятно, кидаяся корпусом, черным квадратом; и — пяткою пó-полу щелкает.

О, суета сует!

С НАПОЛЕОНОМ

О, радость свободы, — не есть, или есть, испражняться, иль не испражняться, пред блещущими писсуарами! Или, — отщелкнуться дверью с «ноль-ноль», щелком выкинув «занято», с кряхтом согнуться, — затылочной шишкою под потолок, точно кукишем, броситься: в корень вглубиться речений: царя Соломона!

Не бить двумя пальцами дробь; безо всякого страха о губы помазаться пальцами: эта привычка Мандро выдавала; теперь уж привычка не выдаст, когда «Мандро» — выдан.

О, счастье быть телом!

Эпоха притворства, история древних культур, — Вавилона, Египта, Ассирии, Персии, — через которую он, «Ф о н-М а н д р о» проходил, свою длинную выкинув руку с сияющим перстнем финифтевым, в пальцы зацапав портфель, чтобы шкурой песца голубою овеять могучие плечи, — прошла!

И столетия новых культур отчесал уже он, как «Друа-Домардэн», нанося свой визит этим — Наполеону, Маркизу де Саду, Филиппу Красивому, — перебегая историей, как коридором по каймам эпох: от блистающих касс, до блистающего: писсуара!

Довольно: пора с откровенным комфортом вращаться меж атомами — Гете, Канта, Тиглата-Пала́ссера, — атомами Домардэн !

Не спросят:

«Чьи атомы?»

Дела нет, — чьи.

Пусто небо над трубами: разве есть знак пролетающей птицы? Над этой трубой летел дым; били крыльями — галки, вороны; и проверещал раз пропеллером: Сантос-Дюмо́н; он — Лизаше понравился.

Небо — пустое; никто не отметит, куда улетел: так собравшее ветер в пригоршни, в одежду связавшее воды, пустая иллюзия, —

— «Я» —

— свои выпустит ветры; вода утечет: в писсуары; и будет — «ничто»!

Все же силился с кресла сойти, точно полураздавленное насекомое, жалко прилипшее к месту раздава.

ОНИ ЖЕ НЕ КИНУЛИСЬ

Скакавшее тело губами писало губернии в странных усилиях передержать ерзы тоненьких, как у караморы, ног, зацеплявшихся, точно крючками параграфа, дергаясь под бронзой лампы; и вывесилось в коридор вопросительным знаком, затылочной шишкой торча в потолок, и лицо, оброненное в грудь, укрывая в муар отворотов визитки. Как плети, не двигаясь, руки повисли, загнувшись кистями, поддерживая упадающие из визитки манжеты, которые уж не пристегивались.

Но глаза, выражающие величайшую пристальность, — смыслили; и любопытно метнулись в двенадцатый номер, где виделась мебель — небесного цвета.

Лебрейль, в черном платье, стеклярусовом, с разлетевшейся юбкою от голубого дивана, сидела с коленкою задранной, с вытянутой напоказ мускулистою, смуглой, другою ногой в вуалетке чулка — цвет «гренуйль»[1], — и показывала равнодушному Тертию кружево бирюзоватых своих панталончиков.

Видя издали кокавшее каблуками сутулое туловище, отвалилась она к Непещевичу, ухо топырившему в сладострастные губы ее; и «В а д и м В е л е м и р о в и ч», всей геометрией корпуса, слева направо, сломался — к Мандро:

— «А танто́!»[2]

А Лебрейль изощренным мизинчиком — к горлу:

— Ассэ: жюск иси́!»[3]

И Вадим Велемирович ей, точно пробка захлопавшая:

---

[1] Лягушачий.

[2] В смысле «до встречи».

[3] Довольно: сыта по горло.

— «Компреансибль!»[1]

Геометрией корпуса, — справо налево, — к Мертетеву, Тертию.

— «Тертий?»

И Тертий, рукой захватя эксельбант, пятя грудь, как держа караул в императорской ложе, вскочил, согласясь головой, и подбросивши руку; и задом заерзал из двери за тяпавшими каблуками Мандро-Домардэна, который ведь знал, что за ним как затяпает эта компания пятками, в мягких коврах, коли он не свернет пред уборной: Вадим Велемирыч, ручной захватив молоток, пересапывая и хлебая губами, как бешеный боров, — ударится: в спину!

И — остановился: в задохе;«они» же не кинулись.

КАК ПИССУАРЫ БЛИСТАТЕЛЬНЫ!

Как писсуары блистательны!

Перед одним — Домардэн; Тертий — перед другим, пятя ноги; меж ними — дымок от сигары Мертетева, обремененного домыслами: в писсуарах — он мыслил, страдал и любил.

— «Суета сует — все; ветер ходит кругами; и — воды текут!»

И струя лепетала; над нею Мертетев грассировал:

— «Все мы родимся от похоти — в похоть» — расставил он ноги:

— «Течем, как струя из сортирных пространств».

И с прикряхтом застегивался.

— «Даже имя» — два шага к фарфоровой чашке — «сотрется; скажу — а пропо̀[2]: писсуары опрятнее, чем будуары».

Стряхнул бледный пепел в фарфоровый и округленный оскал:

— «Их же дезинфицируют».

И он с мечтательным вздохом сапфировый выпыхнул дым:

— «Как не бывшее бывшее: несколько лет, и — кто вспомнит, что Тертий Мертетев с Друа-Домардэном стояли здесь, выпятив ноги; и — мыслили здесь».

Но Мандро не ответил, принюхиваясь; но зачиркали блеском вторые глаза:

— «Караулимый вами» — пунцовые десны беззубо оскалил — «спокойнее вас; и — свободнее вас».

И заикою став, продрожал:

— «Негодяй я ужасный, — попал» — эдак скалясь, похабничают «негодяю ужасному в лапы».

[1] Понятно.

[2] К случаю.

О, странно живые, — ужасно живые, — мерцающие над беззубым оскалом глаза!

— «Вы, почтеннейший, — тише» — Мертетев ему, подходя к умывальнику:

— «Этот Вадим Велемирыч, откормленный скот, — «непщевати вины о гресе́х», — так его называем, — чудовище грязное; ну, а приходится, в корне беря, с философским спокойствием действовать: вы не волнуйтесь».

Свои руки вытер:

— «Прене́: сэрвэ ву́»[1].

Передал полотенце:

— «Прискорбная штука есть жизнь».

Но ударило, как по щеке: это — чмокнули губы:

— «Мэрси!»

Что-то вроде неистового поцелуя!

— «Не мучайте: сразу» — глазами хотел приласкаться — «убейте!»

С неистовой ненавистью:

— «Задразненье!»

Рука жестяная клещами схватила его:

— «Замолчите: идут!»

И Мандро, понимая, — за все отольется, — простроил невинную мину, как пляшущая обезьяна: под лапой бичующей.

— «О» — ненароком профессор Душуприй влетел, торопливо насаживая на горбину дерглявого носа расставом локтей золотое пенснэ: золотые показывал зубы:

— «Ну?»

— «Как?»

Бросил руки сочувственно и патетически:

— «Вот человек? Ему лавры срывать, — а он вот что!»

Мертетев же в ухо Душуприю:

— «Плох!»

Но Душуприй свои золотые показывал зубы:

— «Вы знаете?»

И очень сухо с горбины низринул на черную ленту пенснэ свое:

И очень сухо с горбины низринул на черную ленту пенснэ свое:

— «Я — старый медик: а я ничего в нем не вижу особенного: шизофрэниками кишит мир».

И — пошел к писсуару, где стал облегчаться, чтобы, убежав к рукомойнику, — руки помыть: —

— да, —

[1] Берите: к услугам.

— кордон — утонченный; в глаза не бросается; цепче он проволоки; и — надежнее кандал.

. . . .

Мандро же, зафыркав, шарчил и кидался простроенным клином своей бороды над бабацавшим в тяжких усилиях телом, Содомы вовеки веков свой оскаленный рот, бросая в котором скрещалися темные, сизые полосы в клеточку с шашками; громко в пустой коридор брекотали — брю́, брю́, — попирая ковер, на синими блуки — над историями: древней, средней и новой; — ка-

а следом за ним, держась линии каим, вдоль стены, поправляя орла, шел Мертетев;

и ерзавшим задом свой корпус качал:

Перед дверью в тринадцатый номер Мандро торопился ему досказать писсуарные мысли:

—«Кривая не вывезет: и —кривизной кривизны не исправите. Непротивление, — я, к сожаленью, к нему пришел поздно; тогда б не имел удовольствия с вами в беседу вступать».

И Мертетев, подбросивши руку, одной головой согласился:

— «О, да! Суета сует! И — честь имею».

Защелкал в двенадцатый номер.

Мандро же затылочной шишкой — в тринадцатый; и — налетел на Жюли де-Лебрейльку.

УБИТ ПУБЛИЦИСТ ДОМАРДЭН

Нога-на-ногу, стан изломавши, без лифа, показывая мускулистую, смуглую, голую руку, подмышку и груди, — застрачивала что-то на́спех она в свой блокнот, отняв столик.

Как? Корреспондирует?

— «Акикуа́?» [1]

А она, настоящий гарсон, повалясь на козетку, сучила ногами с тем видом развратным, с каким обнажала когда-то пред ним свои прелести:

— «А-а-а-а́!»

С перекатами: про «Фигаро́»[2].

Что? Кому?

[1] Собственно: «А ки́? Куа́?», т. е. «Кому? Что?»

[2] Газета.

Вопрос — праздный, — как если бы спрашивать, — кто он: Иван, Каракалла, Нерон, — питека́нтропос? [1]

В доисторической бездне сидели.

Схвативши за плечи Лебрейльку, ее протолкав за альков, он ей лиф зашвырнул, чтоб оделась:

— «Лэссе́ муа́ сёль»[2].

— «Крэатю́р!» [3]

— Он услышал:

— «Саль сэ́нж!» [4]

Надев лиф, ставши вза́верть, бросая блеснь черночешуйчатой талии, юбку рукой захватив, точно вставшая на лапки задние ящерица, шустро шуркнула, точно сухою осокой, в двенадцатый номер, не видя его, будто он и не воздух, которым он все еще дышит; лизнувшись, одернувшись, дернувши носиком, — дверь за собою на ключ; офицерам чеканила твердо головкой, рукою, зажатою бровью.

. . . .

Мандро же забытый, блокнотный листок зачитал; и в глазах у него заплясали французские буквы:

— «О, ò! О, лалà!»

Там стояло: «Такого-то, там-то» (но — пропуски; не обозначено)... — «Пулей шальною убит публицист Домардэн».

«Дьё де дьё!» [5]

Домардэн — существует!

В эфире он, отображение прошлого, легкой волной световой, километры отчесывающей от нашей земли: триста тысяч таких километров в секунде; и скоро уже: Домардэн будет зрим в телескоп с Волопа́са: с созвездия Солнца—он стерт. Все же: он виден в эфире!

В его физиологии, все еще мысль источающей, психики нет: психа психика.

Мысль далека, как... созвездие Пса.

ЖДАЛИ СЛУЧАЯ СТИБРИТЬ

Мертетев в двенадцатом номере громко докладывал перед Велес-Непещевичем, Миррой Миррицкой, достав портсигар:

[1] Переходная форма от обезьяны к человеку.

[2] Вот созданье!

[3] Оставьте меня одного.

[4] Грязная обезьяна.

[5] Бог богов.

— «Силы нет!»

С треском бросил на стол портсигар.

— «Поскорее!»

Велес, вздернув плечи, оправил субтильно визитку, над пепельницей тупо дуясь.

— «Имейте терпенье».

Почтенный свину́х, пережевывал что-то кровавою челюстью, тонус тупого молчания для; и Лебрейль — ногу вытянула, свои икры разглядывая:

— «Бьэн пикан: са шатуйль!»[1]

И он выбросил:

— «Случая нет: пока этот торчит Кокоа́кол, — воняет английским посольством».

Лебрейль, тряся белой копною волос, подавилась, как дымом, от смеха:

— «Фэ рьэн!»[2]

Но Мертетев шагал и рукою зацапывал, тыкая пальцем с сигарой в тринадцатый номер:

— «Он — мучается!»

— «Надо длить!»

Непещевич бычиную шею с надутою жилой показывал, ухом разинувшись:

— «А то придут: и — украдут».

И тонус тупого молчания — длился.

— «В чем дело?»

Мертетев брезгливо подергал мизинцем, над пеплом сигары, которую в пальцах зажал он:

— «Сэрвис милитэ́р?»

— «Нет, — печать не приложена, Тертий» — Велес помигал, точно боров, с корыта топыривший рыло.

— «А мы-то? Вторая неделя. Да он безопасен теперь: не ворующий вор!»

Но Велес помотался:

— «Коли англичанам отдать, они спрячут его в Полинезию... Маленькая табакерка недавно еще продавалась; в ней чортик: откроете, — чортик пружиною дергает под потолок».

Щелки: глазиков — нет; а в них жил — умный глаз:

— «Он и выскочит из Полинезии: к Грею; а Грей — к Клемансо».

[1] Пикантно: это щекочет.
[2] Ничего

И тут —

— глаз осьминога, преумный,

— из глазика: вымерцал.

«Пусть он один погибает, коль, — пусть ненароком, узнал слишком многое; вбить в это дело осиновый кол, чтобы прочная точка была».

Он пошлепал губой кровожаждущей.

— «Дочь же насиловал, глаз выжигал» — приводила резоны Миррицкая Мирра.

— «Пустяк-с!» — Непещевич пошлепал губой кровожаждущей.

— «Суть в разговоре Бриана и Грея, который он знает».

Лебрейль, сломав руку, пропятивши впалый живот, неприлично расставивши ноги, хваталась ладонью за перекиседодородные космы, дымочком выстреливая: нет, куда провалились — мадам Тилбулга́, Тотилто́с, Лавр Монархов, которому можно... показывать...; «эти» — не смотрят.

— «Итак?»

Положили убить; ждали случая: стибрить, чтобы тибримый, ставши невидимым, точно секретный пакет, ускользнул от английских агентов.

. . . .

Был «т и б р и м ы й» незапечатан пока; и ему принес завтрак лакей; повязавшись салфеткою, вынувши челюсть, ее положив на тарелочку, кокнул яйцом: слизевидная вытекла в рюмочку жидкость, как глаз, — за желтком.

Он — расплакался дрябло на кареоранжевых каймах, подбросивши в лоб жестяные какие-то руки: условный рефлекс, — вероятно.

Свернувши на сторону рожу и точно привязанный к креслу, из кресла висел, разорвавши свой рот, точно в крике, — на кареоранжевой пляске с наляпанной дикою, синею, кляксою.

Крик был немой.

Полусон, полубред поднимал точно дымку, сгущаясь томительно в сон, ударяющий с катастрофической четкостью.

ВЕРЧИ ЖЕЛЕЗНЫЕ

Пушка; ядро, — шар железный; расхлопнулось дверцем; и в нем, как кабина; и узник — под локоть введен; ядро вставлено в пушку, которая — хлопнула — в небо! Планета отхлопнулась; пол — потолок; потолок — пол; закон притяжений — не есть

Узник, чувствуя кожу в местах, где понятие «к о ж а» есть бред, с ароматной сигарой в руке — пред стеклом, за которым, разверзлены звездные бездны дождей и баллистика быстрых болидов по Коперниканским пустотам фланирует, — уже отклеившись кожей от мест, где «Мандро» созерцает иллюзии распространения волн световых, без иллюзий доваривая из «ничто» свои дряни, — имея, — дох, пот, перетуки сердечные.

Видит же он —

— механические происшествия быта электромагнитных субстанций, которые можно двумя пузырями глазными окидывать, но о которых сказать уже некому.

Быть без иллюзии!

Психика, — страх, угрызения совести, — ноль; физиология переживается цифрищами, напечатанными в миллионах сплошных километров; один, —

— ноль, ноль, ноль, ноль, ноль,
ноль, —
— и —
— так далее, далее, далее, далее,
далее!

Есть ощущения: выдулись, выпухли, точно перины в окне; палец — бычий пузырь; губа — аэростат.

Не Мандро, —
— а —
— рорд —
— верч осей: механическая пертурбация!

Еще отрыжка сознанья: заботы о болях, которые будут, когда разлетится в кабине стекло, и «ничто», как живое чудовище, переваливаясь, раскусает варящие органы; железы — еще живые; зубной корень дергает; жахала страхом не смерть, — акты тела: чем? Ломом в висок? Биткой по-носу?

Штык протыкает пальто; протыкает пиджак; и наткнувшись на пуговицу, раздирает белье; под пупком холодочек от острого кончика; рвут эпидермис; и — гранное вводится что-то — в кишку: о!

Внимание сосредоточилось на палачах: и событие с выжигом выбухло, как световою кометой слетающий перст сквозь кольцо из созвездий: палач — он!

И солнечно выблеснуло из ресничатой, как фотосферы, багровое, злое и острое око профессора, перекосясь в яму мира еще до создания мира, — коситься т у д а, когда мира не будет! Огромный профессор, железный, скрежещущий выгнется с кресла, — в ничто из

ничто, — провисая сюртучною фалдой: хвостом, из которого хлещет циан, все наполнивший.

О, бесполезный железный близнец с очень странным телесным составом — заглотанным воздухом, принятой пищею, переполняя атомные поры, пройдет разреженным кометным хвостом сквозь сквозного Мандро, разбухающего в разреженную орбиту мира развалами атомов, перетрясаемых взрывами сил электронных.

«Мандро» —

— пертурбация,
— или — градация гибелей!

. . . .

Сон: —

— сели в кабину они, проницая друг друга, лупя к своим гибелям: в странном согласии опытно переживать свои гибели: точно над трупом орлы! Юбиляром профессор сидит; он напялил цилиндр Домардэна, и скинувши тело, пропоротое, как лакею протертую шубу, — с плеча: на Мандро: «Вы закутайтесь!»

Температура ужасна!

Профессор показывает на окошко, в которое ломится кубово-черное чорт знает что! А Мандро, головою зашлепнувшись в спину, трясется, поставивши клин бороды, с горькотцой кисловатой губами нажвакивая, потому что он знает: в сиденьи, под задницей, нечто подобное яме фарфоровой с надписью фирмы, испанской, откуда спускается все, что ни есть, стоит дернуть за ручку.

Профессор же радуется:

— «Говоря рационально, еще неизвестно» — рукою в окошко показывает — «что вас, ясное дело, там встретит».

За ручку хватается, чтобы Мандро, точно воду, — спустить:

— «Человек я жестокий: жестоко караю!»

. . . .

Словами такими, вскричав и проснувшись, Мандро сиганул над приличьями света из кресла.

Вскочили в двенадцатом номере.

Понял он, что — цоки шпор; в коридор; к де-Лебрейль кто-то шел, кто являлся как будто за телом: был кто-то, кого он не видел среди офицеров; являлся — за телом; но тела ему не давали; и он уходил без него.

КЛЯКСИНЫ, ИЛИ КРОВАВЫЙ КАНКАН

Из портьеры ударами пяток, защелкавших, точно бичи, на него головой, как биткой, Непещевич, Велес; с ним — Миррицкая; с ней — оперстненные пальцы Мертетева, воздух хватающие; с ними всеми — такой офицер приходил — Кососóко.

Вердикт?

— «Вы кричали?»

Но сели, глаза опуская:

— «О чем?»

Он же ногу согнул, схватя кресло; и серою, светлою брюкою выуглился, ее крепко общапав власатыми пальцами и в нее влипнув углом подбородка клокастого; смыслил живыми глазами под темное с бронзовым просверком поле обой, на которых заляпаны кляксины, черные кольца в оранжеворжавый квадрат; заугпились лопатки; визиточка черная — стягивала, как корсет.

— «Нет, о чем вы кричали?»

— «Он знает, о чем я кричу, потому что он знает, кто я»,— на Велеса оскалился.

Тучный Велес, вынимая сигару, не видел его: только кресло; и воздух: над креслом; бесило, что он называет себя Эдуардом Мандро, — не Друа-Домардэном, хотя состав букв и количество их — одинаково; установили врачи: паралич; почва — сифилис; что же, — одних превращает болезнь эта — вМану [1]; других превращает — в «Мандро»!

И Мертетев взорвался; ладонь над щекою занес:

— «Издеваетесь?»

Пальцы, щипавшие воздух, не дернули уха; они заиграли в дрожалки; казалось: все вместе сорвутся и будут выкрикивать хором багровые ужасы —

— в Лондонский тон, в бронзу ламп, в жирандоли и в чернолиловые шторы!

Один Непещевич никак не дрожал.

И Мертетев, отставши от уха, стыдясь, растирал о ладонь свой кулак.

— «Сумасшедший вы есть: сифилитик несчастный!»

«Несчастный» сказал, отвечая на жест заушения, а не на слово, внимая себе, как другому:

— «Я правду сказал».

[1] Мифический законодатель Индии.

И казалось, что он подавился, схватившись за грудь, на суровое поле обой: с красным просверком; не понимал: коли пишут, что пулей убили, — зачем де-Лебрейль чемодан собирала на фронт.

— «Чего медлите?»

Спинами все повернулись и громко кричали о нем: точно то, что сидело и громко икало в рот Мирре Миррицкой, — сидело, зашитое в куль.

— «Невозможно ему в таком виде являться в курительную: его издали надо водить».

Он подшучивал:

— «Я, точно мамонт, показанный в дали времен!»

Так кончалось общенье: с животным, растительным царствами; мир минеральный остался: железная проволока, гвозди, штопоры!

— «В далях времен: с павианом мандр...»

Руку отвел, — ту, которую Тертий на рот положил:

— «Виноват: говорю, — с павианом мандрил».

Задышал (точно били), вперяясь в Велеса, который ведь был безоружен, — сутуло, и тупо шарча, дуя губы сплошной шансонеткой, чтобы над оранжевокарим ковром, заглушающим шаг, на котором разляпана дикая, синяя кляксина, и — с места сорваться в кровавый канкан!

Это чудище встало: и вышло с попышкою, их уведя за собой.

. . . .

Есть в паноптикумах перед пыльною шторой доска: «Просят дам и детей не вводить»; но вы входите; и натыкаетесь на восковые, холодные куклы, одетые в пыль и протреп сюртуков, со вставными глазами; и — с идиотическими, удивленными, детски невинными, но бородатыми лицами, в галстуках, в черных жилетах, в очках, с обнаженной рукой, или с пяткой, покрытой прыщами, гангренами, — сделанными.

ИНТЕНДАНТ ТИНТЕНТАНТ

Телефонное ухо: с далекими центрами соединили его; затрещало:

— «Спасение есть!»

Пустотряс: кто спасет?

Тук, турусы: — тарелки, плеск пяток; рассыпали пуговицы роговые; рога; шаг — спасителя — по коридору!

Он — выскочил.

Пуст коридор; но — два глаза в конце.

Свет?

Нет —

— глаз офицера высокого, с тонкою апоплексической шеей, и с синим совсем сумасшедшим, от бешенства диким, лицом!

Офицер, захватясь за бородку, вперился в то место, которое стало «Мандро», как в тарантула скачущего, вызывающего в нас мгновенно же два рода чувств: прочь бежать, раздавить.

И услышалось издали, как клокотание тонкого горла, сжимаемого подлетевшею к горлу рукой.

И Мандро:

— «Что вы так?»

Никого!

Было: числясь Друа-Домардэном, уже отчислялся от всяких «друа̀» [1] на Друа; и хотел сигануть через кресло: — оранжевопепельный фон, — как пожухлая шкура распластанного леопарда.

Хотел сигануть в темночерные пятна на бронзовом темном, как шкура боа, — коридора какого-то; из глубины коридора хрипел синебакий; не горничная выбегала на зов и; и — когда это было? И — где?

И не вспомнилось.

Ассоциация вспомнилась; она бессмысленна: мелким петитом, без шпон, сочетание букв: — «Интендант Тинтентант».

Водосточная крыса — в захлопе метается; случаи были, когда разрывалось крысиное сердце.

ЛИЗАША, ЛИЗАША!

А дни проходили.

Закончено, разрешено: ликвидация органов; урегулирован этот вопрос, пересчиганы» ребра; есть метка в жилете, куда ставить дуло, когда они с «этим» приступят.

Готово!

И можно сидеть, опочивши от дел; сутки — ящики выпростанные — века; и четыре недели — три тысячи лет — с того мига, когда стал готов; а в желудочках мозга катались какие-то шарики воспоминаний (в обратном порядке); причины, как следствия, виделись роем возможностей; переживалися многие жизни в одной.

Малакаки, греченок, — пред торчинской лужей помедли, — скотину Мандро, его усыновившую, верно б не встретил: сидел бы под вы-

[1] Прав.

веской: «Губки»; на жизненной линии точки суть пересечения линий, которые все перемыслить — стать — декалионно-живо́тым и декалионно-головым, разбухнувшим: в судьбу судеб!

И Друа-Домардэн, разнесенный на буквы, — «дээ́р», «уадэ́», «оэма́», «эрдеэн» — и мандро, и Мордан, и Моран и Роман; модуляции — Наполеона, бушмена, убийцы родителей, — Карра; и — Марра!

Мандро — сумма всех воплотимых варьяций; он стал спекулянт.

— «Вы артист спекуляций», — ему говорили.

Он мог бы сравняться с Рокфеллером; и среди русских дельцов пройтись поприщем слав; ноги быстро всучив в камергерские, белые брюки, сигал бы еще, чего доброго, он в золотой, оперенной едва, треуголке — семидесятипятилетней развалиной!

Зуд любопытства, его, безыменку, в рои, безыменок, — увы — засосал; рой в роях — гадил, резал, насиловал, падал — в одних роевых, становящихся, нигде не ставши: «кабы́», да «как бы»; но «кабы́ба» такая — тоска.

Все рванулось в нем вдруг:

— «Если б был!»

О, он знает теперь, что звездило, откуда звездило: —

— из глаз, и

тогда понимавших его, не понявшего вовсе себя: —

— из глаз: дочери!

О, о, — что сделал с ней!

Она увидела — спрутище!

Переменить точку зрения ей; и — какая бы жизнь началась?

— О, верните ее! Дайте только возможность вернуться, — начать!

Дайте только возможность сказать:

— «Я, Лизаша, теперь, неувиденное всею жизнью всей смертью увидел, чтоб жить!»

С ОГРОМНОЙ, КАК ХОБОТ, РУКОЮ

Де-Лебрейль и Мирицкая, Мирра, однажды пошли посмотреть на него: в половине двенадцатого; он, белея глазами, теряясь сознаньем, сидел, отвалясь, точно камень.

И — он им сказал:

— «Подойдите, — не бойтесь меня; дайте выпить: я силы теряю».

Они же стояли, как мертвые; не подошли, потому что его, как и не-было: дергались губы одни.

И пошли к Непещевичу: посовещаться:

— «Он просит воды; не послать ли за доктором?»

— «Только натерпитесь муки вы с ним», — Непещевич советовал, — «лучше оставьте его».

В половине второго вскричал:

— «Приближается».

Выкинулся в коридор.

И пустой коридор огласился, как рукоплесканием, шлепами ботиков под потолок, возвещающих —

— о прохожденьи вселенной сквозь место, где гибла другая вселенная: декалион лет назад!

. . . .

Это в светлостеклянных, раздавшихся шире и выше пустых коридорах, с портала (парламента точно), под выгибом свода, между двух колонн облицованных —

— топал —

— профессор Коробкин —

— в облезлых, медвежьих мехах, наставляяся котиком, как клобуком, на Мандро, бросив руку вперед, —

— держа вспыхнувший диск в позе дискометателя: это был — отблеск!

Он шапку сорвал; и остался в своей седине, точно в шлеме гребнистом; рука показалась огромной, как хобот, в прорезе осолнечном; корпусом еле дотягиваясь до руки, он бежал за рукой бородой освещенной, как будто светильню держа и боясь ее выронить.

Бег этот, вляпанный в уши, — сотряс; и отпрянул Мандро, не узнавший профессора: — тот ведь был — темный, двуглазый, с каштановою бородой, с налитыми лукавством щеками; а этот — седой и худой, с прощербленным лицом, перестроенным силой, переосвещенный; вишневого цвета вцарапанный шрам; коленкоровочерный квадратец на глазике; — нос, окрыленный бровями, как кариатида, поддерживал крутой лоб, на котором морщины, схватясь, быстро сделали: — «же», «и», «з», «н»!

. . . .

Отпечаток в глазу дольше держится в миг потрясенья; светящийся контур от ели, торчащей вершиною в небе, когда перебросите глаз, точно с ели снятой, вырезается в небе; в минуты волнения — контур отчетливей.

Это доказано Гете [1].

Мандро, потрясенный все эти последние дни до развала мозгов и составов, увидел вокруг головы — световую, вторую, огромную, ширившуюся; прижатый к стене, он закрылся рукою; сквозь пальцы увидел: стен не было; был — дым из глаз (очки черные портили зрение); и, как оптическая аберрация, вляпанная в горизонт: фотосфера —

— огромной, безлицой главы, напечатанной, как на пластинке, —

— из дикой вселенной, в тот миг просекающей: нашу вселенную!

В КОРНЕ ВЗЯТЬ

В то же мгновение локоть толкнул со спины.

И — профессор, приземистый, крепенький, быстренький, видясь заплатой, пылинкою каждой, морщинкою каждой, прорявкал:

— «Ах — да-с: виноват-с!»

И пронесся: на двери в двенадцатый номер; на номер двенадцатый выпятил нос; и отчетливо тяпнул:

— «А-с?»

— «Рядом!» —

— «Дом» — точно пощечиной эхо отляпало в ухо!

Профессор, увидев Мандро и его не узнав, подсигнул:

— «Извините, пожалуйста, — это...?»

И видя открытую дверь, трижды стукнув, — в тринадцатый: пуст; на Мандро повернулся.

В двенадцатом тоже услышали; нос показался оттуда.

Мандро, за профессором в номер влетев, ключом щелкнул; им в спины шесть пяток прощелкало: по коридору, — к тринадцатому.

И тут скинулись, точно наушники, уши: с ушей; катарактами спали два глаза: с глаз; а обертоны, слагавшие звук диких воплей, изведанный, странно кивнули из «в корне взять», из «извините пожалуйста», как роковое, ужасное: —

— «З-д-рáá-в-с-т-в-у-й!»

Видно, в спине у Мандро скрыто память сидела; нашептывая —

— тридцать месяцев —

— о, —

[1] В его световой теории, в главке «Субъективное зрение».

— капли красные: капали!

Тут и орнуло, с Мандро: из Мандро:

— «А!»

— «Узнал!»

Голос недр:

— «Поднимите мне веко!»

И тут же, — как бы вперерéз, — как навстречу, — открытие, точно не нашей вселенной: на этой планете лишь двое тот опыт несут; стало быть: только двое друг другу сумеют сказать нечто новое — о таком опыте; о, только двое, включенные в эту тюрьму, понимают друг друга; и — стало быть, — тянутся, точно железо, к магниту меж ними!

О, в невыносимости наглой почти до преступности встрече, ломающей все загражденья морали, возможной в условиях двух сумасшествий, —

— у двух сумасшедших, —

— вскричало в Мандро точно горло гиганта, уже безголового, сбрасывая черепную коробку, скатившуюся, как парик, им повешенный на канделябрину:

— «Вот... собеседник — пришел!»

В токе молнии, рвавшей палимые нервы с ушей и до пяток в одну миллионную долю секунды, мелькнуло: и трясом, и перескакáньем с предмета к предмету: — парик, челюсть и бриллиантин; а за ширмой, с постели, — «дессý» де-Лебрейльки!

И — как два потока, два ветра: сквозь ветры.

Один поток: как расширение газов, сорвавшее череп, как клапан котла, — расширенье в пределы, где нет притяжений, куда не додернуться гостю железному.

Другой поток: удар болида по черепу: из бездны звездной ядра с распахнувшейся дверью кабины, откуда профессор Коробкин с «пожалуйте-с, милости просим» — выскакивает; а Мандро на него головную дыру разевая, как широкоротая рыба, на береге бьющаяся и в задохе просящая, чтобы ее в воду бросили.

Так запросилось в Мандро из «м а н д р ы» что-то с ним на словах, своих собственных, бросивши на берегу смрадный труп, по воде —

— на словах —

— побежать —

— с э т и м: к э т о м у!

Только е м у, только э т о в пригоршне снести; и в пригоршню принять из ладони —

— то, —

— что э т о т даст!

. . . .

И больными ногами, с подкидом и топом почти что копыт, перебросилось к двери в двенадцатый номер, чтоб выбросить дверь, вырвать ключ, от Лебрейль, им замкнуться: от мира.

— «Секундочку... я...»

«Щелк» —

— остались в к а б и н е, закупоренной герметически: тронулись —

— в сон о к а б и н е!»

ПРОФЕССОР

Профессор влетел такой маленький, быстренький, в шаг тяжелящих мехах, не сняв шубы, и шапки не бросивши, ерзая глазками мимо Мандро и набренчивая часовою цепочкою.

Остановился, как будто слетая с себя самого, на себя самого, и прислушиваясь: сбросив камень с вершины, не видя паденья, прислушаются; и — звук: в дальней расщелине!

К столику подбежал, точно поп к алтарю, на котором он будет служить; усы вглядчиво дернулись, точно на знаки ужасного культа, когда, оробев, тронул челюсть; и — на канделябре неловко поправил раскосо висящий парик.

Только тут на Мандро дернул глазом, как вор уличенный, себя приободряющий:

— «Я, говоря рационально, — едва к вам попал».

Своим глазом вынырнул он в глаза, чтоб по нервам, под череп, попасть и там зáново что-то расставить: в спехáх!»

— «И не будем касаться подробностей!»

Сел, глядя в руку, как будто имея в ней знак неизвестности.

Труп перетянутый синелицый стоял перед ним в запыленной визитке; он острые ребра и красные десна показывал.

Точно кикимора: —

— мог бы теперь он пугать, как ворон, гимназисточек; —

— прежде: —

— затянутый в черный сюртук, уважаемый всеми, и даже любимый, влетал он в передние, цидмясь бакенбардой, к груди прижимая ци-

линдр, перебрасывая на ходу —

— паре рук: пару лайковую!

Свой протреп пропыленный обдернув, затылочной шишкой и пяткой запрыгал: он чувствовал, что этот знак, ставший фактом совместного их заключения здесь, не иллюзия, а стены эти трясущая быль.

Коли так, предстоящее (а — предстоял разговор) — уже прошлое: сказано ими друг другу из бредов (и бредом отвечено) все.

Зачесал на профессора, выкинув руки и бороду, как бы имея принять неизвестность.

И — сел.

Но профессор еще подбирал выраженья: была морготня под очками; была ужасающая тишина: — эфиопская жуть в этой морде разбитого сфинкса!

Но глаз разгорался, как дальний костер: он с собою самим говорил.

ШЕБУРШАНЬЕ СТАРУХ

Точно лоцман, ведущий сквозь мели речной пароход и не верящий береговым очертаньям, вытверживал он в голове план беседы, изученный твердо, — в ночные часы, где все это давно переохано, перескрежетано ржавой пружиной постели.

Как перетащить этот плечи ломающий груз?

Миг — пришел: говоря рационально, — на камне по водам спукается, зная, что миг колебания, неосторожное слово, беспомощный морг — камень каменной массою ставши — ко дну пойдет!

. . . .

Забараракали двери, ведущие в номер двенадцатый; пестрою рожей свисавшая ткань, закрывавшая двери, гримасничила, склабясь складками; черными кольцами, точно глазами, напучились фоны обой; и глаза — ненавидели их.

— «Увриρэ́ ву?»[1]

— «Прошу вас открыть!»

— «Дело в том, что..»

— «Больному мешаете...»

«Кто вы такой?»

Это бохнуло, бахнуло, квакнуло дверью; стояло за дверью; и там восемью сапогами шарчило; ходила, как клык, перламутровогранная ручка.

---

[1] Откроете ли вы?

О, не задержать пропиравшее прошлое! Дверь — только драночка; дверной замок — только бантик! Вот-вот, разорвав настоящее, — черное скопище — вломится!

— «Ки?»[1]

— «Д'у?»[2]

И как насекомое, пяткой раздавленное, прилипает к сиденью, так он, Домардэн, в него влип, лишь отмахиваясь волосатой рукою от двери, толкаясь от двери к профессору клином волос и затылочной шишкой, другою рукой умоляя профессора не отзываться: есть всякие звуки; лицо прятая в грудь, угрызаяся, точно бесчинство, пытавшееся проломиться сюда, — его собственный хвост.

И прислушивались, как слабели нахальные трески, сменясь шебуршаньем старух; одними глазами светящимися, а не ртом, стал рассказывать о пережитых им ужасах.

Было молчанье.

Профессор, как будто не слыша, подкрадывался бородой; выраженье лица скрыв усами, развертывал бороду пальцами.

А ПОТОЛКИ ПОДСКОЧИЛИ НА МЕТР

Все ж, решаясь, нежнейше помигивая, потерялся улыбкой, как девушка:

— «Случай, меня посадивший» — усы, бездыханными став, опустились — «в лечебницу...»

И продирал свою бороду пальцами.

— «Вас посадивший...»

И он оглянулся:

— «Сюда...»

И на дверь:

— «А про это я слышал!»

Про что?

— «Сблизил нас».

Продирал свою бороду:

— «Я — знаю вас».

Оба замерли; оба, взглянув друг на друга, друг друга не видели; и, помолчавши, профессор усами вздохнул, точно деревом ветер.

«И вы меня знаете».

---

[1] Кто?

[2] Откуда?

Клин бороды перед ним засигал вопросительным знаком в усилиях не подавиться нервическим иком; мелькнуло в Мандро:

О, о, —

— страшное что-то в космe, перед ним вырастающей: невероятных размеров казалась она!

Закрываясь, повесился в кресле.

Профессор, увидевши это, пытался своей бородой и рукою умалчивать, с неуловимой почти укоризной вздохнув:

— «Вам бы надо учиться».

Мандро посмотрел на него необычно живыми, внимающими молодыми глазами.

— «Наука есть истинный свет».

Тут профессор взглянул очень строго, почувствовав, что — перепутался; перевоспитывать спрута не легкая, в корне взять, штука!

. . . .

А рожа портьеры осклабилась складкой: сказала отчетливо:

— «Это — Коробкин»!

Сказали за дверью хихиком старушечьим дамские, шелковые, кружевные «дессу́»; закачался со столика страшный парик, повисающий на канделябрине, точно с изогнутого, металлически строгого рога из фона портьеры, где черная лапа царапалась: складки слагалися в наглое рыло.

— «Эй, — вы!»

И под рылом шарахалась дверь.

. . . .

То́ за нею, расставивши фалды, Велес-Непещевич, Вадим Велемирович, в скважину вставился, хлопая глазиком, ползая им, как клопом, по профессору, за́дом из фалд на диваны небесного цвета, на Мирру Миррицкую пялясь, бросая — и брыком, и мыком:

— «Молчите».

— «Мешаете».

— «Вот...»

— «Посопели».

— «Уселись».

Миррицкая с недоуменьем, «Жюли» же с развратной гримасой бросались носами и пальцами в дверь; и потом — друг на друга: носами и пальцами:

— «Дё з'энбисиль!» [1]

— «Дьё!» [2]

[1] Две шельмы.
[2] Боже!

— «Дё фу́!» [1]

А Мертетев, схватив эксельбант, заметался меж ними двумя и Велесом, стараясь за фалду его оттащить, и, пропятивши зад, самому приложиться; Велес его локтем пихнул, бахнув пробкою:

— «Это — Коробкин!»

И все тут защелкали.

. . . .

И нарушая молчание, — трудное дело воспитывать спрута, — профессор Коробкин попробовал:

— «Весь вопрос в том, — вами нерационально продумано», — с пыхом усами подергал — «когда...»

Как сказать? Недостойно бить битого:

— «Весь вопрос в том, что не «вы», или «я»: без открытия — вы; я, допустим, — с открытием: гм!»

И отдался в дрожавшие и волосатые руки; лицо от лица, как сквозь облако облако, белым, сквозным одуванчиком в солнечный дым перевеялось:

— «Весь вопрос в том, что стоит» — и он всем существом просиял — «нас связавшее: как-с, чем-с — не важно-с!»

Одною рукой — на парик, а другою (ладонью) от сердца — на сердце; себя уверял: у Мандро — тоже сердце; теплом охватило Мандро.

— «Этим сказано все-с: мы» — ладонь на себя, на Мандро — «тут» — ладонь на парик, на козетку — «сидим!»

И Мандро показалось: профессор сидит такой маленький и не лицом, а рукой, приглашает Мандро быть свидетелем, что потолки — поднимались, а свет — нарастал:

«Чего ж более?»

В комнате вспыхнули, в корне взять, лампочки, а потолки, в корне взять, подскочили: на метр.

И СИГАЛА СИГАРА КОРИЧНЕВАЯ

Половинки дверей, разеваясь, как рот, с краком выломились; и, как ус, разлетелась портьера.

И, —

— руки в карманы, —

ощупывая вероятно битку, подбородком,

[1] Два сумасшедших!

вдавившимся в грудь, и безлобой, свиною щетиною — в комнату эту —
—Велес-Непещевич —
— шагнул!

И за ним, раздирая портьеры, просунулись — три головы.

Домардэн с минеральным лицом заводной, механической куклой паноптикума на Велеса задергал: болбошить багровые бреды — их стиль; из-за солнечных зайчиков пеструю рывом козетку схватил с неожиданной силою он; и махнул из сияющих светом пылей на чудовище, из лабиринтов другого какого-то мира ползущее с мыком, которое село отскоком на корточки с глупой улыбкой, готовое на что угодно: скакать, так скакать, приканканивая, или, если угодно: рвать мясо зубами!

Меж ним и Мандро бахромою мотнулась козетка упавшая.

Нет, вы представьте: сигару свою зажевав подбородком, Велес-Непещевич присел за козеткой, балбоша по ней кулаком, зажимающим, точно бинокль, — металлическую зуботычину; как из-за ложи, окидывая клоунов: «Здравствуйте, — вы!»

И сигала сигара коричневая из губы оттопыренной.

Три опустились за ним головы, показав три спинные дуги.

Непещевич откинулся:

— «Да не мешайте!»

— «Не перебивайте!»

— «Не путайтесь!»

Он, дипломат и чиновник особенных их поручений, насасывал дым, выжидая спокойно того вожделенного мига, когда совершится выламыванье инструментами — красного мяса — из мяса!

И три головы — отступили.

А он, положив свою голову на́-руку, руки локтями к козетке прижал: панорама!

АНГЛИЙСКИЙ АГЕНТ КОКОАКОЛ

Мандро, захватившись за грудь, раскрыл рот — извизжаться: на чудище; но — он не мог; и, грозя указательным пальцем ему, острым клином волос под профессора дернулся:

— «Я заклинаю вас, — не обращайте вниманья на «э т и х»; они постоянно присутствуют тут».

Скрестив руки, профессор одной бородою вильнув, не взглянув, отвернулся, подставивши спину Велесу:

— «Садитесь», — к Мандро он — «чего это вы?»

Игнорировал взломщиков:

— «Я никого тут не вижу-с!»

Взглянул на парик; предстояло ж ему повернуть колесо рулевое: мель близилась; и пароход мог пробоину дать:

— «Нас — ждут; мы — пойдем».

Но Мандро передернулся мукой:

— «Не пустят меня».

— «Проведу-с!»

И порадовался на лицо, искаженное мукой, что есть-таки мука!

Велес-Непещевич же, сообразив что-то, — бах:

— «Кокоа́кол — сидит?»

— «Я не знаю», — ответил двенадцатый номер.

— «Валяй, Кособоко!»

И шпора задергала: по коридору.

Английский агент, Кокоа́кол, Колау, был тайно приставлен к французской разведке.

Профессор, не слушая гадин, в парик говорил:

— «Всею жизнью к подобного рода субъектам» — он дернул рукой на парик, — «прибежали; они положили на плаху топор свой; вы с ними кричали в пустынях: ай, ай!»

В коридоре задергалась шпора; и голос сказал:

— «Кокоа́кола нет!»

— «Ладно», — гадина гакнула.

Вставши и шубу сваливши на кресло, профессор простроенным бацом пошел вдоль козетки — под стол, к парику, не взглянув на чудовище, руку играющую на парик протянувшее, точно не видя: ведь не обращают внимания на паука, когда он сосет мух, в миг ответственного разговора-с!

И вдруг непонятно и дико ревнул:

— «Кто позднее пришел, тот идет впереди!»

И как в самозабвеньи, парик оторвав (уже лапа тянулась за ним), опрокинул его на ладонь; и, как чашу пустую, разглядывал:

— «Преинтересная штука-с!»

ТАНЦМЕЙСТЕР НА ПЛАХЕ

Мандро, расширяяся ухом, ловил эти звуки, которых и не было ведь: были мысли; и были из глаз, точно вылеты птиц; была смена сквозных выражений. Он серую брюку с полоской блошиного цвета

коленкою левою выуглил, сунувши бледный ботинок под правую ногу; морковного цвета носок; а ботинок — с серебряной пряжкой.

Замашки — танцмейстера; и — парикмейстера: дергался, как под трамваем, не будучи в силах (трамвай набегает) — вскочить.

Тело — дикое: дергалось дико.

Лицо, не живое, совсем молодое, не двигаясь, — бронзовым просверком шерсти жесточилось; молча вперилось глазами, огромными, умными, как говорившими: —

— «Под ураганом — я пал!»

— «Моя кожа разъелась горючей проказой».

— «Огонь попалил мои кости воняющие».

— «И душа моя, точно лиловый морщочек бумаги, охваченный пламенем, пережигаема, — дóбела: сгинуть!»

— «Но я — еще есмь!»

Он разглядывал собственный дерг, зная, что гальванический ток перекрючит конечность у дохлой лягушки; и если животное дохлое дергается, как живому еще «Я» — не дергаться?

Будь он царем Соломоном, вперяющим в плаху глаза, — тем же самым танцмейстерским жестом, одною рукой закрутив волосинку, другою отставясь с мизинчиком загнутым — выю на плаху положит!

Уж тлен выступал на челе; и глазницы — проваливались: двумя черными ямами; а, — вы принюхайтесь: запахи опопонакса!

За ним заседало чудовище.

УСОМ ТРЯСЕТ И КУСАЕТ

Профессор Коробкин, не глядя на ужас, не глядя в Мандро, — парику, как зачитывал лекцию: перед чудовищем:

— «Мы — дети света-с!»

Мертетев, рукой раскидавши портьеру, влетел; он схватил Непещевича зá-руку; руку другую как на цирковую арену выбрасывал:

— «Оба — сошли с ума! Нет, — посмотрите: и сам с ними ополоумеешь!»

Из-за барьера бросался — к профессору:

— «Бросьте мосье Домардэна!»

— «Вы видите сами, что он невменяемый».

Но Непещевич, как палкой сигары махаясь из губ на Мертетева, — почти с презрением:

— «Тсс!»

А Мертетев не слушался; и собирался, отставив козетку, прыжком стать меж них, как заправский циркист:

— «Вы идите себе: медицинский надзор установлен за ним».

Непещевич вскочил, испугавшись: нарушится редкое зрелище; тупо широкой спиной заслонил он Мертегева:

— «Тсс!»

Этот дикий старик наводил, вероятно, его на весьма плодотворные мысли; и тотчас Велес головам, протянувшимся из-за портьеры, забзырил:

— «Удача...»

— «Колумбово просто яйцо».

— «Тсс!»

— «Не время: потом; вы — испортите!»

— «Слушайте!»

— «Этому» — на Домардэна показывал — «этот» — в профессора тыкался — «визу принес: он — поедет на фронт!»

Мадемуазель де-Лебрейль изогнулась с защипом двух пальцев, которым разглядывают в бомбоньерках конфетину, приготовляясь конфетину вынуть, лорнировала — тех, которые — «т а м»...

Тут профессор вскочил: глаз — морозистый; выпуклый лоб, точно в шлеме гребнистом, нацелился твердым булыжником на кости лобные гадины, а жиловатой рукою нацелился на Домардэна:

— «Вы будете долго искать его, и не отыщете!»

— «Как это так не отыщем», — ответила гадина — «вам потеряться не так-то уж просто».

— «Пред вами захлопнутся двери, а мы с ним — пройдем».

И профессор всем корпусом, а не плечом, пырнул носом, как злой носорог, протаранивший рогом; а руки — по швам; и до вылота их зажимал в кулаки он.

Велес торопился додергать:

— «Кусает и усом трясет!»

И, расставивши фалды, им зад показал.

Он ушел, хлопнув дверью.

КУДА ВЫ ЗОВЕТЕ?

— «Куда вы зовете? И как мне пройти?»

Мандро думал, что бегство — удастся: вдвоем, куда нужно; что их не найдут, потому что спаситель имеет, наверное, все основанья знать меры, им принятые для укрытия беглого.

Час этот — их!

Он воскликнул:

— «Никто не умеет так действовать: где научились вы этому?» И не профессор, а лоб, перед ним изгибая морщину могучую лобною кожею, — запечатлел:

— «Это вы научили меня».

— «Как подоблачным громом ступаете: полки шатаются; как научиться мне поступи эдакой?»

— «Поступь приходит — поступками».

И посмотрел через стены, которые — дым беловатый в глазах у Мандро: белоглавая туча несется сквозь стены; как издали, — все; и, как издали «этот» — стоит в седине, как в венке из ковыли!

Все это мелькнуло — в Мандро.

Но как солнце, играющее книгой блесков в заре, ликовал на ликующего глаз профессора: блесками; точно он бил молотками до искр по скрещению лобному своим гигантским лицом, промышляющим руку: шатались в Мандро восприятия зрительные.

А профессор с притопом чеснул под окошко рукой с париком, точно с чашей пустою; и солнечно вспыхнули красные просверки.

Тут же: чеснул от окна с париком, точно с полною чашей, на желтую лысину; и опрокинул на желтую лысину силу свою:

— «Я ссуженное вами же — вам возвращаю!»

Усы, как две рыбины, выплеснулись, как хвостами серебряными; и — опять унырнули: в ничто.

И парик положил он на стол.

Разумел же он —

— муки, Мандро приготовленные!

И, ПРИСТУКНУВШИ БОТИКОМ, СКВОЗЬ ПОТОЛКИ!

Тот — не понял.

И думал, что речь — о спасении: от ожидаемой кары.

Увидя, что он бородою сверкает в луче и сжимает дрожащими пальцами пальцы под горлом, подумал, что странно стоять: хлопать глазом; не бухнуть ли в ноги: лежать при ногах, закрываясь руками? Он весь сотрясался лукавыми помыслами: может, может профессор заверить в судах, что — не он приходил за открытием, а дед, «Мордан»[1], перепоица, дряхлый беспутник, которого видели

[1] См. последнюю главу «Москва под ударом».

же, что не он выжег глаз; они вместе с профессором, став пред судами, присягою ложной заверят, — что — так!

Проскрипел, точно дно парохода о мель:

— «Погибаю!»

— «Да нет же-с: эхма! Как вы можете эдак!»

— «Спасите!»

— «Уже-с!»

— «Не губите!»

Профессор — расплакался:

— «Не понимаете вы!»

И портьера, как рожа оскалилась диким раздвигом, как ртом; в ней — четыре тряслись головы, как четыре оскаленных зуба.

. . . .

Слезами играл глаз безумца, заплакавшего в пуп земной, косный, злой — над мучениями: тела этого! И бородой, как кустом загоревшимся, требовал, — не от Мандро, — над Мандро — в золотые столбы пылевые, как бы разверзаясь телесными недрами перед ковром, на котором в кирпичные, синие шашки и в пыли отстукивал лоб себе синие шишки:

— «Вы — выздоровели!»

Взблеснуло.

— «Вставайте!»

Кричало — сердечными туками:

— «Исцелено мое сердце, количеством звезд, измеряемым этим пришельцем!»

— «Я — жив».

— «Снова сложены органы».

— «Вложены смыслы: в глаза, в уши, в жизнь!»

— «Созидаю в ней здание».

— «Приготовляются нам облака!»

И привзвизгнув в больном и опасном восторге, вскочил он, готовый на все.

Пароксизм сумасшествия буйного, их обуяв, стирал грани меж ними.

Профессор хватал его за-руку.

. . . .

В шубы влезали:

— «Где шапка?»

— «Вот!»

— «Ваша?»

— «Моя!»

— «Ну теперь — мы пойдем».

Мели минули: в оси вселенной, обломанной, — новая вставлена ось; и сию же минуту они в меховых своих шубах и шапках, пристукнувши ботиками, невозбранной, свободной дорогою: ринутся, — сквозь потолки!

— «Ну?»

Профессор полой меховою, как ринется в дверь; за ним, бросив тринадцатый номер, — Мандро, —

— Эдуард —

— неизвестно куда, неизвестно на что, потому что ничто не касалось его.

И — никто не задерживал.

. . . .

Только из двери в двенадцатый выскочила де-Лебрейль — сумасшедшая тоже; за ней — сумасшедшие: тоже; она же их, вытолкав, двери замкнув, бестолково забегала; сдергивала на ходу: юбку, лиф.

И осталась — в одних панталончиках!

Я УЛЕТАЮ, МОИ КУПИДОНЧИКИ...

— «Мирра, — алло́: Леонардовне потелефоньте!»

Велес до вола перед зеркалом пыжился, в зеркале видя багровую рожу; и строя ей рожу: манжет перещелкивал.

— «Чтобы она, Леонардовна, свою квартиру очистила; и — чтобы ящик поставили».

Стал перед Миррой надувшимся гиппопотамом.

— «А ключ от квартиры — сюда; куда хочет, сама; чтоб ноги ее не было».

И — до слона надувался:

— «Мешок и рогожу».

До мамонта!

— «Тертий?»

И как цеппелин, разносился щеками; висел из небесного цвета обой над небесного цвета ковром, из крахмалов тугих свою вывалив шею.

Пред ним Кососоко, рукой и плечами, как перед заведующим департаментом:

— «Слушаюсь! Тертий в бегах».

— Сослепецкий, Мердон? Чтобы были!

— Есть, будут!»

Из губ перепыженных выпустив дух, Непещевич осел из небесного цвета на мягкий ковер; язычищем напруженным вытыкнул щеку; и с шишкой нащечной стоял, что-то соображая.

С улыбкою липкою:

— «Ну? Покажите себя!»

Кососоко чернявый, высокий, худой, — шею выгнув, представивши руку с цилиндром, отставивши руку, загнул свой мизинец и став Домардэном:

— «Бьэнсю́р!»

— «Бесподобен» — Миррицкая.

— «Не без таланта» — Велес; языком на щеке снова шишку поставил; и — шишку убрал; деловито выбрасывал: в матовый, ламповый шар:

— «Не понадобится: мы поедем в закрытом моторе; подъедем сюда: показаться за стеклами; не разберут... Ну там тоже: белилы и прочая, прочая; миропомазанье — словом: мамзелька вам даст; где она?»

Кососоко:

— «Переодевается... И чемодан перевязывает».

А Велес, пав в диван, головою — в промежности; как дохлый скот, перевесился:

— «Это старик услужил: мифимонами; свечку ему ставьте, Мирра: Исайя ликуй! Со святыми его упокой!.. Исключительный случай, что нет Кокоа́кола; неповторимая штука!»

Вдруг ставши багровым, распевшимся тенором, он проорал сладострастно:

«Веди к недоступному счастью
Того, кто надежды не знал!..
И сердце утонет в восторге
При виде» —
— «тебя, Кососоко!»

Безлобый, безглазый, он вдруг завозился: с попыхами:

— «Ты» — беспокоился он — «не забудь парика: тоже случай: регалии личности; твой-то, подобранный, — не без изъянца».

Вскочил, и кокетливо перешарчив двумя ножками, точно в фокстроте, слюнявые губы собрав, бросил в поле небесного цвета — рукою — свой чмок:

— «Мои ангелы, я...» — купидончиком он — «улетаю; в посольство!»

И выпорхнул в дверь.

БУРДУРУКОВ ТАЩИЛ СКВОЗЬ ФЛАКОН ЦИКЛОКОН

Через сорок минут: Рузский — знал; Бурдуруков — тащил; Алексеев еще упирался; со Ставкою шел разговор; десять трубок гортанило в десять ушей:

— «Вы, Мегтетев?»

— «Уж пегедано...»

В тот же миг во втором учреждении в трубку плевал второй рот:

— «Жуливор?»

— «Купэ будет?»

— «Имейте в виду: не откроется; предупредите кондуктора!»

С третьего места, оскалившись, лаяло: песьеголовое туловище:

— «Подавайте машину: спешите...»

— «А что, — офицер, молодой человек, — есть?»

— «Имеется, — вместе с машиною... Да помоложе: из мальчиков, знаете, розовощеких... Да чтоб поконфузливей».

— «Да, при машине: чтоб он и не знал; посадите в машину своих, — офицерика сопроводить до дверей; пусть с машиною он убирается к чорту: другая подъедет...»

— «Машины? Нужны? Да: и — три: к Тигроватке — раз; да от нее — два; с вокзала нам, — три!»

— «Уж пожалуйте: не перепутайте!.. В международном масштабе; с машиной зацепка; а там — конфликт: с Англией».

. . . .

Мотоциклетка, четыре машины и семь лихачей перерезывали: кольцо «А», кольцо «Б», мчась во все направленья; проскакивали сумасшедшие, бледные штатские и генерального штаба военные: в двери, в подъезды; и снова, выскакивая, уносились, стреляя бензинами.

А в подворотнях ругали правительство, сеяли слухи, подсолнухи и выливали помои; мадам Циклокон покупала флакон; с ней — жё̈н-ом[1], Николя́ Ньюреню́-Ньюреня́; Луб Турупов — садился за шахматы. Вывески еще держались; и Жорж Дирижориум в «Эмоцион-Кино» еще качался боками и фалдами фрака в «Волне Адриатики» — в семь часов вечера; — Владя Бноздецвий тянул из соломинки у «Сивелисия»; «Чистка перчаток Перши-Песосова» — вывеска еще висела.

[1] Молодой человек.

Но, но... —

— Потолобова, «Рамочное заведенье», — закрылось; и сам гражданин Потолобов старинную дружбу с известною всем повивальною бабкой, Сысоич, — осмыслили: браком... гражданским (веди к недоступному счастию Керенский, их!); архивариус Архимандриллин ударился в максимализм под влиянием Кисы Сесакиной; Гологуронов — подталкивал их.

Фабрикант Эмигрант поговаривал: «Если продолжится эдак, по всей вероятности, переменивши фамилию, сделаюсь я — «эмигрант Фабрикант»; Камергер, Питер Ку́бово, выехал в Англию после того, как Тарас Цупуту́н, фронтовик, поселился в их доме. В тот день у Москва́-реки, около Козиева, бастовали рабочие; и — обнаружились бомбы; а сам комитет забастовочный, точно сквозь землю уйдя от шпиков, объявил заседанье бессменным; что главное: в публике ближних районов — сочувствия взрыв; и Куканики видели, как, встав на тумбу, Коханко-Поханец, мадама, с мадамой Жельво́м — Мылитнырлину с Су́тиевым предлагала реформы, рабочих сугубо приветствуя!

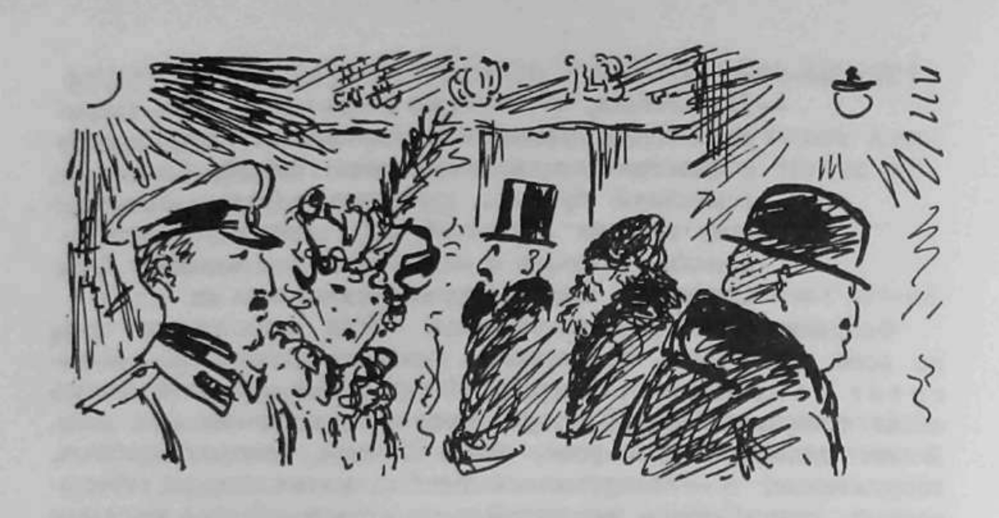
«Оптик», Пров Проклик, ее уличил: жила своднею.

Даже у Янкеля Яковлева, туличанина, сперла полиция, делая обыск: часы.

Разбирали приказ генерала Хабалова; чувствовалось: сквозь флакон Циклокон и сквозь туру Турупова, сделавшую шах и мат Шах-Маманову, что кольцо «А», кольцо «Б», разорвавшись в спираль, побежали домами, садами, трамваями, башнею Сухаревой, — все скорее, скорее винтя, — к клокотавшему в центре винту, чтоб толкнувшись — фронтонами, башнями, крышами — ринуться — в эту воронку Мальстрёма!

Москва стала — яма!





ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В РАЗРЫВ

МАКАР ГНАЛ ТЕЛЕНКА

Сплошное стекло!

Коридор — из стекла: стены, пол, потолок — из стекла, так что номер тринадцатый, — все еще, — виден: сквозит через рой (точно в воду белок) лошадей и людей, бриллиантовых санок, как ром, альмантинного[1] цвета трамваев, жемчужных, домовых рядов; из топазовых улиц высвечивают провисающие этажами квартирные кубы, — сквозное стекло, — где едят, испражняются; видно, как варят желудки; пузыриками бродит мысль, — та, которую, точно селедку, за хвост не ухватишь из бочки.

Сплошное стекло — потолок!

Выше, выдутый в ночь из стекла: синий купол; и как в абажурное облако, солнечный шар электричества — ввинчен.

Пол — то же стекло; и на нем тротуары, снег, тумбы сутулые, —

[1] Альмантин — сквозной камень.

как на воде, отражения берега; и удивляешься, как глубина из-за них, золотая, —

— волнуется, —

— где легкоперая и глупоротая рыба спиною запырскала, юркая в розовом рое медуз.

Глубже вод — перламутровым облаком, в вогнутом куполе неба сквозь ноги Мандро, переставшего быть, в мысли синие вырожденного и расширенного, — бриллиантовым глазом в Мандро — спрут: стреляет!

За хвост поднимая селедку из бочки селедочной, видишь порой не селедку, не бочку, а мысли мыслителей — Гегеля и Аристотеля.

ИЗ ЗОЛОТОГО СТЕКЛА

Так и Мандро: уносясь за «туда» удиравшим профессором, воспринимал обстоящее: точно витражи веков, где Агрикола, Цезарь, Спартак, Цезарь Борджиа, папа Григорий Седьмой, как флакон Циклокон, или бронзовый бонза, — коллекция кукол в стекле заведения бронзовых ламп и подсвечников.

И вдруг поймав себя в этом окне, он бежал, переталкиваясь; и на миг в раздражениях нерва глазного отчетливо вылепились: ряды окон: «Гвоздика» из Ниццы, сквозной, кружевной паутинник, блеск гранных флаконов, рябь вывесок; недопрочитанное: «Коньяк», «Швейных машин»... и «Перчат.... » — «ки» наверно.

Военный с серебряным кантом подбросился розоводряной рейтузою за завитою блондинкой, поднявшей «дэссу́» и влипающей глазом в стекло; золотые оскалились зубы на кучера с синей подушкою на голове: сетка синяя на серобелых конях.

И сигают, проносятся, пырскают, переливаясь серьгами, хватаясь за шапки, блистая пенснэ на муслины, сюра, веера из окна; а в окне, как из зеркала, — шуба, накинутая на плечо рукавами пустыми, мехами кофейными выбросилась над второю такою же шубой (на две головы ниже ростом), с космой головы, вдвое большей, как у исполина; из шубы, из первой, торчит голова; и слюна изо рта на клок шерсти свисающей тянется; в зеркале лупят, как взапуски; и уж рука свой портфель перетиснула; куньи меха; шофер — шкурой обвис, завертев колесо: из ничто на ничто переносится — в зеркале, где его — нет, где — стеклянные тускли.

. . . .

Профессор, схвативши за руку, другую выбрасывая, как с копьем, поворачивая, точно шлем, темный котик, так просто ликует.

И — видит он: —

— маска с осклабленным ртом своим ввинченным, как бриллиант, пустым глазом уставилась в выспрь над пустым земным шариком; шарик, — как мячик, — выюркивает из-под пяток; а путь — эллиптический; мир — эллиптический...

Функция!

Тот, кого тащит профессор, взусатясь и дергаясь, выпятил ребрами грудь и снял шапку; и череп желтеет в мороз: под трезвонящей вывеской.

Солнечнописные стены!

Лимонно вспоенная стая домов бледным гелио-городом нежилась — персиковым, ананасным, перловым, изливчатым; синей стены эта белая лепень.

И светописи из зеленого и золотого стекла!

. . . .

И ломая историю пятками, лупит из будущего к первым мигам сознанья, — Мандро, —

— Эдуард!

А профессор, отбросясь мехами назад, спрятав руки в меха, поджимая ладони к микитке и выбросив в свет свет седин, поворачивается ноздрей на Мандро; и — поревывает:

— «В корне взять, — уже нет затхлых стен: дышишь воздухом!»

В странном восторге вручася друг другу, они, — близнецы, проходящие друг через друга —

— (сквозь атомы — звездным дождем электронов) —

—забыли, став братьями в солнечном городе, в недрах разбухшего мига, что им так недавно друг в друга не верилось.

. . . .

Было неясно Мандро, куда тащат, когда руку бросив вперед, как с огнями, другой вырывая Мандро из толпы, — улепетывал спутник по улицам, улицам, — из — улиц, улиц; спросить, не спросить? Знает сам, куда тащит: но там и Макар не бывал.

И — базар.

Здесь впервые Мандро осмотрелся; и все — оплотнело; и — нет коридора, а толки локтей: лом тел в спины; синявенький дом с дикодырым окном на всем желтом; и желтое — дом; во ртах — ор; в глазах — страх: ярко-желтый плакат: «Продаю осетрину!»

МАДАМ ТИГРОВАТКО ПОСТАВИЛА ЯЩИК

Стояли за рядом палаток, где сивобородый мужик с кулачищами выпер перед опрокинутым ящиком: плюнуть; и толстая рядом лежала веревка; профессор, на ящик ладонь положивши, по ящику хлопнул, как будто на плечи с прикряхтами вздернул.

— «Таки засорили его: понесем!»

И по ящику хлопнул опять:

— «Точно трон!»

И стал сравнивать с юношей, в ящик усевшимся, совесть сознанья, которую-де понесет; и казалось ему: человек, молотком заколоченный в ящик, взломав свои доски, из ящика выскочит.

Тут же торговец пришел; малахай — снял; висок скребенил:

— «Эй, ползи, что ли, дальше: мой — ящик; его не ломай».

— «И ломать-то тут нечего: ломань и есть» — отозвался какой-то.

Но вдруг допотопною шкурой обвисшие люди в расклоченных шапищах, — без топоров, пока что, — как взорут: в смеси запахов: рыбьих с бараньими.

— «Ты — сколоти-ка его».

Кто-то щелкнул орехом.

Какой-то схвативший рогожу шутник подскочил с ней, имея намеренье эту рогожу на плечи Мандро опрокинуть; на ящик показывал:

— «Лезь туда: чем не посудина? Тебя — гвоздями заляпаю, в эту рогожу зашью: в лучшем виде».

— «В Саратов отправим!»

Профессор тащил за собою Мандро; и кричали им вслед:

— «Знаем, знаем, — тары́ да бары́: глядь, — а ящика нет».

— «Они ходят — мутить!»

Все, как в припуски: в безупоко́й, безу́толочи.

А профессор чесал в невыди́рную давку из желтого щелка на синие сипы, сгибаясь под бременем долга, который взвалил и который ломил и плечо, и лопатку: легко ли «такого» влачить? Долгорукий Мандро, долгополый, накинув меха на плечо, с перевальцем, едва поспевал.

Уже черные пятна теней вырастали из света; и — сламывались: на пустые заборы (средь них он недавно бродил); проходили Жебри́вым и Дри́ковым; вот — Фелефоков!

Вот — Козиев!

Стал он расспрашивать:

— «Долго итти?»

— «А куда-с?.
— «Да туда, куда — вы».
И профессор впервые прорявкал отчетливо:
— «Я вас к Лизаше веду: вам пора объясниться друг с другом».
Как рев водопада со скал:
— «Дайте дочь! Дайте выпрямить свои пути к ней — из глаз ее, чтоб она видела, что и я — вижу!»
Как мог он так долго там в кресле сидеть, а не броситься, чтоб из расклепанного молотком и клещами железными ящика, — лбом колотиться о ноги ее:
— «Не прощенья выпрашиваю, я, Лизаша: прощенья не может быть; действием воли сломав наши жизни, их перелепить—обещаюсь!»
Домок, опрозрачнясь, блаженствовал там вырезными розетками, как в еле видной улыбке.

ТОГДА НИКАНОР УВИДАЛ

Никанор увидал: пропадавший брат, локтем бодаясь, взапых улепетывает от жердилы, который, пропятивши клин бороды, как копытом, бьет ботиком, шубу свою захватив на плече; и по воздуху мехом пустых рукавов, как медвежьими лапами, — хлопает: шуба; присев на карачки и их пропустив, Никанор, — злой, взъерошенный, серый, — дугу описал, как грабитель, снимающий верхнее платье; за братнину шубу рукою схватился он:
— «Стой!»
Воротник перетрясывал: шапка — дугою — на снег:
— «Что такое ты?» — брат, брат Иван, перетрясся поджелчиной серого меха:
— «Чорт брал!»
Никанор втиснул руку в карман; а другой, с указательным пальцем, — воскликнул:
— «Как, что?»
И с гримасою — едкою, злой, сардонической:
— «Соображал ты, — так чч-то? Мы с Мардарием Марковичем— по участкам частили, порог обивали в приемных покоях».
Прыжками на брата пошел:
— «Серафима Сергевна — лежит, полагая, что — в проруби ты: обезножилась!»
И оборвавши поток укоризн, дико вылупившись в проходимца, которого брат подцепил, стал обнюхивать: мышь перед салом!

— «Позволь, брат-Иван: это что же такое?»
И — носом на брата, а пальцем — в Мандро.
— «Беря в корне...» — и руки профессор развел (на Мандро, и на брата), меж ними катаяся глазиком:
— «Ясное дело!»
Но брат не внимал ему, ожесточаясь очками: с отвертом, с пожимом, с посапом и без тарары пресекая поток объяснений, как, так сказать, преподаватель словесности свои ладони поставил; и мотом головки показывал, что он имеет серьезные доводы против знакомств с проходимцем подобного вида.
— «Позволь!»
Чорт!

«ОСТАВИЛ БЫ НАС, НИКАНОРУШКА!»

Таки узнал, — чорта с два, — под истасканной маской того негодяя, который уже, — чорта с три, — под забором таскался.
С четыре!
Очками показывал, что — пять чертей, что — имеет намеренье, с глазу на глаз затворившися с братом, расжав свой кулак, показать в кулаке зажимаемых им —

— шесть чертей!

— «Ты позволь, брат Иван, — очень веские доводы есть мне узнать, эдак-так...»
И с вопросом к Мандро:
— «Вы есть что, говоря откровенно?»
Мелькало:
— «Уф, уф: негодяй, вымогатель; сама говорила; Иван, брат, — добряк и простяк: протаскавшись с ним ночь, затащил, чтоб таскаться!»
Брат — хрену понюхал:
— «Ты, в корне сказать, Никанорушка, лучше оставил бы нас, потому что у нас» — и к Мандро: и — подшаркнул — «с...с»... — и подшаркнул опять — «есть дела».
Тяжко охая, он на Мандро поморгал, как на брата родного:
— «Весьма неприятно!.. Скажите пожалуйста!.. Вот веды!»
Мандро сдвинул брови, рассеянно на Никаноре глазами бобрового цвета разращиваясь, но — не слыша, не видя, не зная, не глядя: огромное что-то к нему подошло!
Никанор:
— «Леонора Леоновна» взгляд дидактический!

— «Предполагает» — и взгляд иронический!

— «Мы же с... с...»

Но тут сделал Мандро отстранительный жест, выгибаясь, стараясь стать в позу.

— «Да вы успокоились бы!»

Распрямил долгорукое туловище; но профессор, схвативши под локоть Мандро, его дернул:

— «Идем!»

И все трое — пустились в пустом переулке скакать: за Иваном — Мандро, тарарыкая, —

— та́р-тар-тар —

— ботиком.

Что-то огромное — бросилось вслед!

И уже Неперепрев выглядывал; Психопержицкая вылезла; Коля Клеоклев стоял с Тишитришиным, Гришей.

. . . .

— «Ну, вот» — распахнув с перебацом калитку, профессор совался — «да вы — не сюда-с, а туда-с... Ноги, ноги — топырьте!»

— «Пустите меня!»

— «Брось», — ему Никанор — «не тащи!»

И — к Мандро:

— «А вам, собственно, — что?»

Стекло, злое, ожгло:

— «Вам — так-эдак — вспомоществованье?»

— «Лизашу мне!»

— «Это — какая такая?» — и брат Никанор облизнулся, вдруг, переерошась, заперкал.

— «Они-с», — наставительно брат, брат-Иван, — «дело ясное к дочери: Элеонора Леоновна — дочь!»

Мандро локоть подставил:

— «Порожек-с: сюда-с!»

Кучей меха толкнув кучу меха, он — кучею, с кучей — в калитку ввалился; и — ту-ту-ту-ту́ — тукал ботиком; и Никанорово сердце затукало: ботиком.

Это — судьба, —

— толстопятая, —

— тукала!

Дверь — расхлопнулась: ручка с дымком папироски явилась! А посередине — стояла —

— юбчонкой вильнув, как раздавленная, плоскогрудая, широкобровая девочка, выпучив губки и мелкие зубы показывая.

— «Вы?»

И — круглое личико лопнуло:

— «Какое... право...?»

Как мертвенькая, подкарачивала под себя свои ножки: под юбочкою.

Он, прижав две руки, выпадал из косматых мехов; голова, сохранив свои очерки, ахнула; выкинула изо рта столбы пара опалового; мех зажав, в него длинное рыло зарыл, скривив шубу, плечо подставляя морозу.

Стояние друг перед другом, под блеском созвездий, невидимых днем, — страшный суд!

И скакало вразгон, из груди выбиваясь, сердце; казалося: шлепнулось в лед, точно рыба, хвостом колотящаяся, выпузыривая свою кровь в леденцы голубые; рука сиганула под локоть профессора, а подбородок — на ахнувшего Никанора, которому он — неестественно длинный язык показал; и слюною покапал!

Профессор, ногою о ногу тарахнув и рявкнув, из шубы пропяченным носом ходил под носами, как пес; но очки запотели; не видел их; руку схватив, — Мандро к дочери дернул и даже коленкой наддал под крестец ему:

— «Врешь, брат, — попался!»

А сам, отстранясь, — со ступенек, чтоб глазиком недоуменно на братца моргаться; и — братец: моргался с ним.

— «Ты, Никанорушка, ясное дело, — еще чего доброго думаешь» — и оборвался.

Лизаша лишь дугами широкобрового лобика дергалась, бросивши гоброви к созвездьям, открывшимся ротиком с сердцем своим говоря, — а не с тем, кто стоял перед ней.

И, как глаз осьминога, из глаз ее вымерцал глаз, потому что она уже знала: откуда пришел, с чем, зачем!

И, сурово блеснув на профессора («кажется вам, что возможно? И — пусть!»), захватив кисть руки, оковав, как клещами ее, ничего не прибавила; в двери отца, как в дыру невыди́рную, уволокла:

А профессор на брата орнул:

— «Ты — чего? Не твое это дело: не суй ты свой нос меж отцом и меж... корнем!»

Рукой показал:

— «Ты иди-ка себе...»

И в дыру за исчезнувшими, как теленок, нашлепывая своим ботиком в пол, —

— в дверь прошел.

И цепочку защелкнул от брата.

НАПАКОСТИВШИ

Раз... два... три... пять... шесть... семь...

— «Тише, тише!»

В темь шаркали мыши.

Скорее, чтоб все искажения жизни снеслись, выметаясь в подъезд, точно листья:

— «Не я, а... отец!»

Сердце — как в медный таз: бам-бам-бам! И припомнилось: раз ей Анкашин, Иван, говорил:

— «Сицилисточка, барышня, вы!»

«Бам» — ударило (в солнечный диск таза медного): сердце!

. . . .

Отец же, осклабясь мандрилиным ужасом, точно на гада боясь наступить, на ковер, на котором затерты рябиновые, голубые и ярко-зеленые пятна, припомнил забытую песенку:

— «В мерзи меня не отверзи!»

— Раз слышал ее он:

— «Напакостивши, — у могил: как, как?..»

— «Жил!»

Не довспомнилось!

Знать, слабоумие эти белиберды продиктовало отравленному его мозгу: —

— ползет паралич: от ноги по спине, как по мачте матрос: —
— вот он влезет под череп, и, «я» отопхнув, меж бровями и носом его, руки в боки, —
— усядется!

Дочь и отец, ставши спинами, не поднимали своих испугавшихся глаз друг на друга.

Как за-мертво носом и шубою в кресло свалился, пришамкивая:

— «Рядом?..»

— «С... с...!»

— «Как прежде!»

Она — не расслышала: пела в ней вокализация томного голоса: прежде, затянутый в черную пару, зажав свою гниль, сребророгим насупленным туром стоял перед нею он.

Хрип: гнилой гриб!

. . . .

А профессор пред замкнутой дверью, схватив половую косматую щетку, держа караул, с нею стал выжидательно, как часовой с алебардою, носом — в щетину, которая над головою качалась.

И, как на вершину, —

— глядел: на щетину.

«Я СНОВА С ТОБОЮ, МОЙ ДРУГ!»

И — Лизаша подкладывала что-то мягкое под дроби бьющие локти:

— «Давайте-ка я» — продвигала скамейку под ботики.

— «Вас — подоткну».

Тридцать месяцев! Точно стеклянный колпак разлетелся на ней!

— «Вам уютненько?»

Сила, раздельность и четкость движений.

В ответ — что-то чмокнуло.

— «Ах!»

Объяснить? Не словами: он мыслями мыслям ее в переулке ответил; приход — объясненье.

Не вытолкала!

— «Вот так фунт» — развел руки фарфоровой куколке, кланявшейся на кретоном завешенном ящике.

Жутя, отсевши от дочери, волос усов пережевывал: это сутулое, озолощенное туловище, в розовый луч подоконника лысиной вынулось; жмурясь от солнца, — рассматривала; и ей врезался лоб — костяной, в синих жилах, невидящий врезался глаз: застеклелый, как у судака!

Уже вечер огромно багровое солнечное покатил свое око:

— «Я, я — это!»

Все — ярко красное стало; диван — ярко-красный; и — ламповый даже колпак; все предметы стеклились проглядными глянцами.

Вот какой он?

Все такой: —

— долгорукий; гориллою с нею сидит; лысый, пры-

гает глазом ей в глаз, —

— чтоб...?

— «Лишашенька!»

Точно нарочно трясется, повесившись клином козлиным.

Трясухою с холоду бьет попадающих в баню; и бьет полагающих, что — миновали страданья, прошли испытанья!

— «Я шнова ш тобою, мой друг!»

Оборвал: реготаньем, картавеньким, как курий крик:

— «Кхи-кхо-оо-ооо!»

Рот — пасть.

— «Ничего».

— «Простудился».

— «Пять суток не спал».

Борода кричит краской; нет, — он не опасен ей!

Нет — никогда!

«СОЛОМОН» С КУСКОМ САЛА

Нет, было же — бешеное поклоненье; казалось, что он, Соломон, с «Песнью песней» к ней крадется; но перемазанный салом, он салом обмазал!

А правда, как сеном набитое чучело, шишкой затылочной в кресло толкается; внутренности — догнивают в помойке.

И как хорошо это знать!

Сердце тонет в восторге при виде его, потому что...

— «Урод мой» — взблеснулось.

Глаза, как открытые раны, слезами наполнились:

— «Нет же! отец мой!»

Округлым движеньем свой палец (большой с указательным) соединил на губах:

— «Я тебе не мешаю?»

И — палец о палец размазывал:

— «Ну, я — пойду».

— «Вы? Куда? А я думала...»

Что?

И — не думала, — «что»; ведь не жить ему с Тирою, с ней и с профессором.

— «Я...я... теперь только понял, Лизаша... Кхи-кхо» — как ворона, расперкался в рваный ковер, — «понял...» —

— «сладко с тобою мне

быть» —

— домолчал!

И хватался за сердце в восторге больном и слезливом, его обуявшем.

Попахивало: прелой плесенью; издали слышался: хрюк Владиславика...

И — отстранилась: прижалась к стене, ручки зá-спину, четко чертясь чернокудрой головкой с открывшимся ротиком в кареоранжевых пятнах и в желтых — из черных роев, точно мух, танцовавших в глазах (это — крап), — узкотазая, бледная!

. . . .

Но — крики, топы: под дверь:

— «Цац!»

Удары железные.

— «Что это?»

Кто-то там бьет кочергой: и визжит, и дерутся; как из кумачей балагана, в бывалое он безобразие выставил ухо; и — пеструю, плюшевую финтифлюшку схватил со стола, как паяц.

Точно в бубны ударили!

— «Что это?»

— «Ах, это — время: кузнец».

Оба бредили.

Вспомнился сон о кабине: —

— в кабину завинчивает их косматый профессор, чтоб он с узкотазою дочкой, в пустотах вращаясь, меж древних созвездий, — в «конкур сидерик»[1], состязаясь с болидами, первую премию взял; —

— а —

— у Пса[2] —

— будет станция!

— «Снова, мой друг...» —

оборвал он себя —

— «мы... летим!»

. . . .

Поднесла папиросу к губам, шею вытянув; бросивши ручку от ротика вверх, дым глотала; стояла с открывшимся ротиком; в ржаворыжавые шторы, в растреск потолка, обвисающий копотью, в за-

---

[1] Звездные гонки.

[2] Созвездия Пса.

мути зеркала, в рой синих птиц, как в свой сон, померцала глазами; и выпустила бисерящийся, млечный дымок над, как черный чугун, черной бездной, в которой вертелся соблестьем огонь папиросочки.

Все, как охлопочки черных бумаг; пепелушка — слетела; «о н» — так вот слетит.

А — куда?

И — повеяло горклым прискорбием; и — нежным тлением кареоранжевых выцветов: желтых, протертых кретончиков.

НЕЖНОЕ

Он же старался ей выразить что-то: быть может, — о вместе сидении этих двух туловищ; медленно к ней поворачивал ухо, скосив добродушный свой глаз на нее; и — услышал легчайше прикосновенье мизинца: к затылочной шишке:

— «Вот здесь я сидела неделями, думая только...об...»

И — подавилась: —

— «об этом» —

— кивало из глаз переглядное
слово ему...

Обеззубленный рот как-то хило губою соленые слезы ловил, губу выпятив:

— «Ты?»

— «Нет, не пробуйте: просто, так, — молча... не лгаться...»

И, как перезваниваясь колокольчиками, подхихикивали, — идиотики!

А слезки — капали, а — паучок из его рукава побежал к паутиночке:

— «Вот...вот...»

— «Смешной...»

Это — спрутище, прежде сосавший его, передергивается в серебристых струиночках; да, и чудовищность выглядит нежно, когда перетлеет она; когда скажется ей:

— «Нет!»

Спрут есть волосатое и восьмилапое тело его; убежит от него; он, сквозной, невесомый, пребудет: надежда не вера; а больше надежды — любовь!

Из вечернего, красного мига до ужаса узнанным ликом он ей улыбался; какие-то ей кипарисовые, как протезы, отцовские руки бросал; начинало: кричать, плыть и пухнуть.

Как - ревом мотора, ударило в черный, огромный чугун, что не может быть речи ни о благодарности, ни о прощении: тридцать же месяцев было дрезжание!

Голос:

— «Отец!»

А что голос икающий, — кто не икает?

И падали спинами в бездну Коперника, ноги подбросив, как все, москвичи, —

— потому что —

— земля — опрокидывалась: грудью
вверх взлетал — американец!

Головку свою положила к нему на плечо; он — откинулся; сдвинулись строгие брови над носом, как руки ладонями вверх — точно ей он молился, жуя жесткий волос.

Вдруг, —

— он, —

— ей виски защемивши ладонями, в скорбном наклоне коснулся губами холодного, им оскорбленного, лобика: тридцать же месяцев мучился он! И отблещивала стеклянеющим перлом и капала с кончика носа слеза.

И покорно свалилося саваном личико: к сердцу; к жилету приплющивал мокренький носик, катая головку; и плача.

Отдернулась; и оправляла, загорбясь, сваляху волос; кулачишком, — ходившим морщинками личиком, — еле причмыхивала: все отхлынуло: плавало в воздухе; воздух — сияющий!

И как из волн —

— из веков, —

— он, вставая, ей длинные выбросил руки; и голосом, как петушиным раскриком, будил.

ОФИЦЕРИК!

Схватяся за руки, глядели в окошко и слушали, как мелодично пропела рулада, как издали, фыркая и рокоча обещающим смехом, счастливый мотор, подтаракивая, подлетел.

Распахнулась калиточка; розовый мальчик, блестя серебром, шел в снегах: офицер; он прикладывал руку к фуражке; конфузясь, Мардария спрашивал что-то: такой симпатичный! Мардарий руками развел: офицер поглядел на окошко; в окошко глядели они: их одно разделяло стекло.

Предстоящее виделось, как представленье: за стеклами междупланетной кабины, в которой засели:

— «Какое созвездие?»

— «Дева!» [1]

О, сколько надежд дорогих!

— «Мы — втроем!»

— «А куда?»

— «Никуда».

— «Как?»

Едва вылепетывалось.

И не знали они, что у Пса[2] — остановка с буфетом; он — вылезет, бросивши дочь; разыграется с ним инцидент, не весьма для него симпатичный, подобный заходу к зубному врачу, залезающему в рот клещами железными.

Все — миголет, мимопад.

Заревой купол облака встанет над местом, где в нижних слоях атмосферы смерч крыши срывает и валит деревья; под куполом — тьма; град — с яйцо; и выше ужаса — встал онемевший, зареющий розовобелый — во все бирюзовое — купол.

Пока еще миг, заключающий вечность, оконным стеклом отделяет, не глупо ль заботиться, что там?

. . . .

— «Вот радость!»

— «Штраданье!..»

— «Шошнание шовешти!»

Шамкал: без челюсти; и как подкошенный, задницей пал, ушибивши крестец; и — смеялся:

— «Коштыль заведу!»

Но весь стиснулся; в кареоранжевой рвани растиснулся; в кареоранжевой рвани: рыдал.

УКОКОШИТ ЕГО

Никанора мы бросили в тот неприятный момент, когда братом обиженный, чуть не упав на сугроб, засигал и рукой, и ногою под домик, чтобы Серафиму поставить в известность: брат — раз; негодяй — два-с.

[1] Созвездие.
[2] Созвездие.

Влетел.

Серафима, простершаяся на диване, с компрессом на лбу, не повертывала головы на него; Никанор, перед ней, сломав корпус, к ней выбросил нос: на аршин.

— «А!»

И стала испуганной серной; и — «ф р р» — шелестнула юбчонкою, перекосяся: на локоть.

— «Брат!»

Вывалилась из подушки; компресс, описавши дугу, пал: на пол.

Никанор, распрямившись, откидываясь — с перепыхом, с задохом:

— «Вернулся!»

И — взаверть!

Подпрыгнула: одной ногой — на полу; а другой — на диване; лиловые тени пошли под глазами; согнулась дугой:

— «Не томите!»

В колени уставилась; рот растянулся; и — зубила; и — передергивала башмачишком.

— «Да вы...» — подскочил к ней с рукой Никанор — «Он — здоров».

Закипела: задорная, маленькая, — туп-туп-туп, — потопатывая и размахивая локоточком, слетела к нему, шею вытянув: все, все — навстречу разметет она!

Никанор, сжав бородку свою двумя пальцами, тыкая в нос ее кончик, с поджимом посапывал; выпятив грудку колесиком, победоносно ее оглядел:

— «Брат, Иван — не один: с негодяем!»

— «С каким?»

Ставши девочкой, глупо попавшей впросак, дерябила зеленое платьице: ах, — тяжело состоять при больном!

«Протаскавшись с отпетым мошенником чорт знает где», —

— «Протаскавшись с отпетым мошенником чорт знает где», — наставлял Никанор с таким видом, как будто в Ташкенте урок объяснял второклассникам он, — «брат явился: таскаться с ним здесь!»

Отлетев на сажень, как к доске, чтоб на ней классный вывод торжественным мелом наляпать, рукою он тыкался в стену, как будто на ней негодяй из обойных узоров простроен; и вновь подлетел он; и палец — к губам; губы — в ухо; глаза же — на дверь:

— «И они: затворились уже!»

Но малютка вцепилась в плечо: перетрясывала:

— «С кем?.. Какой?.. Затворились — куда: кто? Да — толком, да — ясно: не белибердите!»

— «Иван, брат — так чч-тó — утверждáет, что этот отпетый мошенник, — отец».

— «Чей?»

— «Да — ну те же: Элеоноры Леоновны! Чей же еще?»

— «Как? Мандро!?!»

— «Кто?»

— «Как кто: тот, который... ну глаз же!»

И стиснула пальцы; и вновь их растиснула: белые пятна остались на них.

. . . .

Никанор вспомнил все:

— «Укокошу его!»

И ПАБЛÓ ПОПУЛÓРУМ

Захватив кочергу из-под печки, он — в дверь: был таков.

Серафима же, простоволосая и неодетая, выбросив локоть, как щит, захвативши юбчонку другою рукою, с оскалом, — за ним: через снéжины; блеск золотых волосят с краснорозовым просверком бросила в золотоватые, солоноватые уже вечерние блески, пылающие из вишневых дымов.

«Фрр» — скорее, скорее, скорее, и локтем — направо, налего: по воздуху!

А изумрудные складки и крылья сиреневой шали, запырскавши искрой, плескались за ней.

Впереди — благой мат:

— «Фу, фу, фу!»

Кочергой по ледбвине:

— «Я!»

Никанора поймав за рукав, перепрыгивала чрез алмазные ребра загривин; увидев Мардария, несшего кислый кочан через двор, руку вырвав, рукою — на дом, а очком — на него: Никанор:

— «Помогите» — он вы́орнул — «вор, выжигающий глаз!»

Перенесся; и — фрр — Серафима за ним: перепырснула блеском из блесков.

Мардарий, напучив глаза, бросив кислый кочан, точно бомбу, в сугробину, дернувшись краснооранжевой гривой и краснооранжевым усом, толкаясь локтями —

— за ними: —

— и бросив тюфяк на снега,

баба-Агния, шамкая и клюнув носом: —

— за ними! —

Икавшев — за всеми!

И сахарным хрустом, и треском, как рыбьих, чешуек отхрустывало десять ног.

Распахнулся ледник: из него повалили рабочие, как вырастающие из кочанной капусты: явился на свет, чорт дери, забастовочный весь Комитет, заседавший бессменно в подпольи под домом, который искала полиция, — то есть: Сейженко, Гордогий, Богруни-Бобырь, Умоклюев, Франц Узиков, Саша Шаюнтий.

За ними — Пабло́ Популóрум: из Пизы!

А из-за заборов торчало в дыре гнидоедово рыло; и выпуклое и багровое, как голова идиота, свалилось огромное солнце.

БОЙ БРАТЬЕВ

Влетев в коридор друг за другом, — наткнулись они на препятствие!

— «Ай!»

— «Осторожней!»

Во мраке, держа караул при дверях, с половою огромною щеткою, как с алебардой, профессор Коробкин стоял; увидавши махающего кочергой Никанора, ведущего в бой —

— Серафиму,

— Мардария,

— Агнию, —

— он, —

— точно

бравый солдат, выпад делающий в неприятеля, выкинул щетку в лицо Никанору.

И братья Коробкины, вооруженные друг перед другом, пылая готовностью, — брат Никанор, — нападать, брат Иван, — защищаться, — сопели друг в друга, вперяясь друг в друга.

И вдруг брат, Иван, — как затявкает, бросившись усом на темь коридора, откуда пылали кровавые космы Мардария:

— «Можете переступить через тело мое, говоря рационально: и только-с!»

Брат, — серенький, седенький, рябенький, — фалдой вильнув, передергивая кочергою в тетеричной ряби, моргался на брата, Ивана

— «Я — эдак-так — я» — передергивал он кочергою — «из принципа: к двери пробьюсь!..»

Он ногой, как копытом, махал:

— «Я мерзавца...»

И — «цац»: кочергою, клочечки обой отцарапывал:

— «Ты? Никогда-с!»

— «Он тебе — глаз!»

— «Да-с?»

— «Глаз!»

— «Никогда-с!»

И Коробкины, яростные, закатали друг другу глазами: затрещины.

— «Что он» — грудной, женский вой — «сделал с дочерью?»

И появилась рука: Серафимы; тут Никанор на Ивана пошел; но малютка, схватив за пиджак Никанора, ногой опираясь о стену, тащила назад; Никанор, протянув нос к носкам, кочергой подъезжая к щетинистой щетке, — как вылетит, да как крючком кочерги — «бац» — по щетке, стараясь крючком зацепиться; и выдернуть.

— «Эка?»

Профессор, заплатой отдернувшись, — сам не дурак, — с перекряхтом скривился; и — бросился на грохотавших пустыми боченками очень коротких ногах, точно в бой барабанов:

— «Ну что же, — давай, брат, тягаться!»

Щетиною он кочергу зацепил, сковырнул, вырвал: грохнулась:

— «Есть!»

И — ногой на нее наступил:

— «Дело ясное: дальше-с?»

Из тьмы на него передернулись пальцы, но — без кочерги: кочерга — под пятой!

Где Мардарий, где Агния? Трусы: сбежали.

КАК ТЫКВА, ПРОПУЧЕН

Малютка с лиловым от злобы лицом, сложив руки на них с оскорбленным достоинством выпучилась, точно рыба, — глазами: огромными, синими; вдруг: руки — в боки; лоб — в бод: на профессора; точно Эриния!

— «Как вам не стыдно?» — гром арф — «Что вы тут натворили?»

Но ей перед грудью поставилась щетка:

— «Молчать, в корне взять!»

И профессор ударил в пол щеткой.

Она — от него; он — за ней:

— «Двадцать ведьм!»

К Никанору:

— «Не жег!.. И — не он-с, — говоря!.. А — отец: публицист из Парижа: и — все-с!.. Дочь проведал!..»

Здоровье знать им поморочило: неизлечимый!

— «Я-с, — да-с, — сам привел... И я-с, — да-с, — не позволю: гостей моих трогать!..»

— «Изволь, Никанор, оскорбительные выраженья убрать!»

— «Он — больной!» — Серафима на щетку полезла.

А он ей с оскалом страдальческим, жалуясь точно, пузырь из плевы показал, —

— глаз, —

— метающий фейерверк!

Верить просил!

Она — руку под сердце: так будет, как было; за ухом ему протереть, потому что ум — дыбом; и — волосы: дыбом; седины, протертые одеколоном, попрежнему лягут в колени ей:

— «Путаюсь!»

И — дикий отсвет улыбки явился в лице: свои руки локтями приседя, вся сжимаясь, холодные пальцы зтиснувши в пальцах, прижав подбородочек к ним, — подогнулась под щеткой, под щетку нырнула; и — стала с ним рядом; и — руку ему на плечо положила.

Малютку свою — оскорбил!

Она — села в ногах, зажимая ручонки в коленях; прислушивалась к его сапу; и бледную мордочку вздернув, она наблюдала за щеткой, как он, ей любуясь; чрез все улыбнулась ему; залилась как цветами миндальными, чуть розоватым, но странным, румянцем.

Как бы говорила ему:

— «Со мной делай, что хочешь, коли — решено: суждено!»

Золотистые слезки закапали.

— «Что?»

Бородою, как облаком, нежно головку покрыл ей:

— «Я — путаюсь!»

Гладил, но выставил щетку, следя, чтобы брат, Никанор, — не... взять в корне!..

А брат, Никанор, ему спину подставивши, — плакал: и стало им тихо.

. . . .

Стоял, как солдат караульный, надув свои губы с кулак; нос, —
— как тыква: —
— пропученный и перепученный!

ПРОВОЛОКЛИ

Ставши желтым, Акакий, и ставши зеленым, Мардарий, с глазами катавшимися, беднобелыми —
— поволокли на них —
— Ти́телева!

Он, едва выбиваясь повесившейся головой, с разъерошенною бородой, являл странное зрелище; рот закосился, когда, валялсь к паутинникам, еле мотнул:

— «Туда, ну-те!»

Грудь дергалась:

— «Что с ним?» — малютка: к Мардарию.

Стиснувши щетку, профессор присел и тревожно вкатился в глаза: изнемогшего.

— «Ты, брат, что — а?»

Но больной, помотал головой .., и — к Акакию:

— «Ну-те, — туда!»

И Акакием вшлепнутый в кресло, глаза закрыл он.

А Мардарий, сцепясь с Никанором, рукою — ко рту:

— «Орьентировали о Мандро... Надо это» — на дверь — «поскорее, того, потому что машина явилась».

Профессор же щетку свою на плечо — под Мардария и Никанора:

— «Что-с? Что-с?»

— «Да за вашим «м у с ь ю» прикатила машина; какая-то виза!»

Растерянно:

— «Если являются к нам, откровенно, то нам, — мне, Терентию Титовичу, — улепетывать надо!»

К профессору:

— «Вы нам на шею его привели; вы и выпроводите!»

— «Так-эдак, — Иван, брат!»

— «Да-с! Сейчас!»

И приставившись ухом, под дверь, — тук-тук-тук!

— «В корне, — вас: вызывают; пожалуйте-с!»

Дверь распахнулась: сутулое туловище выходило; профессор — ему:

— «В корне взять!»

Но поправили:

— «Виза».

Малютка следила, чтобы Никанор, увидавши Мандро, вновь не выкинул штуки; она кочергу забрала; Никанор все внимание сосредоточил на брате, Иване: так чч-то́ — рецидив!

Брат, Иван, повернул эфиопскую морду к Мандро; будто даже не он приволок его, бросив свой палец в переднюю:

— «Выход — вот здесь».

И к Лизаше:

— «Так все, говоря рационально, — по предначертанью».

Спиною ее защищал от Мандро, силясь увидеть глаза: они — сухо безумные!

— «Эдакие — происшествия в круге возможностей, высших-с, — обычное дело!»

Как кукла, моргала она.

— «Уходите» — Мардарий к Мандро.

И Мандро, с пустотою в глазищах, с оскалом — в переднюю, даже не бросив прощального взгляда на дочь: уж ничто не касалось его; и — ничто не задерживало; путь — свободен и легок; казалось, — уходит, чтоб снова вернуться, и зная, что радость, — огромная, рвущая душу, — на крыльях его переносит: куда?

ПРОВАЛИЛСЯ СКВОЗЬ ЗЕМЛЮ

Лизаша припомнила: в руки профессора павши вчера, обрела она ясность.

И — пала:

— «Вы, он... трое нас?»

— «Да-с!»

А Ти́телев, видно, — четвертый: из двери свой выкинул красный жилет; и пошел, опираясь на руку Мардария.

— «Тира?»

Пустыми глазами увидел: два глаза — в два глаза: железо — к магниту!

И хвост скорпиона, морщина, просек его строгий, базальтовый лоб; и она поняла, что стояние друг перед другом — последнее: больше они не увидятся.

Круг!

И он — руку отдернул под бороду; в воздухе взвесилась:

— «Тира?»

— «За что?»

Свои руки — по швам; пяткой топал в гостиную.

Топ закосив, как кинжалом, сквозь шерсткую бороду глаз себе в сердце всадил он, зажавши по швам два стальных кулака.

И ему Серафима, кидаясь к Лизаше, как бы защищая ее от удара, — грудным, низким голосом:

— «Жестокосердый!»

— «Пар-ти-ец: я!»

Ти́телев, бросивши бороду, бросивши два острых локтя отгибом спины в потолок, захватился руками за голову; точно отрезал себя от последнего в жизни, чтоб в первых рядах стать; ударился двумя локтями о стол.

Никанор подскочил: как пушинку, Лизашу понес; и за ним Серафима, чтоб в серых, как дым, перевивчатых кольцах на черное все положить; и — над ней убиваться.

Профессор услышал, — как ветер, поющий в горах; он не выронил слова; он щетку сжимал утомленно; он — правды хотел.

Уже Ти́телев, взяв себя в руки, стоял при пороге:

— «Идите себе: этот дом очищают: полиция сию минуту нагрянет; ее встретят бомбами... Шли бы...!»

Мардарий, свалявши в гостиной ковер, на колено упал; и рукой показал на то место, которое он обнажил.

Свою вытянув шею, а руки — по швам, став на то обнаженное место, глядел на профессора Ти́телев так простодушно и грустно:

— «Была коротка наша встреча».

Моргали усталыми лицами и отирали испарину:

— «Не поминай меня лихом, коли что вчера... Еще встретимся ли?»

И Мардарию подал он — знак; и подполье взурчало; и — пол передрагивал.

Ти́телев —

— медленно стал опускаться в отверстье квадратного
люка: по пояс, по грудь; голова снизу
вверх поглядела; рука, кисть, два пальца...

В квадратном отверстии нет ничего, кроме света свечи, да поставленных ящиков.

Грустно стоял, опираясь на щетку, профессор, склоняя над люком усталую голову.

. . . .

Снизу приставили лесенку; кто то карабкался; сжав черный браунинг в твердой руке, появился из люка огромного роста рабочий с железным лицом; две ручные гранаты качались при поясе; оба, как замерли, — недоуменно.

Рабочий с железным лицом произнес:

— «Вы — того бы, товарищ: очистили место».

И он за профессором, шлепая в пол, — пошел.

ТОЙФЕЛЬ, КАРТОЙФЕЛЬ

Друа-Домардэн переталкивал тело; вот выведено: даже — подведено к... офицерику: розовый мальчик, — такой симпатичный; и он — растерялся:

— «Мосьё Домардэн?»

«Д о м а р д э н» — что такое?»

— «Сиси́!» [1]

Удивлялись: забор разбирают какие-то: слом; в него прут: из соседнего дворика; под ледником что-то: сходка?

— «Вам виза, пакет: передача... Прошу за мной следовать; я провожу вас: т у д а.

Как? Какая? Ловушка? И тут же: ведь выручил этот Картойфель из Риги, который все может, — два года назад, когда он был доставлен в тюремный покой; подменили же их номера; мертвеца и его; он, накрытый шинелью, в мертвецкую вынесен был; мертвеца же на койку его уложили; так — умерли оба: для сыщиков.

Все э́тот —

— тойфель [2]: —

— Картойфель!

Случись, — и он явится; можно ли было забыть, что Картойфель в Москве: все еще; появляется там, где не ждут; пропадает оттуда, где ищут; Друа-Домардэн потерял его нить бытия; что не значит еще, что Картойфель его на видках не имеет.

Свидание с дочерью, встреча с профессором; и провали́сь: Велес, Тертий, Мирра!

Он вышел; машина стояла; в машину он сел; офицер же — за ним; а те двое, в тулупах, — за спинами: лица скрывали.

Их тотчас забыл.

Унеслись: ясным вечером.

. . . .

О, —

— синета отдаленных домов — голубая! А красные домики издали

---

[1] Собственно: «Си, си!» То есть: «Так, так!»

[2] «Чорт» — по-немецки.

точно в сияющем паре, молочном, чуть-чуть фиолетовом, —

— розовою

желтизною смеются: —

— цвет персиков!

Крыша с большим отстояньем от окон; цвет — хлебного кваса; заборик; цвет — хлебного кваса; и — Наполеон его видел; а рядом — доминище: семь этажей вздыбил улицы угол; он выкинул сорок балконов; он — ими осклабился.

Щель междустенная: узкий и небом синеющий вырез, линейкой воздушною глупо поставленный; и — протупела стена безоконная (окна уборных в ней — слепы): дом, шесть этажей; цвет — печенье: крупа «Геркулес»; между окнами — все треугольники, выбитые из квадратов: вид — глупый; вид — новый; недавно ведь еще букетец цветистых домченков, топорщился.

Их разобрали; и с этого места продылдились три глупых дуры.

И все приседает кругом.

. . . .

Не о том вовсе думает; надо бы думать; хотел офицерика, робкого мальчика, атаковать:

— «Куда, что, кто, зачем?»

Да запело, — сияюще, идиотически, что — :

— Миновали страданья, прошли испытанья;
Я снова с тобою, мой друг!

ИОАХИМ ТЕРПЕЛИВИЛЬ

И вот Гурчиксона шары, синий, красный, — аптечные, — где Тигроватко живет.

Здесь машина застопорила.

— «Как так?»

— «Именно».

Вежливый, блещущий мальчик, став косноязычным, конфузливым, дверцу открыл, приглашая сойти:

— «Сюда: вам».

И — решительно спрыгнул:

— «Приказано».

Щелкнувши, под козырек бросив руку и высадив, дернул в машину; и — выдернулся вместе с нею.

— «Пожалуйте!» — перетолкнулся: те двое, которые за́-спину влезли и молча сидели (о них он забыл же), прижали к подъезду: косой, с бороденкою рыжей, рябой мужичок; и горилла безглазая в рыжем тулупе — другое: чудовище.

Как, этим двум, значит, — сдан?

Тот же сыщик (в «Пелль-Мелле» торчал) при подъезде; в подъезд, занырнул с мужиками; опять «они» — тут!

И застукали ботики по этажам; этаж — первый, второй; кто-то сходит, закутанный в шубу.

Душуприй?

Нет, — чех, но — похожий: сходил квартирант, Иоахим Терпеливиль» под собственной, медной дощечкою, где «Иоахим Терпеливиль» стояло; другая: «Л. Л. Тигроватко»; сюда, — что ли? А мужичок, прилипающий к локтю:

— «С вас...»

— «А?»

— «На чаишко бы!»

Тупо достал кошелек, чтобы рубль: нет рублей; только — трешница:

— «Может, Картойфель? Раз, — выручил; может, — и выручит?»

Дверь распахнула: не горничная; унтер шубу сорвал, шапку вырвал; съезжают, — повидимому; мужики не ушли, а вошли и стояли; зачем-то поставленный ящик; в нем — пакля; и — толстая рядом веревка; и — желтый, холстинный мешок, позабытый, как видно; лежит на полу; на него наступил.

Почему так не прибрано? Кушанья припахи.

И Тигроватко не вышла; открылось: знакомое выцветом, серопрожухлое золото (цвет — леопардовый) мебели, напоминающее неприятный весьма эпизод, здесь начавшийся.

Дочери — нет: нет — профессора!

Вот —

— тинь-тень-тант —

— звуки шпор.

И — в пороге коленкой — о ящик.

— «Пора, брат: давно бы так!»

— «Что — «б ы т а к»?»

Шагнул, оказавшись среди абажуров, драпри и фарфориков.

Цвет — леопардовый; фон — желтопепельный: бурые пятна: а посередине ковра — столик, ломберный, перенесенный сюда на короткое время (стоять ему глупо тут); стул: тоже глупо стоять.

И — тинь-тень: бой часов!

ФАРАОН, РАМЗЕС, — ПОД КОЛПАКОМ!

Прямо с пуфика, распространив запах псины, — сплошные очки: спину гнут, стрекоча по бумаге пером; лицо — бабье; бросает, не глядя:

— «Прошу!»

Носом — в стул: глупо туп.

Тишина: слышен где-то проход таракана; из комнаты, — той, из которой —...!

— «Сэ люй, аттансьо́н!» [1]

Жюли?

Нет: аберрация!

Может быть, трешницу, все-таки, — дать мужичку? Так, — на случай; чай не вредят: здесь особенно; шалые мысли о взятках; и более, чем даже шалые: трешницы — жаль, коли — шутки... Картойфеля: тойфеля!

Вот и машина: скрежещет под домом; и — визу увидел: под локтем лежит: как — ему?

Звонок, топоты, шарк мужиков: голос, но —

— не Картойфеля: —

— голос: Велеса.

— «Он снова с тобою, мой друг» — в ухо точно: не он, а другой в него вдунул:

— «Тащите туда!»

И, заохавши, поволокли; видно ящик.

Велес-Непещевич, —

—подтянутый, точно чиновник Присутствия, официально, не видя, толкаяся локтем, —

— шарчит с таким видом, с каким он когда-то в пустом переулке шарчил, Домардэна не видя, не слыша, не зная, как будто Друа-Домардэн уж не воспринимаем для зренья —

— с портфелем: в соседнюю комнату!

Видно: Друа-Домардэн и Велес-Непещевич — в различных эпохах, не видя друг друга, живут: Домардэн — очертание мумии под колпаком из стекла, фараона, Рамзеса Второго, которого лорд Рододордер увидел в Булакском музее; Велес-Непещевич, — москвич!

---

[1] «Сэ люй, аттансио́н» — он, внимание!

Не заметил?

Есть что-то паскудное в том, что ты скинут со счетов: Друа-Домардэн, — за Велесом: в портьеру:

— «Вадим, экутэ́ донк!» [1]

Чиновник в очках ему путь пересек, проюркнувши с бумагами: мимо; и, все же, — за ними: портьеру разбил головой, оказавшись в гранатах, пестримых, как мушкою, в гарях ковров, желтопепельных, бархатных, точно пылающих дымом; — и здесь; во всем красном: сидит де-Лебрейль, во всем черном, дорожном, сухая, как кобра, змея с желтой сумочкой, с пледом (в ремнях); и Мертетев: в походном пальто; и с такою ж дорожною сумочкой.

— «Ву́, Жули́?» [2]

— «Ву́, Те́рти?»

Оба — не видят, не слышат, не знают: носы опустили в носки; видит — шейная складка Велеса; квадратную спину он выставил, пальцем — в бумагу, которую держит чиновник в очках; Домардэну он знак отстранительный делает:

— «Прошу вас выждать».

ДРУА́!

Он едва дотащился до стула; задохся и сел; видно обухом ошеломленные, соображать не умеют; раз — обух: его отшибивший от мысли о смерти профессора; два — обух: дочь; третий обух профессора — нет в роковую минуту!

Очки — из дверей: в руках — виза:

— «Вам виза!»

И — обух, четвертый: дают-таки: сертификация, легализация; и — взгляд сквозь пальцы на прошлое; по настоянию Англии лорд Ровоам Абрагам, Рододордер — таки: дело сделали; да: пертурбация всех положений; возможность — куа́ — длить нить!

И —

— пес на кость, —

— к визе лапой дрожащей: зацапать!

«Очки» же — в пространство пустое, минуя Друа-Домардена:

— «Друа-Домарден!»

— «Я...» — настаивал.

Но за плечами — знакомый, его самого, — голос;

---

[1] Вадим, послушайте!

[2] О, Жюли́?

— «Вла́: мё вуаля́!» [1]

И минуя «Друа», отведя его руку, чрез голову, — визу пространству пустому: очки отдают.

Повернулся и видел: —

— с цилиндром опущенным, сжатым в руке изогнувшейся, с бронзовою бородою, как в отблесках пламени рыжего, мягко просунулся в двери — Друа-Домардэн, — позой, сжатой, как крепким корсетом, он переступил, став в пороге, вперяясь в древнее выцветом, серопрожухлое золото стен.

И чиновник в очках, неся папку с чернильницей мимо Друа-Домардэна, — того, кто без челюсти, без парика, без очков, — к тому, кто — в парике, в челюстях и в очках:

— «Распишитесь!»

. . . .

— «А... как же — я, я?» — приставало.

Оно потерялось, коли — не подлог: личность, — сперли, как — сперли — парик: он — его ж; разве эту каемочку не подшивала Жюли?

Самозванец, сперев Домардэна, под носом того, кто таким точно способом спер документы «Друа-Домардэна» — прошел под портьеру.

Э, что документы: за деньги спирают и души!

ЗА ДЕНЬГИ СПИРАЮТ И ДУШИ

— «А вы, господин фон-Мандро, потрудитесь ответить, зачем вам чердак поджигала Копыто?»

— «Я... не...»

— «А — я-с — знаю: понадобилось скрыть следы?.. Эту книжечку вот» — и очки протянули к Мандро записную, забытую там эту книжечку — «в ту незадачную ночь в бумагах профессора похоронили».

Закрыв свою папку, чиновник пошел от того, кто уже стал оно; и «оно» —

— с бычьим ревом — в переднюю, где мужики не пустили; «оно», телефонную трубку сорвав, попыталось поведать хоть барышне, телефонистке, его не могущей спасти, —

— что «оно» —

— в западне!

[1] Вот: я — вот!

Дескать, Бобчинский — есть: где-то в мире!

Хрип трубки: —

— прр — тр! —

— Сумасшедшее под сумасшедшее ухо:

с отчетливостью: —

— интендант Тинтендант!

В боковую дверь выскочил синий, худой, — «тот», который стоял в коридоре «Пелль-Мелля»; в его руке — лом; он бодается лбом; Домардэн — в коридор мимо пятен «боа́вого» цвета во что-то синявое, серое, тусклое; но, спотыкнувшись о ящик, — в него; две махалися пятки: над паклею: —

— уши заткнуть: будет больно!

Подхвачен железными лапами; петлю на шее почувствовал; вырыв дыхания, воспламененье мозгов; и холстина, которая нос щекотала!

Напяливанье мешка — длилось долго; мешали особенно пятки, которые били: в носы; но нащупав веревку сквозь ткани, — дотягивали: с пылким сапом, не зная, что из безвоздушного мира, когда недодох перешел все пределы, открылись восторги: «Вели к недоступному счастью того, кто надежды не знал!» Сердце, сердце!.. —

— Кусочек базара: профессор по ящику хлопает:

— «Мы понесем!»

Вскрики мысли:

— «Какого я друга имею!»

И —

— ноль; —

— минус ноль!

Разрастанье, подобное, что ли, круженью с выпрыгиваньем (хлороформ так же действует); и ощущенье ударов двух пяток о пол: скоки — к новым возможностям!

СКОКИ К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

А де-Лебрейль и Мертетев стояли в передней, не глядя, сопя; пробежал Сослепецкий, дрожащий и синий, — мыть руки; Велес, не решавшийся вовсе пойти, — все же: был; и — вернулся:

— «Еще: пусть додергается».

Языком подоткнув свою щеку, стоял, — пуча щечную шишку.

Едва перебрасывались:

— «Пора, в ящик».
— «Рогожу неси!»
— «Гвозди».
— «А — где игла?»
Как? —
— Туп-туп —
— из дыры коридора на них: —
— о, о!

Перетаращенный (видно, ослабли ручные веревки) мешок, как громадная, желтая рожа, без глаз и без носа, без рук и без ног; видно: рвали, царапаясь, пальцы, за ткань ухватившиеся; и ходили от этого складки, слагая морщины, слагая погано осклабленный рот: до ушей (без ушей); и он — дергался.

Немо хохочущий, желтый мешок мимо них совершенно сознательно дергал: в подъездную дверь, — ту, которую, — вот-таки казус, — в последний момент с перепугу не заперли, так что мешок, ее выдавив, дергал уже по площадке, как зрячий, им-я намеренье ско́ком, ступенями, прямо в подъезд прочесать; из щеки холстяной появилися пальцы — пять, — и за перила сквозь ткань ухватились; намеренье — явное: перечесав все ступени, чесать балаганною пляской в толпе: под аптекою!

Тут де-Лебрейль обнаружила мужество: точно циркистка, взвив в воздухе юбки, — на плечи мешка, панталончиками бирюзовыми горло сжимая, руками вцепляяся в плечи, качаясь над темным прощелом перил: с риском пасть меж перилами в пропасть; мешок — ослабел, так что дикая башня, иль тело на теле, обрушилась: перед перилами!

Бросились: уволокли.

И — пора!

Иахим Терпеливиль, лицом, как Душуприй, и чех, как и он, — возвращался: под доску, под собственную: —

— «Иахим Терпеливиль!»

. . . .

Через полчаса де-Лебрейль, Тертий, оба — с дорожными сумками, с тем, кто был в шубе Друа-Домардэна, садились в машину; а два мужичка в ноги вдвинули ящик, зашитый в рогожу.

Они подъезжали к «Пелль-Меллю»; Лебрейль выходила в контору, чтоб дать заявление: спешной телефонограммой Друа-Домардэн вызван в Луцк; даже видели, как за стеклом, в шубу кутаясь, выпятив бороду и два очка, с нетерпением он ожидал секретаршу, которую выписали (а подстроили те, кому нужно).

В газетах прочли: «Луцк. Такого-то. Около Торчина пулей шальною убит публицист Домардэн».

Но известие это прошло незамеченным.

ДЖЕМАЛ-ОСНАКИ КОМАНДОВАЛ

Козиев ли?

Цепь солдат; штыки, на́крест патронные ленты; походная кухня дымит: на дворе Неперепрева; выставлен через забор пулемет: на забор дома Ти́телевой, где из форточки красное дразнится знамя; и — весь Гартагалов оцеплен полицией; прямо в забор дома Ти́телевой, точно пробками щелкают городачи револьверами; руки дрожат; надзиратель квартальный, испуганный, серенький, рукой махнул: не командует: будут казаки; Жебривый и Бриков кишат обывателями, проживающими в переулках соседних.

Стоит любопытное стадо; глазами расхлопалось: на Гартагалов, куда не пускают, где — бой: с домом Ти́телевой; здесь Бегмотен, барон, с Проживулина, первого, здесь Ворпакчи, — озираючись, шопотом: Дашеву, Саше:

— «Терпенье народное — лопнуло!»

Здесь Ахшерваньев, Илкавина; здесь Питирим Вирничихин и Фрол Вивачихин, эс-эры, готовы прорвать цепь солдат, чтобы слиться с рабочими; здесь же Матрена Маврикиевна Мерзодерова, здесь Пфирзихцво́рш, здесь Плюлюев, Легалиев, И́жех, Буктукин, Желдицкая, панна; француз, гувернер, Пьер Жаву́ль, объясняет Жержееву, Жоржику:

— «Се сон лэ бо́ш!» [1]

И сочувствует им знаток крапленных карт, Прищенка́щ; отставной офицер, Перципович, — сочувствует.

Оля же Иколева с Колей Каклевым у Велекеклевой, Лены (в Клеоклева доме живет) собираются — тоже пойти: интересное зрелище; но Хиерейко им:

— «Знаете, — пули!»

. . . .

Что произошло?

Бастовавшие, сломав заборы домов Фентефефрева, Психопержицкой, прогнав Фентефефревых, Психопержицкую, Савву Совакина и Гнидоедова, хлынули через заборные сломы под Ти́телев флигель,

---

[1] «Это — «боши»; бошами французы называли немцев.

к которому было подъехали городовые с машинами; и баррикады устроили, мигом поленьями вход заложивши и встретивши залпом полицию; из ледника выволакивать стали какие-то ящики; и через сломы забора утаскивали: на завод.

Появились солдаты; и весь укрепленный район (дома Ти́телевой, Фентефефрева, Психопержицкой, с заводом) они обложили; всю ночь перестрелка была.

Поговаривали, что орудие выслано, чтобы... картечью тарахнуть; и Ти́телевский особняк разнести, коли сопротивление продолжится.

И за забором, в той части, которая в Козиев смотрит, десятка отборная вооруженных рабочих и интеллигентов, дружинников, ночь просидела, чтоб коли понадобится —

— тарарахнуть:—

— Ликоленко,

Ланя Клоблохова, Кай Колукви́рций, Любомник, Кактацкий, Достойнис, Мама́н, Малалайкен, Шевахом;—

— Устин Ушниканим:

командовал!

Точно такая ж десятка сидела — перед Гартагаловым; здесь — Огурцыков, Бабарь, Осип Пестень, Корней Жутчучук, Уртукуер, Онисим Онисьев, Терентий Трещец, Галдаган Николай Куломайтос; —

— командовал: —

— Джемал-Оснаки!

А третья десятка, — для связи, — в которой пэробче народ, между флигелем и ледником; и она — про запас: —

— Крысов, Личкин, Лиднилин, Орловиков, Сима Севчосенков, Лев Андалулин, Пусков, Ангелоков, Павлин Шлингешланге, Ефрем Пендерюлев.

Мардарий Муфлончик — над всеми начальник; Терентий же Ти́телев, как в воду канул.

Всю ночь выносили тюки, несли стражу, постреливали; распевали: «Вставай, подымайся», «Интернационал»; Шлингешланге шутливые песенки складывал:

Едет в стольной город Львов,
Княжить — князь великий, Львов.
С ним — Терещенко, кадет,
Карапузик восьми лет!

Утро: дым.

РУКИ ВВЕРХ!

Баба Агния, брат Никанор, брат Иван, Владиславик, Лизаша — закупорились: пули свищут; и покает пробками: тут, тут, там, там, как отрезаны: выхода нет; на растоптанном снеге в окне перебег курток кожаных.

Пок, пок —

— тут, тут!

При Лизаше, которая бредит, дежурят по очереди: Никанор, Серафима; профессор же в ярком, как тропик, халате, как мумия, остолбенело сидит у окна, без очков, с утомленным, осунувшимся, дико недоуменным лицом; он кровавым изъятием глаза вперяется в стекла; повязка лежит на коленях; шрам — синелил в.

Как бурьянники, — космы.

Он слушает шопот — за дверью:

— «У вас деньги есть?»

— «Ни гроша, — эдак-так: а — у вас?»

— «Тоже нет».

— «Положение: нищие!»

— «Не до того!»

Озирается, как провинившийся пес, — на малютку, которая лишь заглянула; у ней на руках Владиславик; в глазах ее выпуклых — жалоба, даже укор:

— «А?»

На «а» — опускает свой глазик, не выдержав взгляда: и жалко, сутулится: разуверенье, упадок, бессонница: глазик, как точечка, — ти́китак, ти́китак, — мимо нее:

— «Ничего-с!»

— «Как-нибудь!»

И —

— «пок» —

— пукает: пулей.

Вполне укоризненным морщем глядит Никанор после давешнего; точно он говорит:

— «Где моя кочерга?»

Серафима из жалости лишь подавляет свое отвращение... к... щетке; когда за спиной его шепчутся (это — Лизаша, безденежье их, и дурацкое их положение), — кажется, что речь — о нем.

Он хотел призвать милость на голову падшего, чтоб, примирив отца с дочерью, всем доказать: состраданием испепеляется злоба; а

что сделал? Друга сразил, отнимая открытие, даже — жену; дрался с братом; малютке нанес оскорбление: щеткой.

Из принципа, собственным опытом вызнанного, поступил, этот выявив опыт:

— «Взять в корне!»

Его — осудили; он — путанник, добрые чувства которого вихри посеяли, — выскочил — под балаганные бубны: со щеткой в руке.

Между миром и ним все — вторично обрушено: он — как в ядре, из которого выстрелили — в звезды звонкие.

Видно —

— баллистикой быстрых болидов измеривал он социальные связи людей, сформулировав данными аритмологии их, чтобы косности бытов расплавить; но — температура его ужасает; диаметр ее — двести семьдесят три или нуль абсолютный, при минусе; и климат звезд, измеряемый тысячьми градусов, — не Реомюр и не Цельсий, в которых живет, дело ясное, брат, Никанор; и не «сто», кипяток (им кипит Серафима)! Пэпэш, психиатр, — правей всех: — «Гулэ ву?»

— «Высоко залетели, профессор».

Пал глубоко полосатый паяц в балаганный свой люк!

Тут — ударили в бубны!

Нет, —

— залп!

. . . .

Но не видел, как бросилась кучка рабочих под сломы забора, отстреливаясь, как солдаты, городовики, побежали за ними.

Туп-туп-туп — под окном; это — к ним; вот квартальный махается шашкою; вот Серафима бросается, чтоб защитить, на колени, хватаясь за полы халата; за ней Никанор перепуганный — ту-ту-ту-ту!

И сейчас же за ним:

— «Руки вверх!»

В дверях — дуло; и — шашка.

И брат, иронически локти под бо́ки, ладони подбрасывает, вздернув плечи — на брата, Ивана:

— «Бели́берда, брат!»

Серафима, простерши ладони свои, — без иронии:

— «Я — принимаю».

Он, не поднимая руки, не повертывая головы к наведенному дулу, кровавым изъятьем смотрит в окошко, не слыша удара чудовищного, от которого — в дребезги стекла; он ими осыпан; он не осязает мороза из рамы пустой.

Он не видит —

— как крыша взлетает под небо, как дым выбухает, бросаясь с нею, как рушится ржаво рыжавый косяк, вместе с жолобом, с кремовобледным веночком!

. . . .

Так все, что любило, страдало и мыслило, что восемь месяцев автор словесным сплетеньем являл, вместе с автором, — взорвано: дым в небесах!

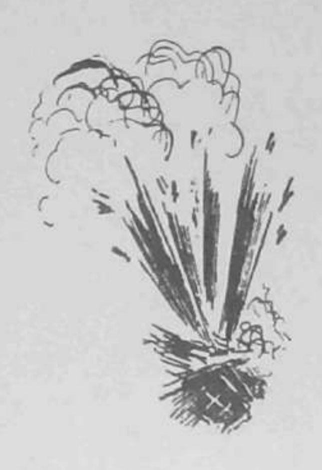
Что осело, что — пырснью отвеялось? Кто — уцелел, кто — разорван?

Читатель, —

— пока: —

— продолжение следует.

Кучино: 1 июня 30 г.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава вторая. Публицист из Парижа

Глава третья. «Король лир»

Глава четвертая. Испытующие

Глава пятая. Тителев

Глава шестая. «Пырснь»

Глава седьмая. Сердца волнуют

Глава восьмая. Переход

Глава девятая. Строк печальных не смываю

Глава десятая. В разрыв